

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ВИКТОР ГЮГО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 15 ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956

ВИКТОР ГЮГО

ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ



СТИХОТВОРЕНИЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1956

Издание осуществляется под редакцией
В. Н. Николаева, А. И. Пузикова,
М. С. Трескунова

Переводы с французского

ВОЗМЕЗДИЕ

1853

В Брюсселе вышло в свет искалеченное издание этой книги, которой предпосланы были следующие строки:

«Нарушение присяги — преступление.

Заговор — преступление.

Произвольный захват чужой собственности — преступление.

Подкуп государственных чиновников — преступление.

Подкуп судей — преступление.

Грабеж — преступление.

Убийство — преступление.

Прискорбное недоумение наших потомков вызовут законы, появившиеся в самых как будто бы просвещенных странах, которые в черные для Европы дни сохранили свою конституцию и казались последними священными прибежищами честности и свободы, — законы, призванные защищать такие деяния, которые по всем человеческим законам, в согласии со всеми божескими законами, во все времена именовались преступлениями.

Всемирная Справедливость протестует против этих законов, покровительствующих злу.

Пусть, однако, патриоты, защищающие вольность, и доблестные народы, которым насилие старается навязать пороки, не отчаиваются; и пусть, с другой стороны, преступники, казалось бы всемогущие, не слишком спешат торжествовать победу при виде искаженных строк этой книги.

Что бы ни делали те, кто царят у себя с помощью тирании и в других странах — с помощью угроз, что бы ни делали те, кто мнят себя властелинами народов, а на самом деле являются лишь угнетателями независимых умов, — человек, борющийся за справедливость и правду, всегда найдет способ до конца выполнить свой долг.

Всемогущество зла обречено на поражение. Мысль всегда ускользает от того, кто пытается ее задушить. Она неуловима для насилия; она скрывается то под одним обликом, то под другим. Факел пылает; если его гасят, если его поглощает тьма, он превращается в голос, а слово погасить невозможно; если затыкают рот кляпом, речь превращается в пламя, а заткнуть рот пламени невозможно.

Ничто не может победить человеческий разум, ибо человеческий разум — это помысел бога.

В. Г.».

Эти несколько строк — предисловие к изуродованной книге — содержали обещание опубликовать ее без пропусков. Мы теперь выполняем наше обещание.

В. Г.

Джерси, 1853

1

Вот срок, намеченный твоей мечтою скрытной.
Проснись! Час пробил, принц! Мороз. Ни зги не
видно.

Почуяв, что во тьме предатели близки,
Свобода, верный дог, оскалила клыки.
Хотя и на цепи, но лает пес и рвется.
Ждать больше незачем — вдруг умысел сорвется.
Смотри, какой туман промозглый в декабре!
Как хищный феодал, проснись в своей норе
И сокруши врага негладным налетом.
В казармах ждут полки, чтоб стать твоим оплотом.
Солдат уже вином и злобой покорён,
И нужен только вор, могущий влезть на трон.
Республика храпит спокойно. Тут удастся
К добыче, пряча нож, в полночный час прокрасться.
Зажги же свой фонарь, усмешку затая,
Сейчас нарушится присяга, вор, твоя.

Вскачь, кавалерия! Пехота, стройся! Грянем
Свирепую ордой по выборным собраниям.
Весь генеральный штаб уже сидит в тюрьме.
Гони прикладами! Не бойся в кутерьме,
Что наглость связана с каким-то слабым риском.

¹ Ночь (лат.).

Стань, рыцарь Франции, бандитом калабрийским!
Смотрите, буржуа, презренные скоты,
Какие демонские силы подняты,
Как наш переворот сметает все и рушит.
Трибуны борются за право? Их задушат!
В бой, кондотьеры! В бой, наемники! Круши
И саблями плашмя по головам глуши!
Зачем на улицах толпятся эти люди?
Открыть по сволочи огонь из всех орудий!
Проголосуешь ты, наш властелин народ!
Отменим право, честь! Долой закон! Вперед!
Чтоб на бульварах кровь потоками хлестала,
Чтобы для мертвецов носилок нехватало!
Кто хочет водки, пей! Погода так мерзка, —
Необходимо пить. Убейте старика,
Ребенка малого! А это кто такая?
Мать? Расстрелять ее! Рассейся, городская
Толпа! Марай в крови лохмотья и дрожи!
Париж, когда-то там рождавший мятежи,
Еще почувствует, какое отвращенье
Питаем мы к нему, насилье — к просвещенью!
Чтил чужестранец вас? Мы сделаем умней:
Привяжем ваш Париж к хвостам своих коней.
Пусть издыхает, смят, разбит и искалечен!
Плюй, артиллерия, ему в лицо картечью!

2

Страх и молчание господствуют. Конец.
Будь славен, цезарь-вор и император-лжец!
Сверкает фейерверк на мертвых баррикадах.
Ворота Сен-Дени разбиты. В их аркадах
Полночные костры трепещут на ветру.
Почийте, павшие! Пусть, выиграв игру,
В карманы денежки, а в ножны сабли прячут;
Пусть банки о своих пустых подвалах плачут.
Всем, кто не брезговал под кровом темноты
Убийством и резней, присуждены кресты.
Здесь победители танцуют, и гогочут,
И мертвые тела по мостовой волочат.
Пьян и свиреп солдат. Грузны его шаги.

Той самой пятерней, что вышибла мозги,
Он шарит по стене. Ему кабак обещан.
Уводят на расстрел мужчин, детей и женщин.
Поют, хохочут, пьют, бесчинствуют чуть свет.
Гарцует в золоте весь генералитет.
Пусть смотрят мертвые, кто пал на землю навзничь,
На цезарский триумф, на этот наглый праздник!
К дворцовым оргиям валом валит народ.
Кровь хлещет в три ручья в домах и у ворот.
И, лужи страшные с опаской огибая,
Приподнял мантию судья. И всеблагая
Докажет церковь нам усердие свое,
Кровищи нацедив в чернильницу Вейо.

Мерзавец наплевал на ваш надзор. Он весел.
Прогнал он в шею вас с курульных ваших кресел.
Но вы ободрились, чиновники, сейчас —
Уверены вполне, что победитель вас
К особой честности, конечно, не принудит;
Что верной челяди Мандрен не позабудет;
Что он с лихвой за все заплатит; что бюджет
В его руках и вам отныне риска нет;
Что, задушив закон, швырнет он напоследок
Вам трапезы своей разбойничьей объедок.
Сбегайтесь же к нему и славьте торжество,
Простите наглую пощечину его!
И если матерей, и старцев, и детишек
Он убивал и в кровь замаран до лодыжек,
Простритесь, ползайте пред королем воров,
Слизав с подошв его запекшуюся кровь.

3

Племянник говорит: «Сверхчеловек могучий,
Вождь армии земной, —
С ним Слава пронеслась сквозь вихревые тучи,
Трубя: «За мной! За мной!»

Пятнадцать грозных лет шагал он по вселенной
С заката на восток.
Лобзали короли его сапог надменный,
И деспот был жесток.

Пускай его мечта повсюду тень простерла:
Мадрид, Берлин, Москва, —
Я Франции самой вонзаю когти в горло,
И вот — она мертва.

Недавно Франция так гордо, так сурово
К священной цели шла.
А я скручу ее веревкою пеньковой,
Раздену догола.

Я с дядей поделил историю на главы.
Задача решена
Не им, а только мной! Ему — фанфары славы,
Мне — толстая мошна.

Мне служит имя, чьей блистательной зарницей
Я с колыбели пьян.
Я — карлик, он — гигант. Пускай ему страница —
Мне форзац и сафьян.

Вцепиться только бы! Стать сразу господином!
Нам вместе суждено
Всплыть на поверхности движением единым
Или пойти на дно.

Я — филин, он — орел. И вот он в когти схвачен.
Я — низок, он — высок.
Я годовщины жду. И выбор мой удачен:
Свершится! Дайте срок!

Закрыв лицо плащом, я подымаюсь прямо
Или крадусь, как тень.
Всем ясно, кажется, как много будет срама
В тот светозарный день.

И вот клыки уже тихонько закрипели
В предчувствии врага.
Спи крепче, Франция, на лавровой постели!
Ты так мне дорога!»

И вот, виясь ужом, чтоб со стеною слиться,
Он пробрался на двор
И тусклый свой фонарь от солнца Аустерлица
Зажег, полночный вор.

Ты во-время пришел. Забыли о привычке
 В пух разорять князей танцорки и певички.
 Революционный пыл — лишь скуку вызвал он
 Сегодняшних Памел, вчерашних Жаннетон.
 Недавний Дон Жуан проснулся Гарпагоном,
 Чей тощий кошелек не отличался звоном.
 Дома игорные пустыли. Спор газет
 С исповедальнями свел клириков на нет;
 От срочных векселей, посыпавшихся градом,
 Былая набожность глядела тусклым взглядом.
 Дрожал и жмуриться не поспевал Маньян,
 И в церкви слышал смех смущенный Равиньян,
 И кровных рысаков распродавали шлюхи.
 Пришлось красавицам средь этакой разлухи
 Знаться с клячею унылой и хромою,
 Трусить за тридцать су в полночный час домой.
 Ползло отчаянье по стогнам Вавилона...
 Но ты пришел, кулак! Ты поднялся, колонна!
 Все здравствует, живет. Порядок мира тверд.
 У фигурантки есть рачительный милорд.
 Все счастливы: гусар, святоша и мошенник.
 Запели девочки, им подтянул священник.

Возвеселимся же! Поздравим всех и вся!
 Сойдутся старички, лист подписной неся,
 Под пудрой и в жабо, к Мандрену на крылечко.
 Фальстаф заварит пунш, Тартюф затеплит свечку.
 А барабаны бьют. А во дворце сумбур.
 Торопятся Парье, Монталамбер, Сибур.
 Тролон — их лейб-лакей, Руэр — их обер-шлюха.
 По части совести тут беспросветно глухо.
 Слуга причастия и наглый банкомет —
 Все приосанились. Любой открыто жмет.
 Всех каторг и галер достойное собрание!
 Но, в глубине души себя считая дрянью,
 Стремятся к одному — лишь бы в сенат пролезть.
 Верзилу цезаря опутала их лезть.
 И цезарь в центре сел. Хвост веером распущен.
 «Ну что же, господа? Мы станем всемогущи,
 Христовым именем, как иезуит, клянясь!»

Пусть это дурачье поверит слепо в нас, —
Наш вензель золотой везде восторжествует». —
Пусть барабаны бьют, горнисты в трубы дуют!
Гнусавьте ектеньи, священники! У врат
Убежищ гóспода, любимого стократ,
Хоругви в вышину! Победа! Громче трубы!
Теперь, сударыни, прошу взглянуть на трупы!

Б

Где? Всюду. Вон дворы, задворки, рвы, мосты,
Канавы, где Мопá прополоскал бинты;
По братским кладбищам, по ямам безобразным,
По улицам кривым, по тротуарам грязным
Вповалку брошены... Гремят по мостовой
Фургоны черные, и мерзостный конвой
Сопровождает их от Марсового поля.
И шепчется Париж о непосильной боли.
Стань заново, Монмартр, страдальческой горой,
Для новых мучеников сень свою открой —
Для всех расстрелянных, зарубленных, убитых,
Зарытых заживо и вовсе не зарытых!
Подлец их выставил открыто напоказ, —
Не испугался он стеклянных этих глаз,
Полуоткрытых ртов, кровоподтеков черных —
Под небом грозовым, на пустырях просторных.
Смотри же! Вот они, до ужаса кротки.
Их искромсал свинец, вспороли их штыки,
Под ветром, под дождем их сучья исхлестали.
Лежат рабочие предместий, что восстали.
В обнимку с богачом бедняк лежит, гляди!
Младенца мертвого прижала мать к груди.
Красотка мирно спит с лиловыми губами.
Седые, русые — все свалены рядами,
Бок о бок, как пришлось, в посмертной тесноте, —
Задумчивы одни, и безмятежны те.
Но уравнило тех и этих злодеянье;
И звезды льют на них безгрешное сиянье;
И молча ищет здесь при наступленье дня
Невозвратившихся несчастная родня,
И весь народ глядит на этот поиск тщетный...

А ночь декабрьская долга и беспросветна, —
Она расстелит им туманный саван свой.
И вечер, вечный страх теснины гробовой,
Торопится уйти, затрепетав от страха
При виде бедного, оплеванного праха.
Но если мертвецов оплакали в домах,
Здесь ветер северный им бьет в лицо впотьмах,
Да стужа гонит их в далекую дорогу...
Так что же, мертвые, расскажете вы богу?

Когда ты поглядишь на груды этих тел,
На мертвецов, чей взор до звезд не долетел,
Тебе покажется, что в странствии безмерном
Им радость предстоит, что на суде посмертном
Все убиенные проснутся в должный срок,
И дрогнет Бонапарт, переступив порог,
Предстанет господу с душой своей двуликой,
И каждая из жертв пройдет пред ним уликой.

Монмартр, глухой загон! Ты сумрачен и тих.
Бегут прохожие от страшных стен твоих.

6

Чрез месяц этот шут вошел в собор при звоне
Больших колоколов и в волнах благовоний.

Не опуская глаз, мадонне он предстал.
Епископ митрою торжественной блистал,
Как в белом саване, в безгрешном облаченье
В алтарной глубине с улыбкой всепрощенья
Распятый грешную толпу благословил.
И негодая Христу позор свой предъявил.
Как волк, которому кровавый ужин сладок,
Он, закрутив усы, сказал: «Я спас порядок.
Я сонмам ангельским как равный предстаю.
Я спас религию, династию, семью».
И в дьявольских очах, не чувствующих срама,
Блеснула влага слез... А вы, колонны храма,
Ты, круча Патмоса, где плакал Иоанн,
Ты, пламеневший Рим, когда Нерон был пьян,

Ты, ветер, дувший вслед Тиберию-тирану
На Капри, ты, заря, проснувшаяся рано,
Ты, северных ночей немая чернота!
Признайтесь, что палач не превзошел шута!

7

Ты, море, бьющее о скалы,
Где я сложил крыло, усталый,
Где побежден, но не разбит, —
Что в неумолчном нетерпенье,
В блестящих брызгах, в мрачной пене
Мне вечный голос твой трубит?

Ты здесь бессильно. Бейся тщетно,
За валом вал гони несметный,
Позволь мне грезить и страдать.
Увы! Все волны в океанах
Не смоят пятен окаянных,
Не смогут мертвых обрыдать!

Я знаю: чтоб меня рассеять,
Чтобы печаль мою развеять,
Ты говоришь: «Смирись, поэт!»
Но ты само бушуешь гневно.
Что значит этот гул вседневный?
В нем только соль, в нем грязи нет.

Ты в мощь свою безумно веришь.
Ты обожанье наше меришь
Огромной мерой волн крутых.
Ты в мирный день полно лазури.
Ты брызгами священной бури
Смываешь сотни звезд златых.

Меня ты учишь созерцанью,
Показываешь волн мерцанье,
И мысов блеск, и мачт стволы,
И гребни волн, что, нарастая,
Белы, как белых чаек стая
На выступе крутой скалы,

И за рыбачкой босоногой —
В лазури парус одинокий,
И труженика моряка,
И пену в яром наступленье,
И все твое благоволение,
И весь твой гнев издалека.

Ты говоришь: «Усни, изгнанник;
Кинь в волны посох, бедный странник;
Залей огонь, смири свой стон;
Отдай мне душу без возврата!
Я убаюкало Сократа,
Со мною кроток стал Катон».

Нет! Уважай чужую горечь!
Ты дум моих не переборешь,
Не устранишь свершенных зол.
Мое отчаянье мне ближе.
Дай волю мне. Я ненавижу
Твой праздный, дикий произвол.

Ведь это ты, на горе людям,
Вступило в заговор с бессудьем
И, как презренная раба,
Несешь в Кайенну, на понтоны,
Людские семьи, сонмы, стоны,
Судов пловучие гроба!

Ведь это ты несчастных гонишь,
И в черной пропасти хоронишь
Всех наших мучеников ты!
Там в смрадных трюмах нет соломы.
Там только пушки мечут громы,
Распялив бронзовые рты.

И если эти люди плачут
И скорбь свою в лохмотьях прячут,
Ты тоже тайный их палач.
Ты стало скаредным и жадным;
Ты шумом слитным и нескладным
Глушишь навеки ~~этот~~ плач!

О всем, что видела, история расскажет —
И тотчас на ее ланиты краска ляжет.

Когда очнется вновь великий наш народ,
Чтоб искупительный свершить переворот,
Не покидай ножон, кровавый меч возмездья!
Не подобает нам одушевляться местью,
Чтобы предателя прогнать в пределы тьмы.
К урокам прошлого прислушаемся мы.
Воспоминанья в нас тревогу порождают:
Жандармы с саблями, глумясь, сопровождают
Тележку черную под барабанный бой.
Толпа кричит: «Казни!» На улице любой,
На крышах, на мостах — людских голов плотина.
На Гревской площади сверкает гильотина,
Ударил нам в глаза ее косою резак.
Виденье мрачное стоит у нас в глазах!

Мы утверждали мир. Мы шли неколебимо.
У каждого был труд почетный и любимый.
Поэт о людях пел. Трибун их звал вперед.
И эшафот, и трон, и цепи в свой черед —
Все разрушалось в прах. Исчезли злость и горе.
Мы твердо верили, что с пламенем во взоре
Все человечество за Францией следит.
И вот явились те. Явился он, бандит,
Он, воплощенное бесчестие. И сразу
Распространил пожар, мучительство, заразу
Наживы рыночной, и подкуп, и обман,
Швырнул в грядущее горсть мерзостных семян.

И милосердие, исполнено боязни,
Дрожит от этих слов ужасных: «Мщенье! Казни!»

Щетинится мое разбитое крыло;
Меня в грядущее раздумье увело.
Изгнанник, весь в крови от придорожных терний,
Закрыв я лоб рукой, бездомный, в час вечерний.
Встань, ясноокая, в день славного труда,
Встань, Революция! Но только никогда

В ответ на пылкое твое негодование
Ты Человечности не отвергай воззвания!
Когда, перед тобой поверженная ниц,
Вновь попытается она прикрыть убийц,
Будь к ней почтительна, забудь веленье гнева,
Призыву матери внимли покорно, дева!

Ты, юный богатырь, ты, сеятель и жнец,
Ты, богом посланный глашатай и гонец,
Скосивший в краткий срок невзгоды вековые,
Бесстрашный, праведный, явившийся впервые,
Как некий великан, достойный римских дней,
С Европой дравшийся, сломавший троны в ней
И королей в бою швырявший друг о друга,
Ты, будущих веков предтеча и порука,
Свободы верный страж, воздвигнувший Террор,
Необходимости карающий топор,
Ты, горн, пылающий для будущих столетий,
Таким и будь вовек, год Девяносто Третий!
А в будущем ничто сравнить с тобой нельзя.

Ты шел в истории, пылая и разя;
Но, сам родившийся из недр того режима,
Где все от ужаса лежало недвижимо,
Воспитанный в тисках, сам не волён в себе,
Дитя монархии, ты в яростной борьбе
Лил кровь, как и она. Ее столетний ужас,
В твоём палачестве невольно обнаружась,
Казнил Людовика и уничтожил трон,
Но над тобой самим царем остался он.

Благодаря тебе, мы, первенцы свободы,
Иное поняли за прожитые годы.
Мы верим: мирный труд во Франции царит,
В ней пламенник любви немеркнувший горит.
Лишь братство чистое, лишь слово христианства
Начертаны в сердцах, что знают постоянство:
«Любите ближнего». Мы братья! Наша мысль
Недаром ринулась в такую даль и высь
Она ведет вперед, она благословляет
И кротость высшую и в гневе проявляет.
Лишь в этом явственен ее открытый лик.

Быть победителем — нетрудно. Будь велик!
Схватив предателя с лицом блее мела,
Мы правый приговор ему подпишем смело:
Презренье, но не казнь! Забудь, народ, скорей,
Навеки упраздни забавы королей;
Не надо виселиц, кровавых плах и пыток.
Грядущим племенам предвозвещен избыток
Согласья, радости, немеркнувшей любви,
Простершей каждому объятия свои.
Для каждого, кто жив, прощение возможно.
Иль ради личности столь малой и ничтожной
Потухнет на земле великая заря?
Иль не было Христа, или Вольтер был зря?
Иль после всех трудов и всех усилий века
Нам не священна жизнь любого человека?
Или достаточно мгновенных пустяков,
Чтобы свести на нет труд двадцати веков?
Суд должен быть суров, но суд не жаждет крови.
Пускай не судят нас за казнь еще суровой;
Пускай не говорят, что ради твари той
Косоугольный нож, рожденный темнотою,
Разбитый в феврале сорок восьмого года,
Из грязи палачом воздвигнут в честь народа,
Что опустил он меж красных двух столбов
Под небом, полным звезд, дарящим нам любовь!



Ты Ювенала жгла своей свирепой лавой,
Недвижный Данта взор ты осеняла славой,
О муза Ненависть! Явись ко мне сейчас!
Встань над империей, которая, кичась,
Победу празднует! Явись! И я успею
Вбить ей позорный столб, слагая эпопею.

Джерси, ноябрь 1852

Книга первая

«ОБЩЕСТВО СПАСЕНО»

I

О родина! Когда без силы
Ты пред тираном пала ниц,
Раздастся песня из могилы
В ответ на стоны из темниц!

Изгнанник, стану я у моря,
Как черный призрак на скале,
И, с гулом волн прибрежных споря,
Мой голос зазвучит во мгле;

И эти яростные звуки
Вокруг сиянье разольют,
Как чьи-то пламенные руки
Мечами сумрак рассекут;

Как громы, грянут на колонны,
На глыбы неподвижных гор,
Чтоб, светом молний озаренный,
Затрепетал тревожно бор;

Как некий колокол гудящий,
Угрюмых воронов вспугнут
И на могилах стебель спящий
Дыханьем вещим шелохнут!

Я крикну: «Горе беззаконным —
Насильники, убийцы — вам!»
И воззову я к душам сонным,
Как вождь к смутившимся бойцам.

И верю: откликами встретят
Набат моих суровых слов;
Когда ж живые не ответят, —
Восстанут мертвые на зов!

Джерси, август 1853

II ТУЛОН

1

В те времена попал приморский этот город
Под иго англичан, властителей морских,
Террором был казнен и пушками распорот,
Но не сдавался, не притих.

Что каждодневный страх, что ужас полунощный,
Что гром грохочущий и не дающий спать!
Сбив когти Англии, его клешнею мощной
Взяла Республика опять.

На рейде заперты разбитые фрегаты.
Знамена славные изодраны пальбой.
Над батареями клубится дым косматый.
Еще не кончен правый бой.

Рычащие форты, горящий в бочках порох,
Крушение брандеров, багряный блеск воды,
Кривой полет ядра в заоблачных просторах,
Подобный гибели звезды...

Мрачна история! И в той главе блестящей,
Меж смятых амбразур и раскрошённых мачт,
Звучат свистки команд, ревет снаряд летящий,
Не молкнет гул, не молкнет плач.

О Франция! Тогда ты волновала страны
Чудесным отзвуком мятежной правоты,
На тигров и пантер, что выслали тираны,
Львов снаряжала драться ты.

Тогда бойцы твоих четырнадцати армий
Взошли на горный кряж, проплыли океан.
Ты знала сто побед. И на любом плацдарме
Рос выше неба великан.

И зори над тобой так явственно вставали!
Безвестных удалцов так подняла война!
И шли они вперед. И трубы воспевали
Их молодые имена.

Лишь молодость несли тебе они в подарок,
Крича: «Свобода! Смерть тиранам! Победим
Или умрем!» Огонь их вечной славы ярок,
В дыханье бури невредим.

2

Сегодня город стал отверженной клоакой
Для всех, кто озверел от низости и зла,
Для каждой гибели, для тленной дряни всякой —
Грязь во все щели заползла.

Клятвопреступникам, монетчикам фальшивым,
Всем, кто обвешивал, кто подбирал ключи,
Грабителям лесным, кто горло за гроши вам
Полосовал в глухой ночи, —

Всем наступает час неумолимой кары:
Не околпачат суд, не избегут суда, —
Пират, убийца, вор — и молодой и старый —
Все будут брошены сюда.

Кто из дворца придет, кто из трущобы грязной —
Всем леденящая рука прикажет: «Встань!» —
Чтоб на спину вклеить клеймо печати красной,
Сожмет ошейником гортань.

И только что заря восходит в тусклом дыме,
Их океан зовет: «Вставай! Настал черед!»
И кажется, что цепь, проснувшаяся с ними,
Скрежещет: «Вот и я! Вперед!»

Они идут гуськом, и топчутся неспешно,
И, разобрав впотьмах лопаты и кирки,
Влачат на спинах знак кровавый и кромешный,
Безумны, немощны, мерзки.

Босые, в колпаках, надвинутых на брови,
Со взглядом мертвенным, изнурены с утра,
Бьют камни, роют рвы, с рук не смывают крови, —
Сегодня, завтра, как вчера...

Дождь, солнце, снег, туман не принесут пощады.
Июнь или январь — недвижим их удел.
Постелью служит им сырой настил дощатый,
Отрадой — память мокрых дел.

По вечерам, когда надсмотрщики по спискам
Все стадо на понтон попарно приведут,
Раздавлены вконец, дрожат во мраке склизком,
А спины новых палок ждут.

Они не видят дня, они не спят ночами,
Полумертвы во сне, не дышат по утрам.
И все их скотское исхлестано бичами,
И все людское душит срам.

3

Тут подвиг низости свидание назначил,
Герой и каторжник убежище найдут.
В Тулоне некогда дорогу дядя начал —
Племянник должен кончить тут.

Что ж, негодяй, живи! Тебя горой раздуло, —
Солдата славного изобрази живей.
Чугунное ядро, что забивал он в дуло,
К ноге приковано твоей!

*Написано по прибытии в Брюссель,
12 декабря 1851*

Смотрите, вот они: ханжи, исчадья тьмы.
Ругаясь и плюясь, орут они псалмы.
Как мерзок этот сброд! Он делает газеты;
Он расточает в них проклятья и советы,
Гоня нас плетью в рай. Собрание писак!
Для них душа и бог — предмет словесных драк,
Глупейших диспутов, как в древней Византии.
Опасные шуты! Растленные витии!
О, как их заклеить сумел бы Ювенал!
Газеты им нужны, чтоб мир о них узнал.
Там некая вдова пописывает что-то, —
Ведь мокрохвостых птиц всегда влечет в болото.
Они вершат свой суд; судьей в нем — изувер,
А подсудимые — Паскаль, Дидро, Вольтер.
Мыслители вредны, святошу мысль стесняет,
Полезней — Эскобар. И почта рассылает
Заплесневелый вздор по адресам невежд.
Наш век сомнений, век исканий и надежд
Они, как прачки, трут с усердием и пылом
Поповским щелоком, иезуитским мылом.
Газетку их, где яд позеленил слова, —
Ее, одну ее читает Егова.
Они, здесь, на земле, хвалу слагая хором
Церковным пошлинам, налогам и поборам,
Погоду делают и там, на небесах.
Страж, с огненным мечом стоящий на часах,

Спешит открыть врата им в райские селенья;
С рассветом, — птичьего еще не слышно пенья, -
Когда заря едва рождается, когда
Она, взглянув на мир, краснеет от стыда,
Они уж лезут вверх, друг друга оттирая;
И там, вскарабкавшись, суют в преддверье рая
Апостолу Петру бесстыжий свой листок —
Письмо создателю. И кажется, что бог —
Всего приказчик их, к тому же нерадивый.
И революции, и ветры, и приливы —
Им все не по нутру; предвечного хуля
За то, что светит свет, вращается земля
И мыслит человек, скрепляют опус гадкий
Они, как сургучом, церковною облаткой.
Наверно, ни один высокородный князь,
Который вывален был из кареты в грязь,
Не мог бы так честить неловкого возницу.
И бедный Саваоф, прочтя одну страницу
И видя, как он глуп, мечтает, оробев,
Забиться в уголок, пока гремит их гнев.
Они низвергли Рим, могли б разрушить Спарту...
И эти шельмы льнут сегодня к Бонапарту.

Брюссель, январь 1852

УБИТЫМ 4 ДЕКАБРЯ

Итак, всем вам покой дарован властелином...
Еще недавно вас полетом соколиным

Манили вдаль мечты...

Любовь и ненависть и вам, простые люди,
Воспламеняли кровь... Дышали вольно груди,
Кричали громко рты.

Друг друга знали вы навряд ли... Ваши лица
Мелькали в полумгле на улицах столицы,
Где бьет людской прибой.

Куда-то вас влекли вздымавшиеся волны...
Но были вы одной и той же думой полны,
Дорогой шли одной.

Пылающий ваш мозг стремился к тайной цели...
Быть может, Тюильри разрушить вы хотели,
Быть может — Ватикан.

Свободомыслию вы возглашали: слава!
Ведь в пламенный наш век душа любая — лава,
Любой народ — вулкан.

Любили вы... И боль и грусть владели вами.
Порою вам сердца сжимала как клещами
Неясная тоска.

Под натиском страстей, их яростного шквала,
Душа, как океан, порою бушевала,
Бездонно глубока.

О, кто б вы ни были: отважны, безрассудны
И юны, иль, пока вы шли дорогой трудной,
Согнула вас судьба,
Несла ли вам она надежду, радость, горе, —
Вы знали вихрь любви, вы знали скорби море,
Покуда шла борьба.

Убиты в декабре, безмолвны, недвижимы,
Во рву лежите вы, ничем уж не томимы,
Прикрытые землей.
Уже растет трава над вами... Крепче спите
В могилах, мертвые! В гробах своих молчите!
Империя — покой.

Джерси, декабрь 1852

ЭТА НОЧЬ

Он в Елисейском был. Друзей с ним было трое.
Окно светило в ночь, снаружи — золотое.
Моменту нужного, за стрелкою следя,
Он ждал, задумчивый. Он именем вождя
Мечтал бандита скрыть: Картуша — Бонапартом.
Удар предательский он наносил с азартом,
Но ждать умел, дрова в камине вороша.
И вот что он сказал, изменничья душа:
«Мой тайный замысел свершится непременно;
Варфоломеева и нынче ночь возможна:
Париж при Карле спал и снова спать залег.
Законы все в один вы сложите мешок
И в Сену кинете: часы теперь безлунны».
О мразь! О байстрюки распутницы-фортуны,
Плод случки мерзостной коварства и судьбы!
Лишь из-за вас мой стих взлетает на дыбы
И сердце гневное в груди моей мятется,
Как дуб, что с бурей в лесу глубоко бьется!

Покинув дом Банкаль, пошли, таясь в тени,
Арно — шакал, Мопя — картежный вор, Морни;
При виде тройки той, зловещей и порочной,
Колокола церквей, вещая час полночный,
Бесплодно силились изобразить набат;
«Держи убийц!» — шел крик с июльских баррикад;
Проснувшись, призраки былых расправ кровавых
Персты направили на хищников лукавых;

И песнь Марсельская опять лила с высот
Свой боевой призыв: «К оружию, народ!»

Но спал Париж. И вот на набережных черных,
На черных площадях ряды солдат покорных
Возникли; янычар привел своих Рейбель,
Экую и водкой в них разжегши бранный хмель;
Дюлак своих привел, и Корт — за Эспинасом;
И с патронташами, пьянея с каждым часом,
Полк за полком идут с угрозою в глазах.
Шагают вдоль домов почти что на носках,
Бесшумно, медленно... Так в джунглях тигр крадется
И, когти выпустя, в добычу вдруг вопьется.
И ночь была глуха, и спал Париж — как тот
Орел, что в сеть ловца уснувший попадет.

Вожди, с сигарами в зубах, рассвета ждали.

О, воры, шулера, бандиты! В генерале
Убийца скрыт — в любом! На каторгу их всех!
В былые дни судья казнил за меньший грех:
Живьем сожгли Вуазен; Дерю был колесован.
Париж воззваниями презренными заплеван;
И, озаряя их и наглых трусов рать,
Восходит новый день.

И ночь спешит бежать,
Сообщница убийц, в своей туманной шали,
Засунув за корсаж те звезды, что блистали
Из мрака, — тысячи сияющих светил;
Так девка, продавать привыкшая свой пыл
Преступникам, бежит, одежду чуть накинув,
От «гостя» получив горсть золотых цехинов.

Брюссель, январь 1852

ТЕ ДЕУМ ¹ 1 ЯНВАРЯ 1852 ГОДА

Твоя обедня, поп, из-под команды «пли»
 Яд богохульный точит.
 Смерть за твоей спиной, на корточках, в пыли,
 Прикрывши рот, хохочет.

Трепещут ангелы, пречистая в раю
 От слез изнемогает,
 Когда о пушечный фитиль свечу свою
 Епископ зажигает.

Ты тянешься в сенат, — и сан возвышен твой,
 И жребий твой приятен, —
 Пускай, но выжди срок: не смыты с мостовой
 Следы зловещих пятен.

Восставшей черни — смерть, властителю — хвала
 Под хриплый хохот оргий.
 Архиепископ, грязь на твой алтарь вползла,
 Заболтанная в морге.

Ты славимь господа, всевышнего царя.
 Струятся фимиамы.
 Но с росным ладаном мешается не зря
 Тлен из могильной ямы.

¹ Благодарственный молебен (лат.).

Расстреливали всех — мужчин, детишек, жен.

Ночь не спала столица.

И у соборных врат орел свинцом сражен, —

Здесь коршун поселится.

Благословляй убийц, бандитов славословь.

Но, вопреки всем требованиям,

Внял мученикам бог! За жертвенную кровь

Ты трижды проклят небом.

Плывут изгнанники, — причалят там иль тут,

В Алжир или в Кайенну.

В Париже Бонапарт остался, но найдут

И в Африке гиену.

Рабочих оторвут от мирного труда,

Крестьян сгноят расправой.

Священник, не ленись и погляди туда,

Налево и направо!

Твой хор — Предательство, твой регент —

Воровство.

Хриstopродавец хитрый,

Ты в ризы облачен, но срама своего

Не скроешь и под митрой.

Убийца молится, протиснулся вперед,

Патронов не жалеет.

Что в дароносице — сам чорт не разберет,

Но не вино алеет.

Брюссель, 3 января 1852

«Поистине, наш век странно чувствителен. Неужели воображают, что пепел костров совершенно остыл? Что не найдется хотя бы крошечной головни, чтобы зажечь пук соломы? Безумцы! Называя нас иезуитами, они думают оскорбить нас! Но эти иезуиты хранят для них цензуру, кляп и огонь... И когда-нибудь они станут владыками их владык».

(Отец Роотан, генерал ордена иезуитов, на конференции в Кьери.)

Сказали: «Победим и станем властью массам.
По тактике — бойцы, священники — по рясам,
Мы уничтожим честь, прогресс, права, умы.
Из лома сложим форт, засев, захлопнем двери,
И, для спокойствия, с рычащих суеверий,
Как бы с угрюмых псов, намордник сдернем мы.

Да! Эшафот хорош; война необходима;
Невежеству — почет, и нищета терпима;
Трибун заносчивый пускай в аду горит;
Обрящет лишь болван архангельские крылья.
И наша власть, как власть обмана и насилья,
Отцу завяжет рот, ребенка одурит.

¹ К вящей славе божией (лат.).

Слова, которыми стегать эпоху будем,
Как хлопья с кафедры глаза залепят людям,
И вмиг оледенят несмелые сердца,
И в них любой росток полезный заморозят;
Потом, как в землю снег, уйдут. И пусть елозят,
Пусть ищут: не найдут начала и конца!

Лишь холод сумрачный сгустится над сердцами, —
И тут погасим мы, убьем любое пламя.
А крикнет кто-нибудь французам новых дней:
«Свободу бы вернуть, как деды сбить бы цепи!» —
То внуки осмеют, кто в нашем рос вертепе,
Свободу мертвую и мертвых дедов с ней.

На нашем знамени сверкнет из пышных складок:
«Семейство, Собственность, Религия, Порядок».
А коль на помощь нам придет разбойник вдруг,
Язычник, иль еврей, иль корсиканец, — в зубы
Взяв нож, в кулак фитиль, — кровавый, подлый,
Клятвопреступник, вор, — ему мы скажем: «Друг».

Твердыни захватив, для всех недостижимы,
Мы будем управлять, надменны, страшны, чтимы.
Что нам в конце концов Христос иль Магомет?
Мы служим, всё гоня, одной лишь цели: властвуй!
А коль наш тихий смех пройдет порой над паствой, —
В глуби людских сердец дрожь пробежит в ответ.

Мы спеленаем дух в тиши и тьме подвала.
Поймите, нации: нет выше идеала,
Чем раб египетский, вертящий колесо.
Да здравствует клинок! Прочь, право! Прочь, наука!
Ведь что такое мысль? Развратнейшая сука!
Вольтера — в конуру! На каторгу Руссо!

В расправах с разумом у нас богатый опыт.
Мы в ухо женщинам вольем отравой шопот,
Понтоны заведем, и Шпильберг, и Алжир.
Костры угашены? Мы их опять навалим.
Нельзя людей сжигать? Хотя бы книги спалим.
Нет Гуса? Вытопим из Гутенберга жир!

Тогда в любой душе повиснет сумрак мгlistый.
Ничтожество сердец — основа власти истой.
Все, что нам хочется, мы совершим тишком —
Чтоб ни взмахнуть крылом, чтоб ни вздохнуть не
смели
В неколебимой тьме. И нашей цитадели —
Стать башней черною во мраке гробовом.

Мы будем царствовать над чернью, над ползущей.
Возьмем подножеством мир. Мы станем всемогущи.
Все наше — слава, мощь, богатство, дух и плоть.
Без веры, без любви — мы всюду властелины!..»
— Когда б вы заняли орлиные вершины,
Всех вас оттуда бы я смёл! — речет господь.

Джерси, ноябрь 1852

VIII МУЧЕНИКУ

В «Анналах пропаганды веры»
читаем:

«Письмо из Гонконга (Китай) от
24 июля 1852 г. уведомляет нас, что
г. Бернар, миссионер в Тонкине, был
обезглавлен за веру 1 мая сего года.

Этот новый мученик, родившийся
в Лионской епархии, принадлежал к
Обществу зарубежных миссий. В Тон-
кин он уехал в 1849 г.».

1

Великая душа, подвижник! Ниц пред ним!
Он мог бы долго жить: он умер молодым,
 Но мерил жизнь не цифрой года.
Он был в том возрасте, когда цветет мечта,
Но созерцал лишь крест распятого Христа,
 Ему сиявший с небосвода.

Он думал: «Это — бог прогресса и любви;
Глядя на лик Христа, в нем луч зари лови;
 Христос улыбкой был кротчайшей.
Коль умер он за нас, я за него умру;
Себе опорой гроб его честной беру,
 Спеша к нему на зов сладчайший.

В его доктрине — глубь небесная. Рукой,
Как бы отец — дитя, ведет он род людской
 И жизнь дает людскому роду.

Он у тюремщиков, залегших спать, в ночи
Берет из-под голов тюремные ключи
И дарит узникам свободу.

Но там, вдали, живут иные племена,
Кому неведом он. И доля их страшна:
Влачась, они волочат цепи
И, в жажде божества, проводят жизнь, слепцы,
В бесплодных поисках. Они — как мертвецы,
Что дверь хотят нашарить в склепе.

Где их закон, их цель, их пастырь? Им — бродить.
Им — по неведенью быть злыми. Не делить
Победы над коварством ада...
К ним, к ним! Покинув гроб господень, их спасти!..
О братья! К вам иду — вам бога принести
И голову мою, коль надо!»

Спокойный, помнил он, в смятенье наших лет,
Слова к апостолам: «Несите всюду свет,
Костров презрите пламень рдяный!» —
И тот завет, что дал в последний миг, скорбя,
Христос: «Любите все друг друга! И, любя,
Мне врачуете вы раны».

Он знал, что долг его — развеять светом ночь,
Отставших обратить к прогрессу и помочь
Их душам выбраться на воздух.
И он направился сквозь бури по волнам
В страну кровавых плах, и черных дыб, и ям,
Свой твердый взор покоя в звездах.

2

И те, к кому он плыл, зарезали его.

3

О, в эти дни, когда из тела твоего
Сложили варвары убранство эшафоту,
И меч обтер палач, отправя торжество,
И с ногтя кровь твою стирает, сквозь зевоту,

О плаху; в эти дни, когда святую кровь
Лизать приходят псы, и мухи вереницей
Ползут в твой черный рот, как в улей, и на бровь
Садятся и жужжат в зияющей глазнице,

И голова твоя, без век, уставя взгляд,
На мерзкий вздета кол, висит в безмолвье строгом,
И каменный по ней под хохот хлещет град, —
У нас, о мученик, твоим торгуют богом!

Украден у тебя, о мученик, твой бог,
Мандрену сбыт... К чему твой подвиг небывалый?
Все те, кого стихарь, как и тебя, облек,
Стремясь в сенаторы и выше — в кардиналы,

Все пастыри, ища себе дворцы добыть,
Кареты и сады, где летом меньше зною,
И золотить жезлы, и митры серебрить,
И попивать винцо у огонька зимою, —

Все продали Христа! Бескровна и бледна,
Глянть, голова, сюда! Кому твой бог запродан?
Пирату, чья рука убийством клеймена,
Но сыплет золотом, он по дешевке отдан!

Бандиту проданы за мерзкий кошелек
Евангелье, закон, алтарь, святое слово,
И правосудие, чей светел взор, хоть строг,
И даже истина — звезда ума людского!

Живые в кандалах и трупы в глубях вод;
Подвижники, кого настиг удар кинжала
Иль пасть изгнания; рыдания сирот;
Священный траур вдов — все им товаром стало!

Всё! Вера, клятва та, что принял бог; тот храм,
Куда ты в смертный миг стремился — introibo! ¹ —
Все продано! Стыд, честь... Простри на этот срам,
О мученик, твой взор, где мрак могилы!.. Ибо

¹ Я войду! (лат)

Здесь дароносицы с дарами продают,
Здесь продают Христа, в рубцах от бичеваний,
И пот его чела предсмертный продан тут,
И гвозди из его пречистых стоп и дланей!

Они разбойнику, что стал им первый друг,
Распятые продают с его надмирным блеском,
И слово божие, и ужас смертных мук, —
Твои ж терзания кладут они довеском!

По столько-то за бич, по столько-то за вскрик, —
О цезарь, — за «аминь», за хор, за «аллилуйю»,
За тот кровавый плат, каким обтер он лик,
За камень, где главу склонили неживую.

В продаже — зелень пальм, что стлал пред ним
народ,
И рана от копья, и взор у смертной грани,
И агонии стон, и приоткрытый рот,
И скорбный вопль его, вопль: «Лáмма Савахфáни!».

В продаже гроб святой, и неба темнота,
И с хором ангелов небесная пучина,
И мать бессильная, что, стоя у креста,
Не смела глаз поднять, чтоб не увидеть сына!

О да! Епископы, святые торгаши,
Шуту преступному, Нерону, властелину,
Кто меж предателей хихикает в тиши,
Тразея растоптав и обнимая Фрину,

Пирату, кто убил прикладами закон, —
Наполеону (да — Последнему!), чей жалкий,
Свирепый дух вдвойне победой опьянен,
Хорьку в курятнике и борову на свалке —

Христа запродали, — о мученик, пойми! —
Христа, кто над землей, печальный и покорный,
Улыбкой кроткою сияя над людьми,
Извечно кровь струит с высот Голгофы черной!

Джерси, декабрь 1852

IX ИСКУССТВО И НАРОД

1

Нам искусство — радость, слава;
Блещет в буре величаво,
Светит в выси голубой,
На челе горит народа,
Словно яркий луч восхода,
Разогнавший мрак ночной.

Это — песня всем на диво,
Дар душе миролюбивой,
Песня города лесам,
Песня женщине мужчины,
Выход общий и единый
Всем душевным голосам.

Это — помысел наш новый,
Разбивающий оковы!
Самый кроткий из владык!
Рейн, как Тибр, ему угоден!
Раб-народ лишь в нем свободен,
А свободный им велик!

2

О народ непобедимый
Франции моей любимой,
Песню мира громко пой!

Братский голос твой сердечный,
О народ великий, вечный, —
Зов надежды мировой!

Пой, народ, с утра, с зарею.
Пой вечернею порою.
Веселит работа кровь.
Высмей век свой устарелый!
Громко пой свободу, смелый,
И тихонько пой любовь!

Пой Италию святую,
Польшу, кровью залитую,
Полумертвый венгров край,
Пой Неаполь, слезы льющий...
О тиран! Народ поющий —
Это лев рычащий, знай!

Париж, 7 ноября 1851

Х ПЕСНЯ

Дворцовой оргии беспечные обжоры,
Рты распорол вам смех, вино туманит взоры.
Кадите цезарю, прославьте выше звезд,
Распейте кипрское, стыд расплескайте тоже,
Пожалуйте к столу, предатели! И все же
Мне истина дороже,
Хоть хлеб ее и черств.

Пузатый биржевик! Наворовал ты денег.
Ты плотно ужинал и здравствуешь, мошенник,
Приятель всех иуд, шпииков, жандармов, шлюх!
Пусть плачут бедняки под грязною рогожей, —
Ешь, сколько хочется, гуляй, дыши! И все же
Мне честь моя дороже,
Хоть хлеб ее и сух.

Бесчестие клеймо прочней проказы выжжет.
Солдаты кончили с Монмартром. Кровь с них
брызжет.
Мундиры их в крови, и пьяно их питье.
В казармах дым столбом: крича, качаясь, лежа,
Пьют, чокаются, жрут, целуются... И все же
Зов славы мне дороже,
Хоть горек хлеб ее.

Вчера предместья шли в святом негодованье.
Сегодня спят рабы. Сегодня нищей рвани

Измена грезится за медный грош. Свиреп
Кандальный хохот их и рев, на лай похожий,
В честь императора столь щедрого... И все же
Мне на земле дороже
Свободы черный хлеб.

Джерси, декабрь 1852

1

Я знаю: будут лгать, отыщут сто уверток,
От правды ускользнут, от рук ее простертых,
Начнут все отрицать: «Не я, а он — вон тот!»
Так встаньте за меня вы, Дант, Эсхил, пророки!

Надежно выкованы строки.

Преступник, схваченный за горло, не уйдет.

Для нераскаянных закрыл я книгу эту,

История в глазах поэта

Всеобщей каторгой встает.

Поэт не молится, не грезит бесполезно,

Он ключ Консьержери несет в руке железной,

Он всех преступников зовет на грозный суд.

Тут принцев и господ, как жуликов, обыщут,

Тут императора освищут;

Тут Макбет — негодяй, а Цезарь — шулер тут.

Крылатых строф моих не размыкайтесь узы!

Пускай пылающие музы

Всех арестованных сочтут!

2

А за тебя, народ, настанет срок расплаты!

Лжет ритор, что поэт, как серафим крылатый,

Не знает про Мопá, про Фульда и Морни

И созерцает звезд блаженное сиянье...

Прочь! Если гнусные деянья

И злые умыслы, таимые в тени,

Вы смели вытерпеть, прикрыли их собою, —

Померкни, небо голубое,

Прощайте, звездные огни!

И если негодяй к молчанью всех принудит,

И если уж ничто свободы не разбудит

И над простертою глумятся палачи,

И если каторга полна народным стоном, —

Я зажигаю всем понтонам,

Для всех изгнанников сигнальные лучи;

Я крикну: «Встань, народ! Грянь, буря грозовая!

Пускай отчизна, оживая,

Увидит факел мой в ночи!»

В

Мерзавцы! Их покой во Франции не вечен!

Защелкает мой бич по спинам человеческим.

Пусть певчие вопят, — я им ответ найду.

Хлеща по именам и титулов лишая,

Мундиры с рясами мешая,

Тисками этих строк сжимаю их орду.

И стихари трещат, и блекнут эполеты,

И мантию в погоне этой

Теряет цезарь на ходу. ♣

И поле, и цветок, и синь озер в долинах,

И хлопья облаков нечесанных и длинных,

И в зыбких тростниках плакучая вода,

И мощный океан — дракон зеленогривый,

И бор с листвою говорливой,

И над волной маяк, и над горой звезда —

Все узнают меня и шепчутся про чудо:

«Тут дух отмщающий! Отсюда

Он гонит демонов стада!»

XII

КАРТА ЕВРОПЫ

Повсюду палаши кромсают плоть провинций.
Повсюду лжет алтарь и присягают принцы,
Не изменясь в лице, не опустив глаза.
И от бесчестия присяг невыполнимых,
Присяг чудовищных и безнадежно мнимых,
Должна загрохотать небесная гроза.

Войска на улицах стреляют в женщин бедных.
Свобода, доблесть, честь — все сгинуло бесследно.
На каторге глухой и не сочтешь смертей.
Народы! Чьи сердца забьются пылом прежним?
В орудья, что палят по вожакам мятежным,
Гайнау не ядра вбил, а головы детей.

Россия! Ты молчишь, угрюмая служанка
Санктпетербургской тьмы, немая каторжанка
Сибирских рудников, засыпанных пургой,
Полярный каземат, империя вампира.
Россия и Сибирь — два лика у кумира:
Одна личина — гнет, отчаянье — в другой.

Анкона палачом превращена в застенок.
Стреляет в прихожан лихой первосвященник,
Ключарь католиков, сам папа Мастаи.
Вот Симончелли пал. За первым так же просто
Падут, не побледнев, трибун, солдат, апостол,
Чтоб богу жалобы на папу принести.

Спеши, святой отец, скрой руки между кружев,
Смой с белых туфель кровь! Собрата обнаружив,
Сам Борджиа дает тебе с улыбкой яд.
Погибших тысячи, на смерть идущих сотни...
Не пастырь благостный и не пастух сегодня —
Ты грязный живодер, водитель божьих стад.

Сыны Италии, германцы и венгерцы!
Европа, ты в слезах, твое нищает сердце.
Все лучшие мертвы. Стыд на любом лице.
На юге эшафот. На севере могила.
Тут в саване луна полночная бродила,
Там пламенел закат в кровавом багреце.

Вот инквизиция гуляет по Парижу.
Душитель говорит: я кроткий мир предвижу.
Париж смывает кровь, что пролил для него.
Сжимает Францию кольцо гарроты узкой.
Разбужен воплями, по всей земле французской
Сам Торквемада бдит, справляет торжество.

Поэрио, Шандор и Баттиани тщетно
Погибли за народ. Их жертва безответна.
Пал и Боден, а нам он завещал борьбу.
Рыдайте же, леса, моря, равнины, страны!
Где создал бог эдем, там царствуют тираны.
Венеция — тюрьма. Неаполь спит в гробу.

Палермо и Арад — лес виселиц позорных.
Петля для смельчаков — героев непокорных,
Что гордо пронесли пылающий свой стяг.
Мы в императоры возводим Шиндерганнса,
А ливни быют всю ночь по черепу повстанца,
А ворон рвет глаза, долбит его костяк.

Ждет будущее нас! И вот, крутятся и воя,
Сметая королей, несется гул прибоя.
Труба сигнальная народы соберет —
И в путь! Он сумрачен и страшен. Огневые
Несутся армии сквозь бури мировые.
И Вечность говорит: «Откиньте страх! Вперед!»

Джерси, ноябрь 1852

ХІІ ПЕСНЯ

Самец — добыча кошки.
Мертва и самка. Крошки
Дрожат. Как решето
Гнездо их. Зябнут пташки.
Кто прилетит? — Никто.
О, птенчики-бедняжки!

Пастух невесть где бродит.
Сдох пес. И волк подходит.
Загон как решето,
Весь в дырах, ветхий, шаткий.
Кто защитит? — Никто.
О, бедные ягнятки!

Отец в тюрьме томится,
А мать взяла больница.
Чердак как решето.
Дождь, ветер, холод жуткий.
Кто вырастит? — Никто.
О, бедные малютки!

Джерси, февраль 1853

Да; ночь. Вся черная, глубокая, глухая.
Тьма крылья вскинула, над миром простирая.
Вы, в радостных дворцах, с оградой из штыков,
Уснув средь бархатов, батистов и шелков,
На ноги зябкие соболий мех накинув,
Под белым облаком ласкающих муслинов,
За плотным пологом, где, в тайне и тиши,
Приют всем похотям, всем забытьям души,
Под музыку фанфар, ласкающих и дальних,
Пока ночник, дрожа, едва дерзает в спальнях
Плафоны озарять, где пурпур как вино,
Вы все — и граф Мопа, и герцог Сент-Арно,
И вы, сенаторы, префекты, судьи, принцы,
Ты, цезарь, властелин, божок твоих провинций,
Сумевший из мечты империю создать, —
Покойтесь, властвуя... — День. Каторжники,
встать!

Джерси, 28 октября 1852

XV
ОЧНАЯ СТАВКА

Восстаньте, мертвые, чтобы назвать убийц!
Чей нож у вас в груди? Кто вас повергнул ниц?

Ты первая встаешь в кровавых облачениях,
Кто ты? — Религия. — Убийца твой? — Священник.

— Вы, ваши имена? — Честь, Разум, Верность, Стыд.
Убила церковь нас. — А это кто стоит?

— Я Совесть общества. — Кто твой палач? —
Присяга.

— А ты, что плаваешь в своей крови, бедняга?

— Я раньше был Судом. — Убийцу назови!
— Судейский в мантии. — А ты, гигант в крови,

В грязи померкнувший, недавно — лучезарный,
Кто ты? — Я Аустерлиц. — Убийца твой? — Казарма.

Брюссель, 5 января 1852

Книга вторая
«ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕН»

I
ИДИЛЛИИ

С е н а т

Звени, струна! Пусть рог воркует!
И птичкам в гнездах петь дано:
Природа вся теперь ликует.
Пускай Маньян кадрили танцует,
И пляшет пастурель Арно!

Л и л л ь с к и е п о д в а л ы

Miserere! ¹
Miserere!

Г о с у д а р с т в е н н ы й с о в е т
Дать лампионов в изобилие
Во все беседки, в каждый грот!
Смешайтесь, сабли и мантильи!
Красавцы, в хор! И, вскинув крылья,
Скорей, красотки, в хоровод!

Р у а н с к и е ч е р д а к и

Miserere!
Miserere!

З а к о н о д а т е л ь н ы й к о р п у с
Жить! Жить! Любовью мы не сыты
И, чтобы пищу дать сердцам,

¹ Умилосердись! (лат.).

Сбираем мед, везде разлитый!
Уста цветов пчеле открыты
И губы женщин — мудрецам!

Брюссель, Лондон, Бель-Иль, Джерси

Miserere!
Miserere!

Городская дума

Империя, сквозь окна глядя,
Сверкает нам. Обед! Банкет!
Петард побольше на параде!
Был к реву пушек склонен дядя;
Племянник требует ракет.

Понтоны

Miserere!
Miserere!

Армия

Прочь гордость! Преклонить пора нам
Колени. Дьяконы пришли.
Рожки заглушены органом.
Кабак зажег нас пылом рьяным,
А нашу славу в морг свезли.

Ламбесса

Miserere!
Miserere!

Суд

Едим и пьем — палатой целой.
Как виноград не смаковать?
Приятно снять рукой умелой
Тугую гроздь со стенки белой
И в погреб — бутылку взять!

Кайенна

Miserere!
Miserere!

Епископы

Велит Юпитер в полной мере
Чтить воцарившийся Успех.
Глотнем!.. Священник предан вере,
Но, сердца гнет изгнав за двери,
Винца в желудок влить — не грех.

Монмартрское кладбище

Miserere!

Miserere!

Джерси, апрель 1853

II НАРОДУ

Везде рыдания, крики, стоны...
Так что ж ты спишь во тьме бездонной?
Ты мертв? Не верю! Не понять!
Так что ж ты спишь во тьме бездонной?
Нельзя в такое время спать.

Свобода бледная лежит в крови у входа
В твой дом. Ты мертв? — Мертва Свобода!
Шакал приполз на твой порог,
С ним крысы приползли и ласки.
Что ж дал ты закрепить на саване завязки
И в гроб — зверью добычей — лег?
Европа к службе похоронной
Спешит, простерши длань...
О Лазарь, Лазарь погребенный,
Встань!

Париж, в бреду, при лунном свете
Глядит на кровь, на трупы эти;
Вновь Трестальон стяжал почет:
Конец трибуне! Смерть газете!
И «Карманьоле» заткнут рот!
И Революция, что потрясала душу,
С ног сбита. Удались Картушу
Дела титанов. Слышен тут
И Эскобара смех, как раньше.
И по Республике, простертой великанше,
Волочит саблю лилипут,

И судьи продали законы,
Стяжав, как должно, дань...
О Лазарь, Лазарь погребенный,
Встань!

В Милан, хрипящий в агонии,
В Рим, что задохся под святые
Напевы, в Пешт, где кровь и грязь,
Вновь торжествуя, Тирания,
Волчица старая, впилась.

Ликует! Логово — опять в гербах, блистая.

Она от Тибра до Дуная
По трупам шествует в ночи.

Ее щенки — в любой столице,

На тронах. Кто же корм спешит нести волчице?

Епископы и палачи.

И короли пьют сок соленый

В чаду кровавых бань...

О Лазарь, Лазарь погребенный,

Встань!

Христос велел нам без изъятья
Любить друг друга, точно братья.

И скоро двадцать сотен лет

Простерты к нам его объятья,

Звучит его святой завет.

Пророку доброму стал Рим столицей вечной,

И там тиарой трехвенечной

Власть освящает Ватикан:

Одно окружье — диадема,

Другое — висельных ошейников эмблема,

А третье — попросту капкан.

Над папой — страшной той короны

Тройная блещет грань...

О Лазарь, Лазарь погребенный,

Встань!

Вкруг тюрьмы строят — цепью новой;

Все спишь, народ? Струей багровой

Журчат — не слышишь их? — ручьи;

Не слышишь, как рыдают вдовы?

Все спишь в могильном забытии?

Понтоны отплыли... Прощайте вы, страдальцы!..
Вот матери ломают пальцы:
Их дети — гибнут. Нет конца
Стенаниям старух несчастных,
Но каждая слеза из глаз, от плача красных,
Вливает ярость нам в сердца.
А маклаки, неугомонны,
Ликуют, — мразь и рвань!..
О Лазарь, Лазарь погребенный,
Встань!

Он не встает ли в самом деле?
Мне слышится — пусть еле-еле —
Неясный ропот, смутный гул,
Как будто ульи загудели
Или глухой набат плеснул.
А цезари, забыв про страшный скат гемоний,
Спят средь ласкающих симфоний
От Этны до Балтийских вод;
Народы ж — мрак полночный давит.
Покойтесь, деспоты: вам рог победу славит,
Осанну вам орган ревет!
Но что в ответ? Набат стозвонный,
Все заглушая, грянь!..
О Лазарь, Лазарь погребенный,
Встань!

Джерси, май 1853

ВОСПОМИНАНИЕ О НОЧИ 4 ДЕКАБРЯ

Две пули в голову ребенка угодили.
Был скромн мирный дом, где люди честно жили.
Из рамки на стене смотрел на нас Христос.
Нас бабка встретила потоком горьких слез.
В молчанье горестном ребенка мы раздели.
Был бледен рот его, глаза остекленели;
Ручонки свесились, как сломанный цветок.
В кармане мы нашли некрашенный волчок.
Персты могли бы вы вложить в отверстие раны, —
Так терн раздавленный багрит кусты поляны.
Был череп мальчика расколот пополам,
И бабка старая, вздохнув, сказала нам:
«Как бледен он, увы! Приблизьте лампу. Боже!
Волосики в крови и так присохли к коже!»
Ребенка мертвого она у нас взяла.
Сгущалась за окном зловещей ночи мгла.
Гремели выстрелы. Там снова убивали.
«Поможем саван сшить», — товарищи сказали,
И в дедовском шкафу мы взяли простыню.
Старуха поднесла меж тем дитя к огню,
Как будто бы согреть холодный труп желая.
Но то, что тронула десница ледяная,
Не в силах отогреть людские камельки.
Старуха бережно сняла с него чулки
И, ножки мальчика в свои схвативши руки,
Вдруг закричала нам: «За что такие муки?

О люди добрые! Ему семь лет всего!
Он школу посещал. Хвалили все его.
Понадобилось мне на днях писать прошение,
И мальчик мне помог. Кто дал им разрешение
Расстреливать детей? Помилуй, боже, нас!
Иль палачи они? Я спрашиваю вас!
Он утром здесь играл у моего окошка.
За что же убивать его, такую крошку?
Он нашу улицу как раз перебежал,
Они, прицелившись, убили наповал.
Он мал, а я стара, в гробу одной ногою.
Пусть этот Бонапарт покончил бы со мною;
Но на моих глазах убить ребенка вдруг!..»
Внезапно у нее перехватило дух.
Мы тоже плакали, на слезы глядя эти.
А бабка молвила: «Зачем мне жить на свете?
Он после дочери был у меня один.
Так объясните мне, мой добрый господин:
За что же он убит, мой маленький внучонок?
«Ура, республика!» он не кричал, ребенок!»
И, головы склоня, молчали мы в ответ
Пред этой горестью, где утешенья нет.

Так, матушка, у нас в политике ведется.
Ведь этот Бонапарт, — он вправду так зовется, —
Деньгами небогат, но принц, и потому
Жить хочет во дворце, и золото ему
Потребно на пиры, на карты, на забавы.
Хотел бы он прослыть спасителем державы,
Хранящим честь семьи, и церковь, и закон.
Средь розовых куртин в Сен-Клу желает он
Префектов с мэрами вкушать хвалы пустые, —
И вот поэтому праматери седые
Рукой трясущейся и сморщенной, как трут,
Внучатам маленьким могильный саван шьют.

Джерси, 2 декабря 1852

IV

* * *

Ты, солнце, светоч, полный блага,
Вы, дикие цветы оврага,
Вы, гротов гулких голоса,
И ты, росы душистой влага,
И терном полные леса,

Вы, гор священные твердыни,
Что, будто храм, белеют в сини,
Дуб вековой, утес седой, —
Все то, что созерцаю ныне,
Чью жизнь и душу пью душой, —

Вы, рощи девственные своды,
И светлый ключ — святые воды,
Куда лазурь небес глядит, —
Скажите: пред судом Природы
Как этот выглядит бандит?

Джерси, 2 декабря 1852

С тех пор, как справедливость пала,
И преступление власть забрало,
И попраны права людей,
И смелые молчат упорно,
А на столбах — указ позорный,
Бесчестье родины моей;

Республика отцовской славы,
О Пантеон золотоголовый,
Встающий в синей вышине!
С тех пор, как вор стыда не знает,
Империю провозглашает
В афишах на твоей стене;

С тех пор, как стали все бездушны
И только ползают послушно,
Забыв и совесть, и закон,
И все прекрасное на свете,
И то, что скажут наши дети,
И тех, кто пал и погребен, —

С тех пор люблю тебя, изгнанье!
Венчай мне голову, страданье!
О бедность гордая, привет!
Пусть ветер бьет в мой дом убогий
И траур сядет на пороге,
Как спутник горести и бед.

Себя несчастьем проверяю
И, улыбаясь, вас встречаю
В тени безвестности, любя,
Честь, вера, скромность обихода,
Тебя, изгнанница свобода,
И, верность ссыльная, тебя!

Люблю тебя, уединенный
Джерсейский остров, защищенный
Британским старым вольным львом,
И черных вод твоих приливы,
И пашущий морские нивы
Корабль, и след за кораблем.

Люблю смотреть, о глубь морская,
Как чайка, жемчуг отряхая,
В тебе купает край крыла,
Исчезнет под волной огромной
И вынырнет из пасти темной,
Как чистый дух из бездны зла.

Люблю твой пик остроконечный,
Где внемлю песне моря вечной
(Ее, как совесть, не унять),
И кажется, в пучине мгlistой
Не волны бьют о брег скалистый,
А над убитым плачет мать.

Джерси, декабрь 1852

VI ДРУГОЙ ПРЕЗИДЕНТ

1

Вот, консерваторы, избранник ваш законный!..
В дни безмятежные он был рычащим псом,
Драконом яростным, химерой разозленной,
А в дни беды — кротом!

Ища себе главу, они, — когда открыто,
Ломая все, гроза росла у наших стен, —
Нашли подлейшего. Коль не было Терсита,
То избран был Дюпен.

О властелин-народ! Свою спасая ренту,
Политиканы труд твой честный предают!
Гляди: в противовес бандиту-президенту,
Стал президентом — шут. •

2

Скрипучим голосом напоминая клушу,
Трибунов пламенных, чтобы заткнуть им рот,
Язвил он... О, глупцы! Презреннойшую душу
Облечь в такой почет!

Избрали!.. В гнусный день, когда свершалось дело,
Солдаты при штыках, свирепостью горя,

Вошли в священный храм, откуда людям рдела
Прекрасная заря!

Алтарь низвергнут был, насилия воскресли.
Тут честь и долг ему кричали, возмуться:
«Встань! С молнией в руках встань на курульном
кресле!»

Влезть предпочел он в грязь.

3

Пусть и лежит в грязи, избрав ее гробницей, —
Из памяти людей навеки прогнан прочь,
Пусть там разложится, став падалью безлицей,
Бесформенной, как ночь!

И даже, коль пойдут его искать в клоаке,
Пусть он останется в гнилье неразличим,
И все, что ползает, все, что кишит во мраке,
Пускай сольется с ним!

И пусть история, коль спросят, что такое
Лежит на гноище, безгливый даст ответ:
«Как знать? Какое-то позорище бывшее,
Кому и клички нет!»

4

О, если б ад впускал подобные личины,
Их в горькой гордости не отгонял от врат, —
Скажите мне тогда, поэты, чьи дубины
Порог его хранят, —

Не правда ль — в бездне той, где обитает кара,
Где всем надеждам грань — пылающий фронтон, —
Скажи мне ты, пророк патмосского пожара,
Ты, Дант, и ты, Мильтон,

И ты, старик Эсхил, Электры знавший трепет, —
Не радостно ль мечтать, что мерзких масок бьют,
За преступленья мстя; что оплеуху влепит
Мосье Дюпену — Брут!

Брюссель, декабрь 1851

VII О ПАССИВНОМ ПОВИНОВАНИИ

1

О, эпопеи войн! Бойцы Второго Года!
Вы против королей стремили гнев народа!
Австриец ли, пруссак
Был вам противником, Тир иль Содом с Гоморрой,
Иль русский царь, людей ловящий злобной сворой
Своих борзых собак,

Или Европа вся с надменными вождями,
С пехотой, с конницей несметной, над полями
Нависнув точно рок,
Свирепой гидрой встав и смертной брызжа влагой, —
Вы с песней в битву шли, снабженные отвагой,
Лишенные сапог!

С дрянными ружьями, что на плечах бренчали,
На север, запад, юг, восток — в любые дали —
Средь огненных зыбей,
Оборванные, без сна, без отдыха, без снеди,
Вы шли, веселые, трубя в рожки из меди,
Как тысяча чертей!

Вела Свобода вас, высоким вея стягом.
В лоб — горы, реки — вброд! И под державным
Любой рубеж стонал.
шагом

Творились чудеса: все время стычки, встречи,
Сражения... Жубер ломил врага на Эче,
Марсо на Рейне гнал.

Вы били авангард, вы центр на клочья рвали;
По грудь в воде брели, в грозу, в метель шагали,
Но лишь вперед — и в бой!
О мире враг просил; другой сдавал твердыни;
И троны вихрь сметал, как листья по равнине
Осеннею порой.

О! С молнией в глазах, сколь были вы, солдаты,
Велики в громе битв! Растрепанны, косматы,
Шли в черном смерче вы!
Вы излучали свет; пылая, непреклонно
Шли, вскинув голову, дыханьем аквилона
Дыша, как бурей львы!

О, в упоении эпической борьбою,
Вы грозной музыкой пьянели боевою:
Как звук небесных сфер,
Средь пуль крылатая гремела Марсельеза,
Звучали взрывы бомб, рев труб, и лязг железа,
И смех твой, о Клебер!

Вам Революция кричала: «Волонтеры!
Умрите за других, но сбив с темниц затворы!» —
«Идем!» — был ваш ответ.
«В бой, старый ветеран! В бой, маршал
безбородый!»
И оборванцами вы, рыцари Свободы,
Шли, ослепя весь свет!

Вам страх неведом был, неведомы печали.
Вы б — нет сомнения — и тучи штурмовали,
Коль, обратив глаза,
Свой олимпийский бег прервав неукротимый,
Увидели б, что перст Республики родимой
Направлен в небеса!

Едва лишь дух взлетит к ним, к этим ветеранам,
Как вновь их светит лик и блещет меч, тиранам
Грозивший в славный год.

Вот войны тех лет! Теперь о них забыли:
Истории невмочь вместить все эти были;
Теперь — иным почет.

Да, слава нынешним! Стотысячным отрядом
Идут по городу (сто на пять!) с грозным взглядом.
Бей, барабан, греми!
Картечью! Залп сверкнул; ствол хорошо нацелен:
В квартале Тикетонн — победа! — пал, застрелен,
Ребенок лет семи.

Герои!.. Женщины им не страшны, конечно;
В прохожих трепетных они палят беспечно,
Как смелым надлежит;
Вскачь сквозь Париж летят пикеты их лихие,
И можно видеть мозг и волосы седые
Оправою копыт.

На приступ родины они идут; законы
Штурмуют. Их полки, команды, эскадроны, —
Все пьяное зверье, —
Нажравшись, деньги взяв, с безумными глазами,
Готовы ко всему. Мопа несет их знамя,
В рожок трубит Вейо.

Народ лишен всего: нет ни свинца, ни стали;
Ему ни пороха, ни ружей не достали...
Удобный миг, бойцы!

Закон дано хранить двум или трем трибунам,
А ваших пушек строй жерлом грозит чугунным, —
Рискните ж, храбрецы!

О войско Декабря, герои из засады,
Убийцы родины, чьи мчатся кавалькады,
Бесчестя весь Париж!..
Сверкали, как маяк, сказал я, ваши деды
И презирали смерть, фанфарою победы
Пред боем взрезав тишь.

Их не страшил удар ничьих пехот и конниц —
Пруссак ли шел на них, иль смуглый каталонец,
Иль русский великан.
А вы — вы лишь в стрельбе по горожанам метки,
Да! Сарагосу взять смогли гиганты-предки,
Вы взяли... ресторан!

Ну как, История?.. Отцы, расправя плечи,
На батарее шли в упор сквозь град картечи;
А эти, сжав тесак,
По детям раненым, по старцам непреклонно
К злодейству шествуют... Два разные фасона
Бестрепетных атак!

В

*Тот человек, — в ночи, покуда над усталым
Парижем не блеснул рассвет, —
Прийти к себе велел французским генералам
С трехзвездным блеском эполет.*

Сказал он: «Можете к моим склониться картам,
Что скрыл я тьмой от взоров дня:
Меня вы до сих пор считали Бонапартом,
Мое же имя — Западня.

Откроюсь завтра я — в день траура и скорби,
В день похорон и перемен.
А вы пока должны бесшумно, спины сгорбя,
Как воры, проскользнуть вдоль стен.

Вот и отмычка вам, — ее в быту осторожном
Уже не раз я применял, —
И вы взломаете нажимом осторожным
Закона вековой портал.

Тут — сабли наголо! Ура! И строем тесным,
С толпой шпионов впереди,
Топчи, дави, души всех, кто остался честным,
Кто гордость сохранил в груди,

Трибунов и народ, Палату и подвалы, —
Чтоб весь Париж лежал у ног!
Я буду щедр». Взялись за дело генералы,
В чем отказал бы сам Видок.

4

Теперь — награда преторьянцам!
Солдаты, пейте! Где запрет
Вину, и хохоту, и танцам?
Казармам — пир, постам — банкет!

Разгул багрит усы рубакам;
Червонцев полон их карман;
Им Эльдorado бивуаком,
У них Камачо — капитан.

Кутеж над клочьями закона.
Вчера убийства. Нынче бал.
И шпагу у Наполеона
Гаргантюа, как вертел, взял.

Насильники разбой кровавый
Победой мнят. В чаду хмельном
Они позор считают славой,
Француза каждого — врагом.

Отчизну обезглавя, пылко
Они встречают день второй:
В одной руке у них бутылка
И жертвы голова — в другой.

И пляшут все в кадрили черной,
Как по оврагам нищий сброд;
Вино Сибур им льет проворный,
И девок им Тролон ведет.

На тех пирах напропалую
Оркестры бурные гремят...
Но я творю мечту иную
Для обездоленных солдат!

Мечту о бурях, бьющих с неба,
О комьях снега на сосне,
О сне в снегах, о днях без хлеба,
О бомбах, рвущих брешь в стене.

Мечту о маршах, ранах, бедах,
О продырявленной в бою
Шинели старой, о победах —
Но одного над десятью!

О том, что, славой к ним слетая,
Бойцов безвластных опьянит
Героев нищета святая,
Величье их могильных плит!

Ведь в кандалах Европа стонет,
Ведь в душах гнев бурлит опять,
Ведь скоро громом бог уронит:
«Оковам — пасть! Народам — встать!»

Раскрыта новая страница
Истории — и слышно мне,
Как бронзовая колесница
Гремит в зловещей вышине.

И землю гул глухой колышет,
Бунтует сталь и рвет ножны,
И ветром из ноздрей в нас пышет,
Беснуясь, черный конь Войны!

Солдаты! Вас, в мечте бессонной,
Я шлю по славному пути,
Где вам передовой колонной
Все человечество вести!

Для вас, воителей достойных,
Для братьев, я мечту храню
Лишь об отечественных войнах
И тронах, преданных огню!

Я берегу ваш пыл военный,
И строй, и гордый ваш мундир,
Бойцы, для той войны священной,
Что породит для мира — мир!

Вы предо мной в моих виденьях,
О войны, опять и вновь
Идете радостно в сраженьях
И лавры видите сквозь кровь,

В пыли и в черных смерчах дыма
Вы исчезаете — и вдруг,
Вновь появясь, необоримо
Блеск проливаете вокруг

И легионом всемогущим —
Народов вера и мечта —
Идете к светлым дням грядущим
Через лазурные врата!

Б

Что ж, воины! Теперь — позора дни пред вами!
За Брюном и Дезе, великими сердцами,
В кого народ влюблен,
И за Тюренном вслед, Сентрайлем и Лагиром —
Вам куроцап дает пред изумленным миром
В награду сень знамен!

Знамена родины! Краса былых сражений!
Всех древних витязей, всей прежней славы тени!
Страшился вас беглец;
Пронзали пули вас, и штык, и алебарда;
В лохмотьях ваших кровь и Гоша и Баярда
В один слилась баgreц!

О стяги старые! Простясь с могильной ночью —
На волю! Крыльями святыя вскиньте клочья,
Всем ослепляя взор,
И стаей грозною слетайте с небосклона
Кружить, витать, парить — и скройте, о знамена,
Наш нынешний позор!

Избавьте воинов от их значков клейменных!
Вы гнали королей, вились на бастионах,
О отважных душ маяк;
Вас по горам несли и средь снегов суровых;
Вы осеняли смерть!.. Орлов гоните ж новых,
Кем осенен кабак!

Пусть разницу поймут несчастные солдаты!
Знамена Франции! Явите им крылатый
Ваш строй, что, как заря,
Сиял над Мёзою, и Самброю, и Рейном!..
И вздрогнет Аустерлиц пред мужеством питейным
Второго Декабря.

6

Увы! Все кончено! Грязь, мрак... Над нашей славой,
Что в бездну рухнула, встал ореол кровавый
Из кличек воровских
Мопа, Морни, Арно, Маньяна, Бонапарта..
Так склоним головы: взята Гоморрой — Спарта!..
Их пять — убийц ночных!

Все страны в свой черед захватам подвергались.
В край древних вольностей, в Британию, вторгались
Нейстрийцы; готам сдан
Был древний Рим; Махмуд взял Византию в узы;
Сицилия сдалась трем рыцарям... Французы —
Пятерке каторжан!

Так! Властвуйте! Собор наполнен фимиамом,
Канавы — трупами, дворец — банкетным гамом,
И омерзеньем — мир.
Царите же! Народ (для вас он «чернь») душите;
Париж и Францию к лафетам привяжите
Дымящихся мортир!

7

Когда захлопнулся капкан, и смолкли стоны,
И он свои кресты, медали и шевроны
На ваш мундир кидал, —

Вы, к зною Африки привычные рубаки,
Ужель не поняли, что грязь — все эти знаки,
Что вас он запятнал?

О, лишь подумаю — и на ресницах слезы!
Солдаты! Жаль мне вас, жаль той зари, чьи розы
Уже блистали вам!

Жаль: слава навсегда для вас теперь затмилась,
Хоть не одна душа меж вами оскорбилась,
Весь этот видя срам.

Солдаты! Чтили мы ваш прежний блеск победный.
Сыны республики, сыны лачуги бедной,
Вы знали славы сон!

Но, изменив одной и оплевав другую,
Вы — слуги хищника, что пьет их кровь святую!..
Чем подкупил вас он?

За кем идете вы обманутой ватагой?
За деньги овладев, как девкой, вашей шпагой,
Он, явный всем злодей,
Авантюрист, ловкач, столь милый вашим душам,
Войдет в историю, Великим став Картушем, —
Наполеон-Пигмей!

И сабля армии, напавшей ночью с тыла,
Присягу, долг, закон и право изрубила;
И попораны пятой
Прогресс, грядущее, республика Вторая
И революция, что в мир неслась, блистая
Свободою святой,

Чтоб *он*, топча страну с разбитыми сердцами,
Мог над великими усесться мертвецами —
Всевластный гнусный гном —
И в мерзостных пирах, нажравшись до отвала
И человечью кровь глотая из бокала,
Икал кровавым ртом!

8

Ты видишь, господи, что́ армия свершила!
Поскольку честь ее безмолвней, чем могила,
И, стыд забыв, она

Вся пресмыкается, с ползучим гадом схоже;
Поскольку Франция, твой чистый факел, боже,
В крови угашена,

И совесть — в трауре и прячется, страдая;
Поскольку храм и суд, в плаще из горностая,
Обслуживая власть,
Твердят, что истина и право — лишь в успехе
И лучше сплошь в крови достичь заветной вежи,
Чем непорочно пасть;

Поскольку души все, как девки, полны гнили;
Поскольку умерли крушители бастилий
Иль канули во мрак;
Поскольку мерзости в подкупленных палатах,
Из сердца исходя, летят из губ разъятых,
Как будто из клоак;

Поскольку меркнет честь, покуда цезарь блещет;
Поскольку весь Париж — о, стыд! — во тьме трепещет,
Внимая женский стон;
Поскольку нет сердец — лететь к великой цели;
Поскольку старые предместья оробели
И, видно, впали в сон, —

То я молю, творец: твои вручи мне громы,
И я, хоть я ничто, смогу, судьбой влекомый,
Преступника настичь;
Взметнув суровый стих — твое, господь, орудье, —
Войду к нему, войду слугою правосудья,
В руке сжимая бич,

И, засучив рукав, как некий укротитель
Я саван с мертвецов сорву, их гневный мститель,
И в ярости святой,
В закон возмездия неколебимо веря,
Я растопчу нору — Империю — и зверя
В короне золотой!

Джерси, 7—13 января 1853

Книга третья

«СЕМЬЯ УКРЕПЛЕНА»

I АПОФЕОЗ

Размыслим!.. Для ума мы пользу обретаем
В подобных зрелищах... Он был лишь попугаем,
Кто имя славное себе насестом взял.
Он, обнищавый принц, свой старый фрак трепал:
Ведь Реставрация отобрала прибыли.
Коль ни сантима нет, займет пять франков прыткий.
А дальше — путь простой: мазурик франкам вслед
Умеет банковый себе добыть билет,
Где штамп Гарà. Восторг!.. Ему кредитку дали —
Он вспрыгнет на миллион лихим сальтомортале.
А миллион проест — в миллиард вонзит клыки:
Начав с гроша, дойти до слитков — пустяки!
А там — пиры, дворцы и всё для пышной жизни;
И в руки власть берет, и грудь грызет отчизне,
И в государственных мужах гуляет вор...

И что ж? Украл он? — Фи!.. Он создал заговор!
Устроил он резню, прекрасное злодейство,
К присяге приведя все высшее судейство.
Рыча, захлопнулась пучина. Под землей
Вмиг Революция исчезла, за собой
Оставя серный дух. Ромье на люк железный
Свой направляет перст, пища: «Страшитесь бездны!»
Тут — «виват, Маскариль!»; тут — барабанный гром!
Рабочие, давно запуганы бичом,
В предместьях заперты, как негры по лачугам.
«Указы» на Париж слетают друг за другом,

Как снег; на Сене — лед, как будто на Неве.
Хозяин упоен; забот ему — лишь две:
Префектов усладить, внушить надежды мэрам.
Украшен *Декабром* и освящен *Брюмером*,
В карете ездит он, ловя порой букет,
И тысячи шпиков орут ему привет.
В Лувр императором затем он входит — в гриме
Наполеона; он, меж тиграми другими,
Себе в истории взял Борджа образцом
И призрак Медичи зазвал в свой пышный дом.
Порою, пурпур сняв, без орденов дурацких,
К бассейну он идет в простых штанах казацких,
Чтоб рыбкам накрошить с улыбкой их обед —
Тот хлеб, которого у тысяч ссыльных нет.
В казармах он — божок; ему кадят с амвона;
Европа ниц лежит, страшась такого трона.
С поддержкой митр и шпаг он любит править... Что ж!
Трон — трехступенчатый: обман, резня, грабеж.

О мрамор Пароса, Каррары, Пентелики!
О древние вожди республик, сонм великий!
О вы, диктаторы, пред кем склонялся Рим!
Давайте на судьбу-шалунью поглядим.
Вот — на фронте встать — божок всползает новый;
Смотри, народ! Вглядишь, история, сурово!
Пока терзают нас, поверивших в закон, —
Над фризом, где Перикл и рядом Сципион,
Где вьется рой Побед и корчатся химеры,
Где цезарей везут покорные пантеры,
Одетых пурпуром, под лаврами венцов,
Средь бронзовых волчиц и золотых орлов,
Как новая звезда в кругу планет подвластных,
Средь императоров, как столпники бесстрастных.
Где взорам Августа — Траяна светит лик,
В лазури девственной торжественно возник,
На пропилях став, на вечных пантеонах,
Лихой Робер Макер в дырявых панталонах!

Джерси, декабрь 1852

II ЕМУ СМЕШНО

«Виктор Гюго издал в Брюсселе книгу «Наполеон Малый», содержащую самые постыдные нападки на принца-президента. Рассказывают, что на прошлой неделе книжонка была доставлена в Сен-Клу. Луи-Наполеон взял ее в руки, секунду смотрел на нее с презрительной улыбкой и, показав памфлет окружающим, сказал: «Вот, господа, Наполеон Малый, созданный Гюго Великим».

*(«Журнал Елисейского дворца»,
август 1852.)*

Не смехом кончишь ты, а исступленным воем,
Преступник, негодяй, хотевший стать героем!
Хоть гнусный свой триумф и вздумал ты справлять.
Ты у меня в руках. Прими на лоб печать!
Ты стал посмешищем, добычей грязи, пыли.
Когда тебя к столбу позора пригвоздили,
Когда ошейник сжал тебя до хрипоты
И от одежд одни остались лоскуты,
Когда История клеймит тебя, злодея.
Еще смеешься ты, час от часу наглея?
Ну что ж! Ты в ярости утопишь гнев потом.
Щипцы раскалены. Я жгу тебя живьем!

Джерси, август 1852

III БАСНЯ ИЛИ БЫЛЬ?

Однажды, алчностью великой обуян,
Тигровой шкурою прикрылся павиан,
Был лютым тигр, а он — еще того лютее,
Как будто силу зла обрел он в той ливрее.
Зубами скрежеща, кричал он гордо: «Я
Стал королем ночей, владыкою зверья!»
Он скрылся, как бандит, в колючую трущобу,
Нагромождая страх, убийства, зверства, злобу.
Он всех кругом терзал, опустошая лес,
Как тигр, в чью шкуру он самодовольно влез.
Убийством опьянен, он в мрачной жил пещере,
И трепетали все, личине страшной веря;
И с ревом он кричал, и страшен был тот рев:
«Смотрите, сколько здесь в берлоге костяков!
Все предо мной бежит, трепещет раболепно.
Любуйтесь, звери, мной, я — тигр великолепный!»
И все попрятались, чтоб жизнь свою спасти.
Вдруг укротителя он встретил на пути.
Тот подошел, схватил и, шкуру с шарлатана
Сорвав долой, сказал: «Ты — только обезьяна!»

Джерси, сентябрь 1852

Итак, все худшие — пройдохи, приживалы —
У власти. Кровного нам принца не достало,
Что «божьей милостью» взошел бы на престол
И «божьей милостью» к тому же был бы зол.
Как! Жалкий шарлатан, тщеславясь справкой точной,
Что благородного отца он сын побочный,
Подонки общества, судьбы случайный плод,
Что титул свой украл, подтасовал свой род,
Бродяга дерзостный, но вместе с тем лукавый,
В Браганский древний род войдет теперь по праву;
Законной фикцией оправдан, влезет он
В семью Австрийскую и скажет: «Я Бурбон!»
Иль закричит, что он — наследник Бонапарта;
Цинично кулаки положит он на карту
И скажет: «Все — мое!» И честный род людской
Не водворит в музей той куклы восковой!
И если крикну я: «Он шарлатан бесславный!» —
Ответит эхо мне: «Он государь державный!»
Раб взбунтовавшийся и венценосный тать —
Его бы в кандалы покрепче заковать
Да на галеры, в трюм, чтоб сгнил там на работе
Принц мельхиоровый в фальшивой позолоте!
А он над Францией поднялся, весь в крови,
И «императором» его теперь зови!
Он крутит кверху ус, что стрелкою отточен.
И как ему никто не надаст пощечин,

Не даст ногой пинка и из дворца Сен-Клу
Не выметет метлой, запачкав ту метлу!

Нет, сотни простаков стоят в молчанье строгом.
«Потише! — говорят. — Свершилось, стал он богом!
Голосовали мы. То был народа глас».
Да, понял я — позор сошел тогда на нас.
Но кто ж голосовал? Кто возле урны, ловкий,
Все видел, словно днем, в ночной баллотировке?
Как те бесстыдные произошли дела?
И где же был закон, свобода где была?
Каков подлог!

Толпа скотиною бездушной
Бредет, пономарю и стражнику послушна.
Народ, ты видишь ли, как жадно, чтоб пожрать
Твой дом, твой сад, леса, поля, за пядью пядь,
Люцерну для скота и яблоки для сидра, —
Все шире с каждым днем пасть разевает гидра?
О люди, век дрожа над сеном и зерном,
Вы сами сделали их вашим божеством!
За деньги куплены и ваша честь и вера,
И вас на выборы с усмешкой тащат мэры.
В руках у старосты церковные дела;
Пройдоха поп вопит: «Диаволу хвала!»
Глупец готов вспылить, как вспыхивает спичка;
Обвешивать вошло у торгашей в привычку...
А государственных собрание мужей!
Не видят, филины, что делает злодей!
Трибуна и печать для них — простые фразы.
Фат светлого ума боится, как заразы,
Хоть заразиться он не может нипочем.
Обедню, оргии и бога — все гуртом
Валят в один котел поклонники Вольтера
И то берутся вдруг за охраненье веры,
То милую свою за талию берут.
Добряк склоняется восторженно под кнут.
У виселиц стоят свидетели немые.
Маклак прижмет одних, его ж прижмут другие.
Солдаты старые, разившие как львы,
Превращены теперь в дворняжек. О, все вы,
В душе подобные панурговым баранам,
Вы восторгаетесь Картушем-шарлатаном!

Сутяги грязные, мещане, по домам
Засевшие своим, ужели мнятся вам,
Что вы и есть народ и получили право
Нам господина дать? О, жалкая орава!
Но нет, до этих прав святых не досягнет
Ни Франция сама, ни Франции народ.
Узнайте ж: истина не разлетится пылью!
Свобода — не тряпье, источенное гнилью,
Не у старьевщика висящий старый хлам,
И если в западню народ попался сам,
То право высшее, стремясь к священной цели,
В сердцах избранников живет как в цитадели.
Кто сможет деспоту ответить напрямик,
Тот будет навсегда прославлен и велик.
Вы счастья ищете, о жалкие пигмеи,
В болоте мерзостном, в грязи, благоговей
Пред этой падалью, одетою в багрец!
Но верным истине останется борец.
В падении других я не приму участия.
Я честен. У меня не вырвет самовластье
Свободы, и любви, и голубых высот.
«Пускай ослепнет мир — зари он не убьет.
Кругом рабы, но я свободен между ними», —
Так говорил Катон. В Париже, как и в Риме,
Нет поражения, раз кто-то на ногах.
Кровь наших прадедов, кипящая в сынах,
Великой Франции история и право,
Вся нация моя со всей своею славой
В том воплотится вновь, кто не сдался врагам.
Так столп единственный поддерживает храм.
Так родина моя жива в бою едином,
Так смерч, сразивший всех, замрет пред
гражданином!

Джерси, ноябрь 1852

Да, Мирабо, Дантон, Сен-Жюст — сыны
вселенной!
Теперь же выкидыш плюгавый и презренный
Над нами вознесен;
Теперь же Франция на представленье это
Глядит, где в капельке воды со спирохетой
Воют вибрион!

Позор! Теперь одно волнует всех в Париже:
Морни или Мопса стоит к престолу ближе?

Кто победит кого?

Порядок оба ведь спасали. Кто ж сильнее?

Кто покорит дворец? За этого — лакеи,

А девки — за того.

Брюссель, январь 1852

VI

ВОСТОЧНОЕ

Когда в тюрьму к Абд-эль-Кадеру
Шут узкоглазый был введен
(Кого Тролон, забывший меру,
Именовал «Наполеон»);

Когда со свитою лакейской,
В окошке застыла неба синь,
Зверь из берлоги Елисейской
Предстал пред хищником пустынь, —

Тот, в рощах пальмовых рожденный,
Султан, товарищ рыжих львов,
Свирепый, кроткий, углубленный,
Хаджи, хранитель мудрых слов;

Тот, роковой, в бурнуса белом,
Герой, что все сметал с пути,
Пьянея боем озверелым,
Чтоб ночь в молитвах провести;

Кто, на шатре раздвинув ткани
И веря в близость горних сил,
Свои, в крови засохшей, длани
Спокойно к звездам возносил;

Кто, кровью меч насытив грозный,
Мечты неясной слышал зов,
Любуясь красотою звездной
С горы отрубленных голов, —

Завидя лоб с клеймом «изменник»
И лживый взор меж тяжких век,
Тот, верный воин и священник,
Спросил: «Кто этот человек?»

Он удивлен при виде маски
В усах, — но кто-то говорит:
«Гляди: с ним ликторские связки;
Знай: это цезарь и бандит.

Ты слышишь этот плач и стоны,
Что не смолкают, что растут?
Знай: то клянут убийцу жены,
То матери его клянут.

Он овдовил, осиротил их;
Он взял всю Францию в ножи;
Теперь он трупы жрет в могилах». —
И поклонился тут хаджи.

Но с тайным он глядел презреньем
На мастера кровавых игр.
Наморщив ноздри, с отвращеньем
Обнюхивал гиену тигр.

Джерси, ноябрь 1852

ДОБРЫЙ БУРЖУА У СЕБЯ ДОМА

Как я счастлив, что родился в Китае! У меня есть дом, где я могу укрыться; у меня найдется, что есть и что пить; я пользуюсь всеми благами существования — у меня есть платья, головные уборы и множество украшений. Поистине, величайшее счастье выпало мне на долю.

(Цзень Чи-хи, китайский философ.)

Встречал я буржуа, жрецов торговли бойкой,
 Не столько стойков, сколь выдержанных стойко,
 Купоны режущих рантьеров-молодчин,
 Что действуют багром у биржевых пучин.
 Честнейшие дельцы! Есть и у них охрана,
 Как древле медный бык античного тирана,
 Божок барышников, свой золотой телец.
 Вот за кого всегда голосовал делец!
 Но о любой строке, что вольностью согрета,
 Дымя у камелька душистой сигаретой,
 Так избиратель наш исподтишка поет:
 «Вот книга вредная! Кто право ей дает
 Быть храброй, искренней, пока я сам так трушу?
 Кто Бонапарта бьет — и мне терзает душу.
 Конечно, Бонапарт — ничто! Но почему
 Об этом вспоминать, — простите, не пойму.
 Да, он — проныра, лжец, клятвопреступник скверный,

Пират, политикан, воришка. Это верно.
Он выслал Суд и Честь, он все права попра,л,
Орлеанистов он до нитки обобрал.
Нет худшей сволочи! Но он проголосован!
Я сам голосовал — и потому ни слова!
Сатира на него — и на меня хула!
Зачем же вспоминать, что храбрость умерла?
Ведь это же намек нам, гражданам нейтральным,
Что все мы трусили перед плутом нахальным!
Да, мы в наручниках, — согласен. Но, — увь! —
На бирже паника. Или хотите вы
Другой республики, не розовой, а красной?
Нет, лучше зло пресечь, — все сразу станет ясно.
Пусть в императоры возводится подлец!
Он лучше, чем террор, он лучше, наконец,
Как говорит Ромье, чем торжество народа!
Ведь он прибежище в делах такого рода.
Ругать правительство — не значит ли, дразня,
Грубейшим образом коснуться и меня?
Слегка критиковать правительство — уместно.
Но если говорят, что избиратель честный,
Что мирный буржуа сказал из страха «да»,
Что все сплошной расчет, — нет, это клевета!
Я это, чорт возьми, изменой называю!
Нет, кровь еще во мне разыграет боевая,
Пускай сторонится меня любой смельчак!
Он оскорбил меня и честный мой очаг!»

Мыслитель! Если ты, клеймящий злодеянья,
Отмстишь за истину в кровавом одеянье,
За право, за народ задушенный, — беда!
Как раз очутишься меж двух огней тогда.
Жеронт себе избрал в правители Сбогара,
И речь бесстрашная, исполненная жара,
Зовущая к борьбе, не избежит помех:
Злодейства — этого и трусости — вон тех!

Джерси, ноябрь 1852

VIII

ВЕЛИКОЛЕПНЕ

1

Коль дело сделано, пора — средь угнетенья —
Устраиваться нам, обставить помещение.
Надменный прием вид: позор проглочен весь;
Чтобы составить «двор», все будет нужно здесь,
Все, кроме совести и чести. Пусть музеи
Своих зародышей нам воскресят скорее,
Чудовищных своих уродцев, и пришлют.
Египет! Мумии понадобятся тут.
Вертепы! Жуликов побольше к нам гоните.
Фальстафа дай, Шекспир! Леса, волков пришлите!
Рабле, шли Грангузье, чудовище твое!
Дай, Гофман, дьявола! Дай ангела, Вейо!
Пусть принесут в мешке Жеронта от Скапена,
Карконту от Дюма! Бальзак пришлет Вотрена.
Бридуаона даст нам Бомарше, Вольтер —
Фрелона своего, продажности пример.
Из сада зимнего Мабиль примчит красавиц.
Лесаж уступит нам Жиль-Блаза; Свифт-лукавец —
Всю Лилипутию, с орлами точно моль.
В притон языческий нужны ханжи; позволь
Монталамбера взять, Мольер! Дай Брюскамбиля,
Скаррон! Где Скарамуш, Калло? — Ну, всех добыли!
Дрянь слита с мерзостью, и в сумрак ужас влит.
Есть для Империи все нужное, Тацит!
Где Ювенал?.. Сенат возрастет на этой скверне.

Гасконский лгун Дюко; Руэр, отброс Оверни;
 Маклак и Шейлок — Фульд; Сибур-Искарот;
 Парье; Бертран, пред кем трепещет патриот;
 Бошар — палач-ханжа, кто в тюрьмы слезы льет нам;
 И рядышком Барош, чье имя стало рвотным;
 Холопы чванные, надменные плуты,
 Умеющие гнуть на сто ладов хребты,
 Мразь гордая, пред кем Домье в восторге тает,
 Когда на облик форм уродливых взирает, —
 Вы все, кто назван здесь, признайтесь, что творцом
 Нарочно создан был ваш барин, чтоб с бичом
 Царить над Францией, вернее — над Гаити.
 И вы, герои клик, что денег лишь хотите;
 Философы, в тисках от головы до ног;
 Кутилы, только что отбывшие острог, —
 Приветствуйте ж его, сей персонаж чудесный,
 Правителя, что к вам слетел сквозь люк небесный
 Усатым цезарем и, стаяй псов храним,
 Распознаёт людей, и щедр бывает к ним,
 И, как природный князь, познав свою натуру,
 Шлет Пуасси в сенат, Клиши — в субпрефектуру.

3

Тут практике должна теория помочь:
 «Свобода, родина — слова пустые. Прочь!
 Кто распластается, тот преуспеет вдвое.
 В огонь трибуны все, печать и всё такое.
 С дней революции у наций бред возник.
 Слагатели речей и делатели книг
 Погубят всё. Поэт — безумец буйный. Пусто
 На небесах; мир мертв; и ни к чему искусство;
 Прогресса нет. Народ? — Вздывившийся осел.
 Кулак — закон. В дугу! Дубине — ореол!
 Не нужен Вашингтон. Да здравствует Аттила!»
 И сотня умников все это подтвердила.

Да, пусть приходят все, чье сердце полно тьмой,
 С душой косящею и совестью хромой:

Да, солнце их взошло, мессия их родился,
В декреты, в действия и в пушки воплотился;
Страна расстреляна, раздета, — спасена.

Сова Измена — здесь: плодит птенцов она.

4

Везде ничтожеством взят верх. Чтоб нашу славу,
Законы и права пожрать и на расправу
Взять колыбель детей и предков честный гроб,
Ночные хищники выходят из трущоб.
Софист и солдафон крепят свои тенета.
Радецкий — нос уткнул в зловонье эшафота;
Дьюлай, тигровый ус, Буоль, зеленый лик,
Гайнау, Бомба — все блуждают, скаля клык,
Вкруг человечества, что, связанное, рвется
И за права свои, за справедливость бьется:
От Сены до Балкан, от Тибра до Карпат
По трупам ползает тысяченогий гад.

5

Баттё и с ним Бозе, являя вкус педантский,
Богатства языка внесли в словарь гигантский;
В честь победителей его мы обновим.
Дух человеческий! Всем пакостям твоим
Исконным — имена даны по новым спискам.
Так, лицемерие, с умильным взором низким,
Теперь — *Манжо*: Христом торгует этот плут.
Вновь окрещен позор: его *Сибур* зовут.
Предательство — *Мона*. Под именем *Маньяна*
Убийство подлое вползло в сенат неожиданно.
Синоним подлости дан кличкой *Ардуэн*.
Ложь — *Риансе*: он к нам из римских прибыл стен
И запер истину в глуби ее колодца.
Отныне пошлость нам звать *Монлавиль* придется,
Свирепость — *Карреле*. А низость, например,
Давно является за подписью «*Руэр*».
Для проституции «*принцесса*» — термин прочный.

О муза, всех — в словарь! Дать хочешь образ точный
Суда продажного, что плещется в крови?
Нетрудно: *Партарье-Лафоса* назови!
Я кликну: «*Сент-Арно!*» Резня ответит: «Здесь я».
И, чтобы ужаса придать для равновесья,
В календарях, где был святой Варфоломей,
Встал *Бонапарт святой* — во всей красе своей.

Народ же, восхитясь, все принял, — в чем сомненья
Опасны. И Париж внимает, весь — почтенье,
Как льет сироп Сибур и как Тролон трещит.
Племянник с дядею в дифтонг единый слит,
И в наглом вензеле Берже по чьей-то воле
Бульвар Монмартрский вплел меж Лоди и Арколе.
Спартак — на каторге и при смерти лежит;
В изгнание Фемистокл, затравлен Аристид;
Львам брошен Даниил, пророк добра и духа;
И, значит, миг настал — вскрыть миллионам брюхо!

Джерси, ноябрь 1852

ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ

1

Ну что ж, грабители, мздоимцы, интриганы,
Пора вам у стола полней налить стаканы.

Скорее все в кружок!

Спешите есть и пить. Уходят дни за днями.

Народ, что угнетен и одурачен вами,

Теперь у ваших ног!

Страну — всю с молотка! Вы с грабежом знакомы.

Уничтожайте же леса и водоемы, —

Пришел наживы час!

Последний жалкий грош, ликуя дни и ночи,

Тяните у крестьян, тяните у рабочих, —

Доступно все для вас.

Кутеж! Кутеж вовсю! Веселье в вашем доме.

Пусть в жалкой хижине томится на соломе

Семейство бедняка.

Отец ушел просить хоть грош во имя неба,

И тщетно ищет мать кусок сухого хлеба,

Ребенок — молока...

Богатство, золото даны вам без усилий...
 Однажды я блуждал по подземельям Лилля,
 Я видел мрачный ад.
 Не люди — призраки по норам, в землю врытым,
 Худые, бледные, согбенные рахитом,
 Там дни свои влачат.

Отравлен воздух там, во тьме бескровны лица,
 Слепцы чахоточным дают воды напиться
 Из луж у них в ногах.
 Ребенок в двадцать лет, старик глубокий в сорок...
 Все время чувствует живущий в этих норах
 Смерть у себя в костях.

Здесь нет огня, и тьма крыло свое простерла;
 Дождь затопил окно; впилась рабочим в горло
 Безжалостно нужда;
 Здесь люди под землей, в проходах бесконечных,
 Как будто грешники, блуждают в муках вечных
 Под бременем труда.

«Нужда проклятая!» — муж шепчется с женою,
 Старик отец поник тяжелой головою, —
 Лишь ночью дочь пришла
 И принесла с собой хлеб, купленный позором.
 Отец ее спросить не смеет даже взором:
 «Где ты его взяла?»

Здесь спит Отчаянье в своих лохмотьях мрачных,
 А жизни май, всегда и нежный и прозрачный,
 Здесь выглядит зимой.
 Здесь девушки лицо облито мертвым светом,
 И кажется весь мир в отчаянье одетым,
 Придавленным землей.

В землянках чахнувшим, где городские стоки,
 Не виден небосвод лазурный и глубокий,
 Не виден солнца свет.
 Я встретил бледную, иссохшую старуху.
 Она сказала мне озлобленно и глухо:
 «Мне восемнадцать лет».

Здесь, лежа лишена, холодными ночами
Мать прячет малышей в отрытой ею яме,
Тоской удручена.

Здесь дети малые с улыбкой чистой, милой,
Едва увидев свет, уж встречены могилой,
Им колыбель она.

О недра Лилля, смерть здесь людям шлет угрозы!
Здесь старца дряхлого увидел я сквозь слезы,
Мутившие мне взгляд,
Безумье девушки, ребенка призрак белый
В объятьях матери, от горя поседелой.
О, Данта страшный ад!

От этих горестей — вся роскошь, деньги ваши,
О принцы! Нищета вам наполняет чаши,
Властители пиров!
Сочится ваш доход — живая кровь народа —
Со стен подземных нор, из каждой щели свода,
Из сердца бедняков.

Под страшным колесом — владычеством тирана,
Под прессом податей, давящим неустанно,
Здесь золото течет
И к вам скопляется, о властелины века,
Из-под давяльни той, что мучит человека
Все сутки напролет.

Из этой темноты, из этой агонии,
Где жизнь свою влачат унылые больные,
Где без надежд сердца;
Из этих черных нор, тоскою угнетенных;
Из мира, где отцы, и матери, и жены
Томятся без конца;

Из мрака, где беда сдружилась с нищетою,
Течет к вам золото сверкающей рекою —
Миллионы вновь и вновь.
Оно для вас — дворцы, пиры, апофеозы,
О вы, чудовища, кого венчают розы,
Кто пьет чужую кровь!

Блаженство райское! Хозяевам — бокалы!
Оркестр уже гремит; в цветах и шелке залы,
Стол яствами покрыт.

А под ногами тьма, и нищета, и холод;
На проституцию толкает женщин голод,
И горько плачет Стыд.

Вы все, кому даны сокровища Фортуны,
Льстецы, наемники, продажные трибуны,
Епископы-лжецы,
Ад страшной нищеты, под вашим Лувром скрытый,
Болезни, голод, смерть — вот чем всегда вы сыты,
Блаженств земных жрецы!

В Сен-Клу, где свеж жасмин, где много маргариток,
Мне слышен разговор беспечных фавориток,
Веселый смех гостей;
И там, на пиршествах, где залит зал огнями,
Мне кажется, что рвут красавицы зубами
Живую плоть детей!

Что ж, смейтесь! Вы тоской предсмертной не объаты,
О император, двор, принцессы и прелаты, —
Что ж не смеяться вам?

Пускай народ в слезах, в тисках нужды голодной, —
Он должен славить вас средь ваших празднеств
МОДНЫХ

И пиршеств по ночам!

Раскройте сундуки — ведь вам карманов мало,
Тролон, Сибур, Барош! Вам петь под звон бокала —
Иного счастья нет!

Забудьте про народ, голодный и несчастный,
Над тем, кто там, внизу, справляйте свой ужасный
Сияющий банкет!

Народ! Они тебя давили без пощады,
Хоть и поставил ты пред ними баррикады,
Вступил в кровавый бой.

Беспечных их ландо уже сверкают спицы,
И ты под тяжестью летящей колесницы
Вновь станешь мостовой.

Тирану — золото, тебе ж — ни крошки пищи;
Ты словно жалкий пес, над кем лишь плетка свищет,
Кого влекут во двор.
Ему — шуршащий шелк, тебе — лишь рубищ клочья,
Ему — и женщин блеск и дев невинных очи,
Тебе — один позор!

Б

Нет! Муза — это суд Истории. И кто-то
Возвысит голос свой и тьмы порвет тенета,
О палачи-шуты!
И кто-то отомстит за Францию в неволе.
О, мать! Ведь есть слова, разящие до боли,
Гром с горней высоты!

Отбросы дикарей, что выросли в пещере,
Злодеи, изверги, безжалостные звери,
Грызущие народ,
Двуличные душой, жестокие сердцами,
Твердят мне: «Ты — поэт. Пари под небесами!»
Но в небе гром живет!

Джерси, январь 1853

ИМПЕРАТОР ЗАБАВЛЯЕТСЯ

Могила ссылки для мятежных,
Для тех, кто ускользнул от пуль...
Принц! Пей на пиршествах безбрежных,
Лови в театрах женщин нежных
И по лесам лови косуль.
Вот Рим жжет ладан благовонный,
Вот царь тебя зовет: «Мой брат». —
Сегодня с Нотр-Дам звон льется похоронный,
Но загремит — набат!

Героям доблестных сражений
Изгнание иль Алжир грозит...
Принц, лебедей полно в Компьене,
Полны аллеи свежей тени,
Полны плафоны Афродит;
Вакханка томно, в неге сонной,
Вплетает в косы виноград. —
Сегодня с Нотр-Дам звон льется похоронный,
Но загремит — набат!

Форт чинят каторжники старый,
И цепи лижет им волна...
Ату, ату! Гремят фанфары,
Леса рожок пугает ярый,
Березы серебрят луна,

Псы — в воду, и олень смятенный
Плывет в бассейне наугад. —
Сегодня с Нотр-Дам звон льется похоронный,
Но загремит — набат!

Отец — на каторге в Кайенне,
Сын — погибает, наг и сир...
Волк выпить подает гиене,
Фрак — митре; в громе поздравлений
С бокалом чокнулся потир;
Вблизи, в пещере потаенной
Сатиров пьяных тлеет взгляд. —
Сегодня с Нотр-Дам звон льется похоронный,
Но загремит — набат!

Убитых тени по бульварам
Окровавлённые снуют...
Паштетами, шартрезом старым
Уставлен стол; дичь дышит паром;
Красотки за героя пьют, —
В улыбках — блеск души бездонной,
И груди привлекают взгляд. —
Сегодня с Нотр-Дам звон льется похоронный,
Но загремит — набат!

Изгнанник, гибни в лихорадке;
Смерть, отдых дай и уврачуй...
Фарфор старинный в беспорядке;
Звон рюмок; и на губках сладкий
Порхает птичкой поцелуй;
Взгляни — с улыбкой благосклонной —
Тебе все дамы их дарят. —
Сегодня с Нотр-Дам звон льется похоронный,
Но загремит — набат!

Гвиана убивает все же,
Как прежде: воздух раскален...
Ложись на царственное ложе,
Где спал Луи, где спали тоже
Наполеон и Карл Бурбон.

Веселый, сладко истомленный,
Усни, пока хвалы гремят. —
Сегодня с Нотр-Дам звон льется похоронный,
Но загремит — набат!

О, скорбы! Бандит, скользнув из мрака,
Зарю кинжалом в сердце бьет.
Сегодня гнусный праздник брака;
В ландо — невеста; лоском фрака
Сияет цезарь! Грянь, народ,
Эпиталамой исступленной!
Жених у Франции — пират! —
Сегодня с Нотр-Дам звон льется похоронный,
Но загремит — набат!

Джерси, декабрь 1853

— Леса, холмы, трава на взгорье,
Полей благоуханный цвет...
Что за молчанье, что за горе?
— Того, кто был здесь, больше нет.

— Чей сад заглох в начале мая,
Чье глухо заперто окно,
Где твой хозяин, дом? — Не знаю.
Он далеко давным-давно.

— Что дремлешь, пес? — Развlechься нечем,
Все опустело на крыльце.
— Что плачешь, мать? — О непришедшем.
— Что плачешь, мальчик? — Об отце.

— Что, волны, в смене ежечасной
Вы в берег бьете без конца?
Откуда? — С каторги несчастной.
— Что принесли вы? — Мертвеца.

Джерси, июль 1853

Робер! Один совет: гляди не столь наивно.
Мы люди умные. Ты все устроил дивно,
Блистательно (хоть был и щекотливый миг),
И с Калифорнией поспорит твой рудник, —
Пусть... Но когда префект, или епископ с чашей,
Иль мэр — поклонники сына твоей мамы,
Сюэн или Парьё, чей куплен пыл и труд,
Тебя, дыша в лицо, спасителем зовут,
И манят будущим, и, вкуче с Фульдом, с Манем,
Равняют с Цезарем тебя и с Шарлеманем,
А ты их слушаешь, как дурачок, — пойми,
Что этим ты смешон, и только, пред людьми.
Ты с сельским схож судьей, как простофиля глядя.
Такой наивностью и твой обижен дядя,
Наполеон, и я, твой *крестный*. Ты неправ:
Тебе ль Жокриссом быть, сперва Мандреном став?
Когда похищен трон, народ же забран в лапы,
Тогда хихикают, из-под широкой шляпы
Мигая хитрецам, — и это не в укор.
Но самого себя дурачить?.. Фу! Позор!
Пьян, сыт, богат, — живи! Ведь Франция послушна.
Будь мудрецом, кому сундук великодушно
Дал Зевс. Спеши царить и грабить. «Но к чему?
Благословенье шлет мне папа. Самому
Султану и царю — кузен я. Это ж факты!
Нетрудно быть главой империи». Дурак ты!

Надолго это все, по-твоему? Гранит?
Или ты в оперный поверил реквизит?
Париж повержен! Кем? Тобой? В какой из библий
Гиганты мощные от рук пигмея гибли?
Ты веришь, что твоя бесстыжая судьба
Ту революцию, чьи в лаврах спят гроба,
Раздавит меж зубов, смеясь такой потехе,
Как девка с улицы, грызущая орехи?
Нет, прочь из головы все эти грезы: стыд!
Верь Розе Тамизье, чей крест кровоточит,
Барошу, чья душа цветком расцвести готова,
Верь в честность Дейца, верь в своей присяги
слово, —

Прекрасно! Лишь не верь своим успехам: ложь.
Твоя присяга, Дейц, и Роза, и Барош —
Согласен — золото. Но скипетр твой — соломка,
Бог, погрузив тебя в багаж, пометил: «ломко».

Джерси, май 1853

Дни вроде наших — сток истории, клоака.
И там как раз накрыт, сверкающий из мрака,
Стол для таких, как *вы*, ликующих обжор.
Пока в других местах — нагие, на позор —
Агонизируют, в спокойствии небесном,
Сократ на площади, Христос на древе крестном,
Гус на своем костре, Колумб в своих цепях,
А человечество не смеет, всё в слезах,
Приблизиться к своим терзаемым пророкам, —
Мы видим: властвует, века смеясь над роком,
Средь вин и кушаний, под струнный перелив,
На ложах пурпурных о склепах позабыв,
В работе челюстей свирепых и тяжелых,
Ужасен, счастлив, пьян, в венцах и ореолах,
Гурт омерзительный сатрапов и владык.
Гремит их нение и хохот; гнусный лик
Венчают женщины, сплетя гирляндой розы;
Их сладострастие изобретает позы;
Псам и народу кость порой швырнув под стул,
Все стадо боровов и скопище акул —
Все принцы грязные, обжоры-камергеры,
Маркизы-брюхачи — едят и пьют без меры.
Чревоугодьё здесь единственный закон,
Чей жрец Камбасерес, как был — Тримальхион.

Джерси, февраль 1853

ПО ПОВОДУ ЗАКОНА ФЕДЕРА

И конституция и хартия — то грот,
Что прорубил для нас, долбя гранит, народ
В дни революции, чтобы, достигнув цели,
Доверить радостно надежной цитадели
Права, плоды побед, отнявших столько сил,
Успехи, доблесть, честь; потом он поместил
На страже тех богатств в пещере горделивой,
Как зверя красного, свободу с львиной гривой.
Народ, вернувшийся к своим простым трудам,
Выходит в поле вновь и, радуясь правам,
Почиет мирным сном на славных датах, скромный,
О татях позабыв, что рыщут ночью темной.
Однажды на заре, проснувшись, он спешит
Взглянуть на этот храм, где власть свою хранит.
Увы! Священный грот стал конурой. Не чудо ль?
Он поместил в нем льва — в ней оказался пудель.

Джерси, декабрь 1852

XV
БЕРЕГ МОЯ

Г а р м о д и й

Взошла Венера. Ночь близка.

М е ч

Пора, Гармодий.

П р и д о р о ж н ы й с т о л б

Тиран пройдет.

Г а р м о д и й

Уйду: озяб.

М о г и л а

Служи свободе.

Г а р м о д и й

Кто ты?

М о г и л а

Я — склеп. Решай! Казни или умри.

К о р а б л ь н а г о р и з о н т е

А я — плывучий склеп: изгнанники внутри.

М е ч

Дождемся деспота.

Г а р м о д и й

Я зябну: ветер.

В е т е р

Мчу я

С собою голоса. Я разношу, кочуя,
Стенанья изгнанных — замученных, больных,
Плач тех, кто, без угла, без хлеба, без родных,
Ждет смерти — взорами ища родного края.

Г о л о с в п р о с т р а н с т в е

Встань, Немезида, встань! И отомсти, карая,

М е ч

Пора. Сгустился мрак. Удобный миг лови.

З е м л я

Я трупами полна.

М о р е

Я рдею, всё в крови:
Ручьи не раз еще убитых мне доставят.

З е м л я

Из мертвых каплет кровь, когда убийцу славят.
Он по земле шагнет, — я чувствую: во мне
Они шевелятся тревожно в глубине.

К а т о р ж н и к

Я каторжник — вот цепь; ведь я злодей по сути;
Увы! Я узнику не отказал в приюте
Бежавшему: он был и добр, и слаб, и сед.

М е ч

Но в сердце не коли, дашь промах: сердца нет.

З а к о н

Я был — закон. Я — тень. Я *им* убит.

С п р а в е д л и в о с т ь

Меня же

Из храма выгнал *он* на площадь — для продажи.

Птицы

Весь воздух отнял он у неба; мчимся прочь.

Свобода

Я с вами. — О страна, где воцарилась ночь,
Прощай, Эллада.

Вор

Нет! Нам деспот ваш по нраву.
Ему судья и жрец поют совместно славу;
Крик одобрения он слышит здесь и там;
И, значит, ближе он не к честным, а к ворам.

Присяга

О боги, навсегда замкните речь и слово!
Доверье умерло в любой душе суровой.
Лгут люди. Солнце лжет. И небо лжет. Сильней
Задуй, полночный вихрь! Развей, развей, развей
Добро и честь! Развей; химеры нет нелепей.

Родина

Сын мой! Тебе я мать! На мне, ты видишь, цепи!
И руки я к тебе простерла из тюрьмы!

Гармоний

Как! Заколоть его у дома, в недрах тьмы?
Под небом гробовым, пред морем беспредельным?
Ударом поразить внезапным и смертельным
Пред Бесконечностью, в глубинах Темноты?

Совесть

Такого заколоть спокойно можешь ты.

Джерси, октябрь 1852

XVI

НЕТ!

Пусть Рим разит мечом и мстит кинжалом Спарта.
Возмездья жаждая, мы все-таки с ножом
Тень Брута не пошлем теперь на Бонапарта:
Мы для грядущей тьмы бандита сбережем.

Ему отплатится, — я утверждаю это! —
За всех изгнанников, за брошенных в тюрьму,
За всех растоптанных, за всех лишенных света,
За всех трепещущих — отплатится ему!

За злодеяния всегда ответит грешный.
Оставьте ж месть в ножнах, подобную мечу,
И верьте ордерам, что бог, судья неспешный,
Вручает времени — ленивцу-палачу.

Пусть негодяй живет в своей грязи бездонной:
Любой презренный нож он кровью б осквернил.
Пусть время движется, каратель непреклонный,
Чей плащ таинственный возмездье в складках скрыл.

Раз он мерзее всех, пусть он в короне будет —
Властитель низких лбов и плоских душ. Сенат
Пускай навек престол его семье присудит,
Коль самку он найдет и наплодит ребят;

С дубьем и мессами — для тела и для духа —
Пусть императором теперь он может стать,

С поличным схваченный. Пусть церковь-потаскуха,
В его нору вползая, скользнет к нему в кровать.

Пусть млеет с ним Тролон, и пусть, для всех
примером,

Сибур ему сапог целует и кадит;
Пусть он живет, тиран! Лувеля с Ласенером
Стошнило б, если бы он ими был убит!

Нет! Бросьте ваш кинжал, мечтатели, сновидцы, —
Вы, тайной сильные, суровые бойцы,
Что в час его пиров, когда вино струится,
Бредете, сжав кулак, в траве, где мертвецы!

Всегда над силой мы торжествовали черной.
Сильнее молнии холодный гнев сердец.
Не убивайте, нет! Ведь вправе столб позорный
Быть императором украшен наконец.

Джерси, октябрь 1852

Книга четвертая
«РЕЛИГИЯ ПРОСЛАВЛЕНА»

I

SACER ESTO ¹

Остановись, Народ! Повремени, Свобода!
Нет, этот человек не должен быть убит!
Чтоб он, кем погран долг, оскорблена природа,
Повержен в прах закон и уничтожен стыд,

Чтоб он, обязанный добычею кровавой
Засаде, подкупу, железу и свинцу,
Убийца, вор и лжец растленный и лукавый,
Чьи клятвы ложные — пощечина творцу,

Чтоб он, с кем Франция позор себе стяжала,
За кем она бредет под звон своих цепей, —
Чтоб изверг получил за все удар кинжала,
Как Юлий Цезарь — в бок, иль в горло — как
Помпей?

Нет! Сумрачный злодей, холодный и унылый,
Расстреливал, рубил и резал всех подряд,
Опустошив дома, он заселил могилы,
И взоры мертвецов теперь за ним следят.

Едва воссев на трон, наш император новый
Дитя лишил отца и мать лишил надежд,
По милости его в домах рыдают вдовы
И Франция черна от траурных одежд.

¹ Да будет неприкосновенен (лат.).

Для алой мантйи его монаршей славы
Вам пурпуром, ткачи, не надо красить нить:
Вот кровь, что натекла в монмартрские канавы, -
Не лучше ли в нее порфиру опустить?

В Кайенну, в Африку, — но за какие вины? —
На каторгу он шлет героев прежних дней,
И капает с ножа багровой гильотины
Ему на голову кровь доблестных мужей.

Измена бледная к нему в окно стучится, —
Сообщнице своей спешит он отпереть;
Братоубийца он! Он — матереубийца!
Народ! Такой злодей не должен умереть!

О нет! Он должен жить! Пусть высшее отмщенье
Преступнику несет неотвратимый рок.
Пусть он под бременем всеобщего презренья
Влачится, голоден и наг, в пыли дорог;

Пусть острые шипы свершенных преступлений
Впиваются в него, как тысячи клинков;
Пусть, ужасом объят, бежит он от селений,
Пусть ищет логова в лесах, среди волков;

Иль пусть на каторге, бряцая кандалами,
Напрасно отзвука он ждет от скал немых;
Пусть он всегда, везде встречается с тенями,
И пусть не суждено ему встречать живых;

Пусть оттолкнет и смерть его неумолимо,
Жестокая к нему, как он ко всем жесток...
Народ, посторонись! Пусть он проходит мимо:
Печатью Каина его отметил бог!

Джерси, 14 ноября 1852

ЧТО ГОВОРИЛ СЕБЕ ПОЭТ В 1848 ГОДУ

Нет, власти не ищи; не к ней твои пути.
Коль даже призовут, — смиренно отойти
Обязан ты; твой дух объят иною сферой:
Ты скорбной мысли друг — и ей служи и веруй.
Ты понят или нет, но охраняй людей,
Как пастырь, и, как жрец, благословляй!.. В своей
Родимой Франции, в родном Париже люди
Резню затеяли, оголодав; их груди
Клокочут яростью. Зловещие, стоят
На узких улицах громады баррикад
И изрыгают смерть вслепую. Там ты нужен.
Туда спеши, туда, один и безоружен;
В ужасной той борьбе, в постыдной бойне — грудь
Подставить должен ты и душу расплеснуть:
Кричать, молить, спасти и стойких и бежавших,
Улыбку пулям слать, рыдать над прахом павших!..
Потом в Палате, став на страже боевой,
Средь кликов яростных загородить собой
Всех, на кого уже разверзла зев темница;
Врубаться в эшафот; за тот порядок биться,
Что клика наглая колеблет; за солдат,
Сбиваемых с пути; за бедняка, — он брат! —
За жителя лачуг, оставленных народу,
И за печальную и гордую свободу.
И в дни, когда везде тоска, тревога, страх,
В искусство бодрость влить, что замерло в слезах,
И ждать — чем кончится, что в небесах решится...
Твой долг — предостеречь и в думы погрузиться.
Париж, июль 1848

СМЕШАННЫЕ КОМИССИИ

Они сидят во тьме и говорят: «Мы — суд» —
И в башни, в камеры людей безвинных шлют,
И в трюмы каторжных понтонов,
Что, мрачные как ночь, в портах стоят года,
А возле — золотом вся искрится вода,
Их черный борт мерцаньем тронув.

За то, что дал приют изгнанникам, старик
Идет на каторгу, где стон сплошной и крик.
В Кайенне, в Боне ждет расправа
Всех, кто предателю не сдался без борьбы,
Тому, кто, с наглостью взломав замок судьбы,
Народное похитил право.

Друг справедливости сражен; осуждена
На баррикаду хлеб принеся жена,
И сына голод ждет и мука.
Честь? Сослана. Закон? В изгнание много дней.
И «правосудие» исходит из судей,
Как из гробниц ползет гадюка.

Брюссель, июль 1852

КЛЕРИКАЛЬНЫМ ЖУРНАЛИСТАМ

Поскольку вы, треща о мессах и постах
И бога обокрав, что презит в куцах рая,
Лавчонку мерзкую открыли впопыхах,
Евангелием прикрывая;

Поскольку взялся бы за палку сам Христос,
Чтоб гнать вас, торгашей; и вы, невесть откуда
Сбредясь, мадонною торгуете вразнос:
Коль с чудом — десять су, и по два су — без чуда;

Поскольку вы нести способны дикий вздор,
От коего в церквах должны трещать ступени,
И ваш прелестный стиль слепит очки и взор
Церковных старост и дуэний;

Поскольку ваш сюртук покроем с рясой схож;
Поскольку вам навоз приятней неньюфара
И стряпаете вы газету для святош,
Где Патуйе строчит по планам Эскобара;

Поскольку по утрам швейцары из дверей
Бросают в сток листки презренного журнала;
Поскольку льете вы в церковный воск свечей
Свое отравленное сало;

Поскольку образцом вы мните лишь себя;
Поскольку, наконец, душой черны и грубы,
Скуля от жалости и в барабан долбя,
Слезой скрывая грязь и вдвинув дудку в зубы,

Вы, головы глупцам старательно дуря,
Заманивая их, подлейшей ложью теша,
Сумели на камнях святого алтаря
Воздвигнуть балаган Бобеша, —

Вы вправе, мнится вам, смочив святой водой
Укрытый рясою, но вредоносный коготь,
Твердить: «Я кроток, чист, иезуит прямой;
Я бью из-за угла, меня ж прошу не трогать».

О, гады, чье перо на чердаках скрипит,
Строчит, чернила пьет, льет желчь, исходит пеной,
Царапает, плюет — и туча брызг летит,
Пятная свод небес нетленный!

Погадный ваш листок — фургон, где сплошь попы;
Но это жуликов переодетых стая,
Что проповедуют среди густой толпы,
На языке блатном меж двух молитв болтая.

Вы дух порочите — поэта честный труд,
Мечту мыслителя, волнующую души;
Когда же за уши вас оттрепать придут,
Вмиг исчезают ваши уши!

Разбрызгав клевету, плеснув отравой слов,
Вы прячетесь от глаз, хоронитесь, бежите.
У каждого свой нрав и свой привычный кров:
Сова в дупле сидит, орел парит в зените.

А вы где кроетесь? Где гнусный ваш приют?
О боже! Мрак ночной, злодейства друг постыдный,
Вкруг вас черней чернил, и в эту тьму ползут
И к вашим льнут губам ехидны.

Драконы прессы! Тут вам вольно без конца
Нырять в грязи, куда вас гонят вкус и нравы.
Судьба, все мерзости вливая вам в сердца,
Должна и в ваш вертеп направить все канавы.

Вот список ваших дел, алтарные шуты!..
Когда ж придет к вам тот, кто не лишен отваги,
И, честь вам оказав, промолвит: «Ну, плуты!
Я здесь; беритесь-ка за шпаги!» —

Тут вопль: «Дуэль! У нас! У христиан! Нет, нет!»
И подлецы, крестясь, бубнят о божьем слове.
О, трусы! В заповедь их страх переодет,
И, отравители, они боятся крови.

Ну что ж, дубинка есть — из свежего дубка;
Боюсь, булыжники ваш нос пересчитает;
Ведь, — знайте, жулики, — сбежавших от клинка
Обычно палка настигает.

Вы Сену, Тахо, Рейн в плен взяли; ум людской
Сумели вы смутить, предав пустой надежде;
Еврейских маклаков пред вами молкнет рой;
Иуды нет в живых, но жив Тартюф, как прежде.

Сам Яго — пустослов, коль рядом ваш Базиль;
Вы библию червям голодным предаете;
Но лишь убежища попросят ложь и гниль, —
Сердца вы настезь распахнете.

Вы оскорбляете у честных горечь дум;
Но костюмерная зато у вас богата;
В ней, куртку сняв, порок найдет любой костюм:
К вам Ласенер войдет, а выйдет Контрафатто.

Вы в души лезете, чтобы залезть в карман;
Кто примет вас, тому не жить с беспечным сердцем;
Вас гнать вы нудите — и каждый шарлатан
Потом наряжен страстотерпцем.

Вы в храме божием свой обрели буфет.
Со всеми вы дружны, кто в мире множит муки;
И в умывальнике находят крови след,
Когда вам изредка случится вымыть руки.

Не будь вы книжники, стать палачами б вам.
Для вас прекрасен меч; и что святее дыбы?
Чудовища! Ваш гимн хвалу поет кострам,
И светоч вы лишь в них нашли бы.

Не восемнадцать ли веков, сместив плиту,
Христос пытается из ветхой встать могилы?
Но вы, иудино отродье, тяжесть ту
Вновь надвигаете, все напрягая силы.

Святоши! Ваш хребет — приманка для ремня.
И рок, смеясь, велит, чтобы сынов Лойолы
Бич папы исхлестал, из Франции гоня,
А из Баварии — хлыст Лолы.

Ну что же, действуйте; свой пакостный листок,
Писаки подлые, старательно ведите;
Ногтями черными скребите мозжечок;
Вопите, клеветца, кусайтесь и живите!

Господь обрек траву зубам голодных коз,
Моря — ударам бурь, гроба — червям и мухам,
Колонны Пропилей — огням закатных роз,
А ваши лица — оплеухам.

Ну, так бегите же, ищите дыр и нор,
Спасайтесь, продавцы поддельной панацеи,
Паяцы алтаря, кто, смрадный сея вздор,
Невинней евнухов и сатаны не злее!

О господи, скажи, царь неба и земли,
Где есть лжецы подлей и с худшими сердцами,
Чем те, кто вывеску свою прибить могли
Христа кровавыми гвоздями?

Сентябрь 1850

V НЕКТО

Был некий человек, и звался он Варроном,
Другой — Эмилием и третий — Цицероном;
И каждый был могуч, и властен, и велик;
Их, в стае ликторов, народный славил клик;
И полководцем ли, судьей ли, магистратом —
Но каждый речь держал нередко пред сенатом;
Их также видели в сумятице боев
Стремящими вперед сверкающих орлов;
Рукоплесканьями встречали их в столице.
Их больше нет в живых. По мраморной гробнице
Воздвигли каждому история и Рим.
На бюсты, важные как слава, мы глядим
В музеях и дворцах; но средь толпы случайной
Раскрытый взор их полн своей мечтой и тайной.
И все же вправе мы, сыны иных веков,
Ничуть не осквернив победный лавр венков,
Сказать порой: Варрон был груб, с тяжелым
нравом;
Эмилий промах дал; был Цицерон неправым.
Коль так относимся мы к славным мертвецам,
Как смеешь требовать, — ты, меж холопов хам,
Кто до усталости был всеми презираем, —
Чтоб я тебя не звал открыто негодяем!
С тобой учтивым будь: ведь ты же — гражданин
(Кого бы выгнали из Спарты и Афин)!
Ты всем известен был, дружок домов игорных,
Вертепов, кабаков и прочих мест позорных;

Тебя видали ведь — то где-то за углом
Во тьме, то на крыльце у входа в некий дом,
Где красный рдел фонарь, мигающий под ветром, —
С дрожащей головой, прикрытой мятым фетром.
Венчанный шут в мундир теперь облек твой стан,
Но жизнь твоя — лишь фарс, раздувшийся в роман.
Мне наплевать, — судье, мыслителю, поэту, —
Что, задушив *Февраль*, тебя в насмешку свету
Венчал *Декабрь*, — тебя, питомца грязных луж.
Идите в кабаки, спросите Ванвр, Монруж,
Спросите чердаки, лачуги и подвалы!
Все скажут вслед за мной, что этот ловкий малый
Был вором, прежде чем стяжал высокий сан.
А! Просишь быть с тобой повежливей, болван?
Но ты ж — на высоте! Весь в золоте твой ворот!
Спокоен будь. А я — свой крик промчу сквозь

город:

Глядите, граждане! Себя он Брутом звал,
Подлейший иезуит. Он троны низвергал,
Теперь он любит их. Он стражем был законов,
Теперь он за успех. Итак: «Долой Бурбонов!
Ура, Империя! Палату на запор!»
Коль барин — Бонапарт, лакею враг Шамбор.
И вот — сенатор он; о, счастье и отрада!
Но этот негодяй, когда все шло как надо,
В чьем сердце «лилий» нет (он сам орал о том),
Их на своем плече увидел бы — клеймом.

Лондон, август 1852

Все эти господа, кому лежать в гробах,
Толпа тупая, грязь, что превратится в прах.
Да, да, они пройдут, они умрут. Пока же
Для сердца честного они что день, то гаже.
Завистливы, тая ребячий злобный нрав,
И, с бешенством свое бесплодье осознав,
Идущему вперед они кусают пятки.
Им стыдно, что их лай — лишь слабые зачатки
Рычания, и тем унижены они.
Бегут они спеша: добыча там! Гони!
Кто всех проворнее? И, таякая все чаще,
В сенат врываются, как бы в лесные чащи,
Все вместе: откупщик, чиновник, поп, солдат, —
И там, облаяв льва, у ног псаря лежат;
Но псарь для них — любой, кто встал с хлыстом
у старта,
И Шангарнье ничуть не хуже Бонапарта!
И брызжет их слюна, летя со всех сторон,
В наказ народный, в честь, в республику, в закон,
В завет Христа, в прогресс — мечту людей святую.
Они ужасны. Что ж, вперед! Наудалую!
Когда мыслитель к вам задумчивый придет,
Кто лишь вчера мечтал среди иных забот,
И неожиданно, спокойно и сурово
Его правдивое внушать вам будет слово,
Разбитых пощадив, дать родине покой, —

Взбунтуйтесь! Яростный взметая лай и вой,
Кидайтесь на него, на зверя, брызжа пеной!
Но он улыбкой лишь ответит вам надменной,
И не взглянув на вас! Ведь ясный дух поймет,
Что ваш почет — позор, но ненависть — почет.

Париж, 1851

VII

ЕЩЕ ОДИН

Святоша и зоил, он родился от шлюхи.
Часть Равальяка взяв и часть Нонотта, чорт
Мерзавца вылепил (бог был тогда не в духе
И допустил сей мрачный спорт).

Юнцом он созерцал, томясь от сладкой жажды,
Скуфьи диаконов — подобие лампад;
Видок молящимся его застал однажды,
И вмиг он был в шпики — за косоглазье — взят.

Слоняясь без сапог по чердакам угарным,
Бездарность чувствуя свою и пустоту,
Он догадался вдруг пойти с листком базарным
На службу церкви и Христу.

Он ринулся в борьбу, вооружен кропилом,
И с якобинцами и с грешным веком сим;
Он роскошь позволял, горя шпионским пылом,
Иезуитом быть и рыночным святым.

Пред евхаристией благочестиво млея,
Он ею торговал и, не жалея сил,
Стад под конец богат. Он кроткий дух елея
В смрад кордегардии вносил.

И — процветает! Он, хвост распустив, клевещет;
Он, — золотарь в душе, хотя святой на вид, —

В грязи купается, и этой грязью плещет,
И, видя, как бегут, «струхнули!» — говорит.

Глядите: вот он весь! Его листок зловонный
Ханжам усладою: бандиты в нем строчат;
А он кует в своей каморке потаенной
Отмычки для небесных врат.

Афиши клеит он о чудесах дежурных
И — в форме догматов — чушь порет день-деньской.
Он пьет с богатыми и после оргий бурных
Бурбит голодному: «Иди постись со мной!»

Он кутит запершись, он увещанья сыплет;
Свистит «лан-де-ри-рет», проклятый фарисей;
Проямлив «отче наш», служанке ляжку щиплет...
Как сам я видел у ханжей,

Что после выпивки, рыгая перегаром
С молитвой пополам и продавая вздор,
Пибрака строгого Пироном сменят ярим,
Смотря пред кем вести им надо разговор...

Все — гений, славу, честь — долбя своим копытом,
Чаруя страхом дур, что млеют перед ним,
Спокойно он живет в грязи — иезуитом
Простым и жуликом тройным.

Париж, сентябрь 1850

УЖЕ НАЗВАННЫЙ

Я вынужден опять (насильно стих веду я)
Писать о трусе том, чье имя скрыла мгла,
О ком Матьё Моле, посмертно негодуя,
Беседует с д'Англа.

О Правосудие! Опора и ограда
Закона, власти, прав — священное «не тронь!» —
Он двадцать лет к тебе при выплате оклада
Протягивал ладонь,

Но в дни, когда в крови валялось ты и злоба
Твою топтала грудь солдатским каблуком,
Он, отойдя, сказал: «Что это за особа?
Я с нею незнаком!»

По воле старых клик сел в кресло «страж закона»;
Нашелся манекен, где нужен был талант;
Вполз на священный стул, что звал к себе Катона,
Пасквино, пасквильянт.

Позор! Он унижал достоинство Палаты;
Ловкач, с лакеем схож, кто наглостью берет,
Он красноречию сбивал полет крылатый
Дубьем тупых острот.

Не веря ни во что, он гибок чрезвычайно;
Монк иль Кромвель — пускай: нижайший им
поклон!

С Вольтером хохоча, за Эскобара тайно
Проголосует он!

Умея лишь лизать направо, грызть налево,
Он преступлению служил, слепой фигляр:
Ведь он впускал солдат, рычавших в спазме гнева,
Что нанесли удар!

Коль пожелали бы, он — от грозы спасая
Свое добро, свой пост, и жалованье с ним,
И свой колпак судьи с каймой из горноста
И с галуном тройным, —

Немедля предал бы, старался бы, трудился;
Но господами был зачеркнут в списках он:
Трус и в изменники им явно не годился;
«К чему? — сказали. — Вон!»

Власть новая ведет и грязью торг позорный,
Но и при ней, видать, он сгинет наконец —
Доитель королей, «дунайский раб» придворный,
Угрюмый, гнусный льстец!

Он предлагал себя разбойникам; но четко,
Чтоб цену сбить ему, сказали господа
(Что слышал весь Париж): «Ты, старая кокотка,
Гляди: ведь ты седа!»

Режим убийц — и тот от подлеца дал тягу
И перед обществом в двойной позор облек,
Повесив на его последнюю присягу
Стыда последний клоч.

И если в мусоре, что недоступен свету
И полон тайн, крюком ворочая гнилье,
Тряпичник вдруг найдет на свалке душу эту, —
Он отшвырнет ее!

Джерси, декабрь 1852

Живые — борются! А живы только те,
Чье сердце предано возвышенной мечте,
Кто, цель прекрасную поставив пред собою,
К вершинам доблести идут крутой тропой
И, точно факел свой, в грядущее несут
Великую любовь или священный труд!
Таков пророк, над кем взнесен ковчег завета,
Работник, патриарх, строитель, пастырь... Это —
Все те, кто сердцем благ, все те, чьи полны дни.
И вот они — живут! Других мне жаль: они
Пьянеют скукою у времени на тризне.
Ведь самый тяжкий гнет — существовать без жизни!
Бесплодны и пусты, они влачат, рабы,
Угрюмое житье без мысли и борьбы.
Зовут их *vulgus, plebs* — толпа, и сброд, и стадо;
Они режут, свистят, ликууют, где не надо,
Зевают, топчут, бьют, бормочут «нет» и «да» —
Сплошь безыменные, безликие всегда;
И бродит этот гурт, решает, судит, правит,
Гнетет; с Тиберием равно Марата славит;
В лохмотьях, в золоте, с восторгом и с тоской,
Невесть в какой провал спешит, гоним судьбой.
Они — прохожие, без возраста и целей,
Без связей, без души — комки людской кудели;
Никто не знает их, им даже нет числа;
Ничтожны их слова, стремленья и дела.

Тень смутная от них ложится, вырастая;
Для них и в яркий день повсюду тьма густая:
Ведь, крики попусту кидая вдаль и ввысь,
Они над бездною полночною сошлись.

Как! Вовсе не любить? Свершать свой путь угрюмый
Без мук пережитых, без путеводной думы?
Как! Двигаться вперед? К неведомому рву?
Хулить Юпитера, не веря в Егову?
Цветы, и женщину, и звезды презирая,
Стремиться к телу лишь, на душу не взирая?
В пустых усилиях пустых успехов ждать?
Не верить в небеса? О мертвых забывать?
О нет! Я не из вас! Будь вы сильны, надменны,
Будь вам жильем дворец или подвал презренный, —
Бегу от вас! Боюсь, — о муравьи столиц,
Сердца гнилые, сброд, пред ложью павший ниц, —
Троп ваших мерзких! Я в лесу предпочитаю
Стать деревом, чем быть душою в вашей стае!

Париж, 31 декабря 1848.
Полночь

Х ЗАРЯ

Мощным трепетом полон угрюмый простор.
В этот миг Эпикур, Гесиод, Пифагор
Предавались мечтам. В этот миг засыпали,
Утомясь созерцаньем лазоревой дали,
Полной звезд, пастухи из Халдейской земли...
Водопад многоструйный мерцает вдали,
Будто шелковый плащ отливая в тумане.
Появляется утро на траурной грани,
Розоликое, с блеском жемчужных зубов.
Бык, проснувшись, ревет. Снегирей, и дроздов,
И драчливых синиц неустанная стая
Свищет, гомоном смутным леса наполняя.
И бараны из мрака загона спешат
И под солнцем густое руно золотят.
И сонливица, свежестью споря с росой,
Черный взор приоткрыв, тронув ножкой босою
Башмачок свой китайский, шлет солнцу привет.

Богу — слава! За скрытною ночью — рассвет,
На холмах барбарис колыхнув с ежевикой,
Возрожденье дарует природе великой,
Гнезда будит привычным сияньем своим!
С хижин в небо возносится перистый дым.
Луч стрелой золотою вонзается в рощи.
Солнце — всходит! Сдержи-ка! Пожалуй что проще,
К слову чести чувствительным сделав их слух,
Тронуть души Тролона с Барошем — двух шлюх!

Джерси, 28 апреля 1853

Когда виконт Фуко овернским кулаком
 Красноречивого гнал Манюэля, — гром
 Прошел по всей стране: народ рычал ответно;
 И море ведь кипит, чуть всколыхнется Этна.
 Тут мрачною зарей блеснул Тридцатый год,
 И зашатался вновь Бурбонов чванный род
 На троне вековом. В то черное мгновенье
 Уже наметилось гигантское крушенье...
 Но род, запятнанный тем взмахом кулака,
 Был все ж великим. С ним мы прожили века;
 Он все ж победами блистал в ряду столетий:
 Наваррец был в Кутра, святой Луи — в Дамьетте...
 А вот князь каторги, — в Париже, в наши дни, —
 Кому, как видно, зверь, палач Сулук сродни,
 Фальшивей Розаса, Али-паши свирепей,
 Впихнул закон в тюрьму, и славу кинул в цепи,
 И гонит право, честь, и честность, и людей —
 Избранников страны, ораторов, судей,
 Ученых — лучшие таланты государства.
 А наш народ, стерпев злодейство и коварство,
 Сто раз отхлестанный позорно по лицу,
 Но плюх не ощутив, торопится к дворцу,
 На люстры поглядеть, на цезаря... В столице
 Он, суверен, рабом трусит за колесницей!
 Он смотрит на господ — как в Лувре, сплошь в крови,
 Предатель с подлецом танцуют визави,
 Убийство в орденах, и Кража в платье с треном,
 И брюхачи — Берже с Мюратом неперменным —

Твердят: «Живем! Прощай, надежда, идеал!»
Как будто бы таким народ французский стал,
Что даже в рабстве жить способен и — ликует!
Да! Ест и пьет, и спит, работает, торгует,
Вотирует, смеясь над урной с дном двойным...
А этот негодяй, молчальник, нелюдим,
Шакал расчетливый, голландский корсиканец,
Насытив золотом своих убийц и пьяниц,
Под балдахин взнести свое злодейство рад
И, развалясь, сидит; и видит вновь, пират,
Французский свой капкан и римский, столь же
низкий,
И слизывает кровь людскую с зубочистки.

Брюссель, май 1852

ЧЕТЫРЕМ УЗНИКАМ

(после их осуждения)

Честь — там, где вы теперь; гордитесь, сыновья!
И вы, два смелые поэта, вы, друзья:

К вам слава близится с лавровой ветвью гибкой!
Сразите ж, дети, суд, бесчестный и тупой:

Ты — нетленной добротой,

Ты — презрительной улыбкой.

В той зале, где господь на низость душ глядит,
Перед присяжными, чья роль — отбросить стыд,
Перед двенадцатью, чье сердце полно гнили, —
О Правосудие! — тайл я мысль в уме,

Что вокруг тебя, во тьме,

Дюжину могил отрыли.

Вот вы осуждены (а *им* — в грядущем суд).

За что ж? Один твердил, что Франция — приют
Для всех гонимых. (Да! Я тоже вторю сыну!)

Другой — пред топором, что вновь рубить готов, —
Отомстил за крест Христов,

Оскорбляя гильотину.

Наш век жесток. Пускай! Страдальцами он свят.

И верь мне, Истина, что для меня стократ

Прекраснее, чем нимб святого благодатный,

Чем золотой престол в блистающем дворце, —

На худом твоём лице

Тень решетки казематной!

Что б в черной низости ни совершал подлец,
Клеймо неправое бог превратит в венец.
Когда страдал Христос, гоним людской враждою,
Плевок мучителя, попавший в бледный лик,
 Стал на небе в тот же миг
 Беззакатною звездою!

Консьержери, ноябрь 1851

СДАЕТСЯ НА НОЧЬ

Искатель случая, бездомный человек
Вошел в харчевню «Лувр» и попросил ночлег
Себе и лошади, породистой, но чахлой.

Мольер почувствовал: Скапеном тут запахло,
Злодея Ричарда в нем угадал Шекспир.
Перекрестился гость, вошел. В харчевне пир.
Как встарь, гостиница освещена. Все та же
Скрежещет и визжит, вся в сальных пятнах, в саже,
Большая вывеска. Над Сеной есть окно.
Здесь Карл Девятый жил. И, как давным-давно,
На ржавой вывеске чернеют буквы: «...громы» —
Обломок лозунга старинного: «Погромы».

А в черном логове дым коромыслом, чад.
Хохочут, пьют, поют и кружками стучат.
В лоснящихся мехах избыток вин шипучих;
Висят окорока на потолочных крючьях.
В честь будущих удач гремит всеобщий смех.
Тот крикнул: «Резать всех!», а этот: «Грабить всех!»
Тот машет факелом слепящим и зловонным.
Там кулаки в крови быют по столу со звоном.
Все печи докрасна раскалены. Еда
Дымится. В хлопотах снуют туда-сюда
Замаранные влоск, в передниках багровых
Низар и Риансе, два повара здоровых.
Расселись за столы Фортуль, Персиль, Пьетри,

Карлье и Шапюи, главарь их. Посмотри:
Дюко и Мань внизу две подписи поставят
И тут же паспорта подчистят и подправят.
Руэр — Радецкого, Друэн — Гайнау ждет;
И хрюкает сенат на свалке нечистот.
Тут столько свалено грехов, что и епископ
Не в силах отпустить. Всмотрись, исследуй близко,
Послушай, как стучат их дряблые сердца.
Входи без дураков, не корчи гордеца,
Жми, не робей, хвостун, одетый и обутый
Под Бонапарта! Чу! Приветствия как будто...
Там рывкнули: «Ура!» Визг, ликованье, стон.
И весь растрепанный, упившийся притон
Моргает на тебя гляделками косыми.
Вот бабы дюжие. Тебя знакомят с ними;
И весело звучит их воровская брань,
Здесь и маркиза Рвань и герцогиня Дрянь.
Пылают их глаза. Сердца их не потухли.
«Ты Регентство?» — Ну что ж, они напудрят букли.
«Ты Директория?» — Оденутся в шелка.
Хватай любую, вор. Капризничай, пока
Есть у тебя мильон! Сядь около красавиц,
На крыльях газовых порхай всю ночь, мерзавец!
Шалят Сюэн, Монжо, Тюрго и д'Агессо.
Сорока Сент-Арно мгновенно стибрит все.
И тут же троица: Рейбель в хмельном угаре,
С ним рядом Фульд — кюре, за ним Сибур —
викарий.

Чтоб чествовать тебя, готово все. Очаг
Раздут и запылал на славу. И смельчак
Взамен орла сову на старый герб наляпал.
Народ, как тучный бык, повален тут же на пол
И освежеван. Кровь стекает в гулкий таз.
И с тушей возятся, не опуская глаз,
Тролон как живодер, Маньян как главный повар.
Бычина жарится под оголтелый говор.
И точит на ремне свой длинный острый нож
Трактирщик Карреле, предчувствуя кутеж.
Дымящийся бюджет на тот же крюк насажен.
Еврейский выкормыш, ты церковью уважен.
Лойола за тебя, а Ротшильд за тобой,

Они верны тебе на каторге любой.
Пора! Подходит срок. Приличия исчезли.
Садись у камелька, плотней устройся в кресле,
Согрейся, обсушись. Харчевня заперта —
Стань королем, бандит, не бойся ни черта!
Забудь о юности, сын маленькой креолки;
Плюнь на величье, плюнь на чьи-то кривотолки!
В притоне воровском, как дальше ни верти,
Лишь пролитая кровь попрежнему в чести;
Лишь грязь прилипшая внушает уважение.
Мыслитель и герой, когда идут в сражение,
Бессмертной славы блеск проносят на челе.
Ты славу сапогом расплющил на земле.
Валяй, забудь про все, чем стоит красоваться.
Под вопли карликов, под грохот их оваций
Раздуйся пузырем, Аттила-лилипут!
Жаркое на столе. Вся челядь тут как тут:
Мопа, твой верный негр; Барош, твоя собачка,
Вылизывает пол, что ты в крови запачкал.

Меж тем как ширятся трезвон, и визг, и вой, —
Там, далеко, в ночи, дорогой столбовой,
Еще таинственной, по рытвинам опасным,
Под небом сумрачным, что скоро будет ясным,
С депешей срочною, пустив коня в карьер,
Спешит Грядущее, несетя наш курьер!

Джерси, ноябрь 1852

Книга пятая

«ВЛАСТЬ ОСВЯЩЕНА»

I

КОРОНОВАНИЕ

(на мотив «Мальбрук в поход собрался»)

Кламар, погост ужасный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Кламар, погост ужасный,
Казненным отведен.

Прервал Кастень опасный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Прервал Кастень опасный,
Плиту подняв, свой сон;

Орет он, громогласный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Орет он, громогласный:
«Хочу взойти на трон!»

Картуш, от крови красный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Картуш, от крови красный,
Кричит в гробу своем:

«Мне день верните ясный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Мне день верните ясный,
Чтоб стал я королем».

Менгра же любострастный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Менгра же любострастный
Бубнит у школьных стен:

«Хочу, во мгле ненастной
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Хочу, во мгле ненастной
Влача безвинно плен,

Чтоб в переписке частной
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Чтоб в переписке частной
Звал царь меня «кузен».

Убийца первоклассный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Убийца первоклассный,
Пульман тут речь повел:

«Мандрен, мой друг всечасный,
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Мандрен, мой друг всечасный,
Хочу занять престол».

Ласнер, досель безгласный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Ласнер, досель безгласный,
Шепнул: «Хочу вдвойне».

Суффлар, взяв нож запасный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Суффлар, взяв нож запасный,
Взревел, как в страшном сне:

«Не гроб — диван атласный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Не гроб — диван атласный
Дадите в Лувре мне!»

Так рев убийц согласный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Так рев убийц согласный
Из тьмы гробов возник.

В ответ Макер прекрасный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
В ответ Макер прекрасный:
«Что за павлиний крик?

К чему тут гнев столь страстный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
К чему тут гнев столь страстный?
Ужель мы не цари?

Ведь папа, князь всевластный
(Ты дрожишь, о Париж несчастный!),
Ведь папа, князь всевластный,
Всех нас венчал, смотри —

В лице Наполеона
(О Париж, ты не сдержишь стона!),
В лице Наполеона
По счету номер три!»

Джерси, июль 1853

Бог карточной игрою
Увлёкся с сатаною,
Что на небо прилез.

Почем же будет карта?
Бог ставит Бонапарта,
Мастаи ставит бес.

Паршивенький аббатик,
Плюгавый принц-флегматик, —
Невзрачная игра!

Бог в картах мелко плавал,
Обоих цапнул дьявол,
Сказав: «Давно пора».

«Что ж выйдет, — рек сурово
Бог, — из добра такого?»
Чорт молвил: «Туча зол».

И, скрыв улыбку лапой,
Аббата сделал папой,
А принцу дал престол.

Джерси, июль 1853

ИМПЕРАТОРСКАЯ МАНТИЯ

Вы, для кого в труде отрада,
Кого благоуханье сада
И воздух горных рек влечет,
Кто бурь декабрьских избегает
И сок цветочный собирает,
Чтоб людям дать душистый мед, —

Вы вспоены росой прозрачной,
И вам, как юной новобрачной,
Все лилии приносят дань, —
Подруги солнечного лета,
Златые пчелы, дети света,
Той мантии покиньте ткань!

Воительницы, мастерицы!
Набросьтесь на того, сестрицы,
Кто эту мантию надел!
Над ним кружитесь тучей темной
И повторяйте: «Вероломный!
Ты, видно, нас не разглядел!

Будь проклят! Мы — простые пчелы;
Мы украшаем вход веселый
Лозой увенчанных лачуг,
Гостим у розовых бутонов
И иногда к устам Платонов
С восторгом приникаем вдруг.

Дурной траве — дурная слава.
Ступай туда, где Карл Кровавый!
К Тиберию, в его притон!
Не золотые вьются пчелы
У мантии твоей подола,
А стая гнусная ворон!»

Потом в обманщика, злодея
Вцепитесь, гневом пламенея,
Чтоб свет померк в его глазах!
Его гоните неотступно,
И пусть от пчел бежит, преступный,
Когда людьми владеет страх!

Джерси, июль 1853.

IV
ВСЕ БЕГУТ

Р а з у м

Спасаюсь!

П р а в о

Ухожу!

Ч е с т ь

В изгнание иду!

А л ь с е с т

К индейцам я, — хоть там убежище найду.

П е с н я

Я эмигрирую. Мне не пропеть рефрена,
Мне слова не сказать, как за ворот мгновенно
Багроворожие меня шпики берут.

П е р о

Чернила высохли; писать — бесплодный труд!
Пожалуй, в Персии, в Монголии, в России
Побольше в нас нужды. Идемте, дорогие, —
Что люди нам теперь? Воротимся к гусям.

Ж а л о с т ь

Пираты здесь царят, пируя; шум и гам!
Пусть! Мой в Кайенну путь: оттуда слышны стоны.

Поэзия

Я полечу с тобой, с тобой, с окровавлённой!

Марсельеза

Я бодрость понесу изгнанникам в их край!

Орел

Французы! Слушайте! Что там за попугай
На вашем знамени? В какой его клоаке
Лойола подобрал, сочтя орлом во мраке?
Клюв у него в крови, — но это ваша кровь!
Я с этим не мирюсь. Лечу я в горы вновь.
Пусть короли его приветствуют в азарте, —
Я слышать не хочу об этом Бонапарте!
Льстецы-сенаторы! Лечу к родным горам!
А вы блаженствуйте в зловонье сточных ям,
Валяйтесь, гнусные, под этой твердью звездной!

Молния

Я полечу с орлом в глубины тучи грозной.
Он близок, страшный срок, и мне недолго ждать!

Напильник

Коль здесь гадюкам лишь позволено кусать, —
Я цепи грызть пойду на узниках галерных.

Псы

Нам делать нечего: префектов тьма примерных.
Бежим.

Согласие

Уйду и я: в сердцах лишь злость и ложь.

Мысль

Уйдешь от жуликов — к святошам попадешь!
Все гибнет! Кажется, что ножницы насилья
Всем птицам в небесах подстричь готовы крылья!
Все светлое втоптал изменник в грязь и в гнусь!
О Франция! В слезах бегу!

Презрение

Я остаюсь.

Орлы ваграмские! Вольтера край родной!
Свобода, право, честь присяги боевой,
Мощь, мысль и принципы!.. Со всею этой славой
Теперь расправился пигмеев рой лукавый.
В своем ничтожестве нашли они оплот;
Твердят они, поняв, что мелюзга — их род:
«Раз мы легки, — нам власть!» Их мудрость в
полном блеске'..

Но, победив, они забыли, — недовески,
Из глубины клоак вскочившие на щит, —
Что если подданный велик и знаменит,
Что если он — народ, века причастный славе,
То тем тяжелее власть, чем властелин плюгавей.
Не превратят ли нам все эти господа
Отчизну светочей в отечество стыда?
Мучительная мысль! Глубокая забота!
Глушат они в сердцах, слепую силой гнета,
Влеченья светлые, высоких дум полет.
Ах! Эти карлики, проклятый этот сброд,
Льву сиясь голову склонить, за все старанья
Дождутся где-нибудь, когда-нибудь восстанья!
Лев на земле простерт; усталый, дремлет он,
Глубокой тенью стен тюремных окружен;
Не шелохнется пасть свирепая, — согласен;
Спит лапа страшная. И все же он опасен:
Он может шутникам и когти показать!
Пигмеям, думаю, не стоит с ним играть.

Джерси, июнь 1853

Тиберия найдем, Иуду и Дракона;
Ламбесса также есть — в замену Монфокона...
Куют народу цепь. Сажают под замок,
В изгнание, в ссылку шлют того, кто мыслить мог.
Все смято. Душат всё — надежды и стремленья,
Свободу, честь, прогресс, грядущие свершенья,
Как действовал Луи Стяжатель и Сеян, —
И судьям бронзовым закон железный дан...
И — чудно! — всюду сон. Властитель рад: навеки
Лишил людей души и небу склеил веки.
О, грезы деспотов! Но время все ж идет;
Зерно растет в земле; не молкнет рокот вод.
И день придет: закон безмолвья и могилы
Развалится, приняв удар внезапной силы,
Заслон гнилых ворот как громом будет сбит —
И пламя факелов весь город озарит!

Джерси, август 1853

VII

САНОВНИКИ

Бесследно им дано исчезнуть, как червям.
Что делать с кровью их презренной? Душу нам
Смягчает отвращенье.
Смирим же ярый гнев, и ненависть, и дрожь!
Народ! Коль веришь мне, лишь палку ты возьмешь
В великий день отмщенья.

О, что за балаган воздвиг Сулук Второй!
Маркизов пряничных, конфетных принцев рой
К убийце льнет влюбленно.
Едва ль поэзия, грома или смеясь,
Коснется подлецов: противна Данту грязь,
А кровь смутит Скаррона.

О клоуны! Душой и низостью черны,
Вы мрачным будущим, как видно, смущены:
Вы так боитесь смерти;
Вам кажется: мы здесь, в изгнанье, всё грозней
Той кожи требуем, что рядит вас в людей.
О нет, рабы, не верьте.

Камбиз — о, тот бы мог (он был в решеньях скор!),
С Бароша кожу сняв, Тролону сей ковер
Отправить благосклонно;
Но тотчас бы решил: «Он хуже! Удавить!»
И приказал бы — да! — Деланглю предложить
Подстилку из Тролона.

Камбиз был туп — и тем достоин был венца.
Но вовсе нет нужды, чтоб честные сердца,
Что никогда не знали
Измен и подлостей, законы чтя свои, —
Тигровой шкурою иль кожей судьи
Диваны обивали!

Ты скажешь, мой народ: «Все сложи тут на вид.
На руки поглядим». И каждый задрожит,
Как волк с петлей на шее.
«На этих пальцах кровь! Немедля, в кандалах,
На каторгу!» Других, лишь с грязью на руках,
Ты заклеишь: «Лакеи!

Закон на помощь звал, хрипел и ждал конца —
И разделили вы одежды мертвеца.
Скупил по сходным ценам
Вас цезарь. Вы же торг товаром наших прав
Вели, все подлости своей души послав
Прислуживать изменам.

Вам дарят жизнь. Но прочь! Беги, судья дурной,
Со злобным пастырем; ползи во мрак ночной,
Дрожа, согнув колени.
Да не останется под небом золотым,
Под божьей синевою с лучом зари святым,
От вас хотя бы тени!

А жить — живите, что ж, коль дорога вам гниль,
И депутат Криспен и кардинал Базиль, —
Позор вам даст жилища.
А средства к жизни? Ну, вам хватит их навек,
Коль можно стыд лакать, как воду светлых рек,
И коль презренье — пища!»

Затем, народ, с тобой мы за́ ворот возьмем
Всех этих жуликов, и ты очистишь дом
От них твоей дубиной.
И мраморным челом, в знак нашей правоты,
Нам в парке Люксембург кивнет Ликург и ты,
Катон, с душою львиной!

Друзья! Ничтожество холопов этих ждет.
Неважно, граждане, что их стыдом сомнет
 Закона плащ свинцовый;
Неважно, если вдруг прохожий, в час ночной,
Найдет в золотаре у ямы выгребной
 Тролона в роли новой;

Неважно, что Руэр под мостом сыщет кров;
Что, тогу сняв, Барош, как и Делангль, готов
 В переднике на рынке
Наняться за два су; что из своих канав
Вскачь прибегут они, в грязь душу обваляв,
 Почистить вам ботинки!

Джерси, июнь 1853

Прогресс — незлобивый, спокойный, полный сил —
Кровопролития вовеки не творил.
Он без оружия творит и побеждает;
К мечу и топору презрение он питает:
Ведь в небе голубом предвечно пишет рок,
Что мир наш — для людей, а человек есть бог;
Ведь сила высшая всегда неошутима!
Отвергни кровь, народ! Она неуправимо
Насилью бьет в лицо, безвинна или нет;
На славу каждую неизгладимый след
Кладет она — пятном, и капля роковая
Все покрывает, все грязня и пожирая;
Она в истории — чем дальше, тем черней —
Плывет и ширится, пятная палачей.
Поймите: лучшая из всех могил — презреньс.
Ведь даже те, кого казнят за преступление,
В крови, в грязи стыда, выходят из гробов!
Тюрьма с брезгливостью замкнет в себе воров —
И всё! Но не закрыть вовек могилы темной.
Пусть это будет склеп; пускай плитой огромной
Его покроют, пусть залиют цементом свод
И скажут: «кончено», — а призрак все ж встает
И камень медленно сдвигает — и выходит.
Пусть над могилою хотя бы форт возводят,
Пусть глыбами гранит нагромождают над ней, —
Но призрак тем сильнее, чем камень тяжелей:
Сдвигается, как лист, гранитная громада.

Глядите: вот он, вот! Он вышел... Так и надо,
Чтоб он блуждал в ночи, свой саван волоча.
Ты в комнате один? Он встанет у плеча
И скажет: «Это я». Стонать он в ветре будет;
Он ночью, в дверь твою стуча, тебя разбудит...
Всех истребляющих (по праву или нет)
Сквозь ненависть мне жаль. Их вижу в смене лет,
В глуби истории, что правду ищет в тайнах:
Стремясь уничтожить соперников случайных,
Врагов, преступников, обречены они
От стаи призраков бежать в ночной тени.

Джерси, октябрь 1852

ПЕСНЯ ПЛЫВУЩИХ ЗА МОРЕ

(на бретонский мотив)

Прощай, мой край!
Все грознее прибой.

Прощай, мой край
Голубой!

Прощай, мой дом, мой сад, мой рай,
Прощай, цветами полный май!

Прощай, мой край,
Луг и лес вековой,
Прощай, мой край
Голубой.

Прощай, мой край!
Все грознее прибой.

Прощай, мой край
Голубой!

Невеста нежная, прощай!
Все выше гребни пенных стай.

Прощай, мой край,
Милых девушек рой,
Прощай, мой край
Голубой!

Прощай, мой край!
Все грознее прибой.

Прощай, мой край
Голубой!

Изгнанник, взор не опускай!
Средь черных волн свой рок встречай!
Прощай, мой край!
Я душою с тобой.
Прощай, мой край
Голубой!

В море, 1 августа 1852

X

ЖЕЛАЮЩЕМУ УСКОЛЬЗНУТЬ

1

Теперь он говорит: «Империи не сладко;
Шанс на победу слаб».

Он пробует уйти с трусливою оглядкой.
Стой тут, в берлоге, раб!

«Здесь потолок трещит, — ты шепчешь, — как уйду я?
Следят за мной теперь».

Остаться? Нет! Бежать? Нет, нет!.. Глядишь, тоскуя
На балки, окна, дверь;

И пробуешь засов дрожащими руками...
Куда? Отмечен ты!

Стой! Труп закона здесь: он в той закопан яме
Под кровом темноты.

Стой! Он лежит, он там; лежит с пронзенным боком;
Тяжелою плитой

Вы придавили гроб. И ею ж ненароком
И плащ прищемлен твой.

Покуда во дворце средь музыки и блеска
Смеются, и поют,

И спорят, все забыв, — ты здесь бледнеешь резко;
Ты знаешь: призрак — тут.

Нет, не уйдешь ты! Как! Из дома преступлений
Бежать, предав друзей?
Избегнуть кары? Стать изменником измене,
Презренным даже ей?

Продать разбойника? Хоть он и всех кровавей,
Но он тебя любил.
Христу Иудой быв, ты, значит, и Варавве
Иудой стать решил?

Как? Лестницу не ты ль подставил негодяям,
Не ты ль им красть помог?
Не ты ли, — отвечай! — корыстью пожираем,
Заране сшил мешок?

В берлоге этой ложь и ненависть гнездится,
Кровь не стерев с копья.
Бежать? А право где? Ты ж — бóльшая лисица
И злейшая змея!

2

Лишь над Италией, от По до Тибра, пики
Взметнули зыбь знамен
И стал республикой народ ее великий,
Стряхнув столетний сон;

Лишь Рим закованный воззвал к ней скорбным
стоном, —
Надежде робкой вмиг
Сломал ты крылья, — ты! — вновь черным капюшоном
Окутав вечный лик!

Ты, ты вторую жизнь в Монруже, в Сент-Ашеле
Растленным школам дал —
Чтоб детские умы под саваном мертвели,
А в мыслях кляп торчал.

Ты, ты — чтоб человек был лишь скотом забитым —
Сердца детей обрек
Любовникам злодейств, развратным иезуитам,
Растлившим сам порок.

О, грудью наших жен взлелеянные дети,
О бедные! К чему ж
Вас эти бледные ловцы поймали в сети,
Ловцы невинных душ?

Увы! Та чахлая, в проказе гнусной птица,
Чей пух изъели тли,
Что в клетке их стальной, едва дыша, томится, —
Есть будущность земли!

Коль дать им действовать, то в блеске зорь другая,
Всего чрез двадцать лет,
Предстанет Франция — таращась, и мигая,
И ненавидя свет.

Ведь маги черные, что ложь законом взяли,
Умело скрыв лицо, —
Чтоб высидеть сову ужасную, украли
Орлиное яйцо!

8

Подмяв Париж, под стать кроатам и калмыкам,
Творцы небытия,
Вы торжествуете, как надлежит владыкам, —
Елеем желчь струя.

В восторге вы, что вам, кормильцам суеверий
(А им ведь нет числа!),
Дано в сердца людей пробить для ночи двери,
Чтоб в них врывалась мгла.

До оргий лакомы, вы ладан жжете пылко:
Пигмей Наполеон —
Кумир ваш... Славный век лежит в грязи! «Курилка»
Сменила Пантеон.

Вы рады... Цезарем венчали вы мгновенно,
С чем согласился Рим,
Убийцу, кто в ночи в людскую грудь колено
Вдавил, неумолим.

Ну что ж, презренные! Кадите властелину,
Внушающему страх;
Но вами бог забыт, кто может, как холстину,
Смять небеса в руках!

Чуть подождать еще — и рухнет здание это:
Бог за себя отмстит,
И запоет страна, и розы в волнах света
Пустырь произрастит!

Чуть подождать еще — и вас не будет боле;
Да, верьте мне: вас всех!
Вы — тьмы избранники, мы — всенародной воли;
И наш раздастся смех!

Я это знаю, я! Живущий там, где, споря
С утесом, бьет волна;
Я, проводящий дни лишь в созерцанье моря,
Чья бурей грудь полна!

4

Ты ж их главою будь, как был; и в этом — кара;
Будь в распре сам с собой.
Твои плуты весь мир, что спал, не ждя удара.
Опутали петель.

На души, дар творца, душителем искусным
Дерзнул ты посягнуть;
Ну, так дрожи и плачь, твоим же делом гнусным
Захлестнутый по грудь.

Чем ниже облака невежества нависли,
Тем гуще мгла и тьма;
И меркнет в небесах, бледнея, солнце мысли,
Священный свет ума;

И убывает день, и люди, злы, развратны,
Хладеют, точно лед, —
Позор ваш, о лжецы, растет, как в час закатный
Деревьев тень растет!

Да, оставайся их апостолом! Нет казней
 Ужасней, чем твоя:
 Предстать потомкам — всех подлей и безобразней!
 Гляди же, дрожь тая!

Не скроешь, старых банд вития двуязычный,
 Что, с яростью в глазах,
 Всех славных мучениц ты распинал вторично
 Во всех твоих речах, —

Всех: веру кроткую с пощечиною папской,
 С ней истину, и с ней
 Свободу бледную, и правду в петле рабской,
 Посмешище судей,

И две страны — сестер, что нас вскормили обе:
 Рим (слезы душат речь!)
 И Францию! По ней ты, в утонченной злобе,
 Дал крови Рима течь!

Душитель роковой! Историю пугая,
 Предстанешь ты во тьме —
 Как виселица вдруг нам предстает, нагая,
 На сумрачном холме!

Джерси, январь 1853

Ни зла, ни гордости не ведала она.
 Она любила лишь — ясна, проста, бедна.
 Ей хлеба на обед порою нехватало.
 Имея трех детей, она себя считала
 И матерью для всех, пришибленных судьбой.
 Деянья черные, что мрак хранит ночной,
 Подъем и спад пучин, что рвутся, пасть разинув,
 Пигмеи, что подкоп ведут под исполинов, —
 Все силы зла, каким порой названья нет,
 Не страшны были ей. За мглою зла и бед
 Светился ей творец, строитель дня иного,
 И вера юною в ней воскресала снова.
 Свободы факелы стремясь раздуть сильней,
 Она тревожилась за женщин и детей
 И шла к трудящимся, их ободряя в горе:
 «Жизнь тяжела теперь, но станет лучше вскоре;
 Вперед же!» И она уверенно несла
 Надежду всем. Она апостольшей была
 И вместе — матерью; таких нам тоже надо,
 Чтоб кротче нас учить среди земного ада.
 Ей самый мрачный ум доверчиво внимал;
 Заботливая, шла она в любой подвал,
 Где нищета жила средь голода и дрожи:
 Больные, старики на их убогом ложе
 И безработные с угрюмой их тоской.
 Чуть при деньгах, она широкою рукой
 Несла их беднякам, как бы сестра родная;

А без гроша сама, — шла, сердце отдавая.
Любовь — как солнцу блеск — была ей врождена;
Считала род людской своей семьей она
И человечеством своих детей считала.
Она прогресс, любовь и братство возглашала,
Страдающих зовя в сияющий простор!

За преступлениями такими — приговор.
Спаситель общества, и церкви, и порядка
Ее в тюрьму швырнул. Но пить ей было сладко
Желчь с губки; был ответ улыбкой тихой дан.
Пять месяцев прошло: грязь, полумрак, туман;
Тюремщики; порок, дерущий смехом глотку;
Хлеб черный, что швырком летит через решетку;
Забытость... И она добру учила зло —
И воровство и блуд внимали ей светло.
Пять месяцев... Затем солдат (не удостою
Назвать его) пришел с дилеммою такую:
«Признайте новый строй — и выйдете на свет
(От веры отступясь); не то пощады нет:
Ламбесса! Выбор — ваш». И был ответ: «Ламбесса».
Назавтра, скрежеща, железная завеса
Ворот раздвинулась; фургон вкатил на двор.
«Вот и Ламбесса...» Был спокоен светлый взор.
В тюрьме той многие томились беззаконно —
Борцы за право... Всех не втиснешь в гроб фургона,
В ячейки мерзкие не всех бойцов вместишь;
И женщин повели пешком через Париж;
Шли кучкой тесною в кольцо тюремной стражи.
Вели хоть не воров и не убийц, но та же
Из полицейских уст хлестала брань по ним.
Порой прохожие, смущенные таким
Нечастым зрелищем, — что женщин гонят стадом, —
Приблизясь, пристальным их обводили взглядом;
Кривой усмешкой страж давал зевакам знак,
И расходились те, ворча: «Ах, девки! Так».
Полина ж узницам шептала: «Тверже, сестры!»
И хриплый океан, от волн и пены пестрый,
Умчал их. Труден был и долог переход;
Был черен горизонт, и ветер — точно лед;
Ни друга возле них, ни голоса в ответ им.
Они дрожали. Дождь пришлось им, не одетым,

Терпеть на палубе, не спать, встречая шквал.
«Бодрей, бодрей!» — призыв Полины им звучал, —
И плакали порой, глядя на них, матросы.
Вот берег Африки. Ужасные утесы,
Песок, пустыня, зной, и небо точно медь;
Там ни ключам не бить, ни листьям не шуметь.
Да, берег Африки, что страшен самым смелым,
Земля, где чувствуешь себя осиротелым,
Забытым родиной вдали от глаз ее.
Полина, затаив отчаянье свое,
Твердила плачущим: «Приехали! Бодрее!»
И плакала потом — одна, с тоской своею.
Где трое маленьких? О, мука свыше сил!..
Несчастной матери тюремщик предложил
Однажды — в крепости с подземным казематом:
«На волю хочется, домой, к своим ребятам?
Просите милости у принца». Но, тверда,
Страдалица ему сказала: «Никогда!
Я мертвой к ним вернусь». И, мстя душевной силе,
Всю злобу палачи на женщину излили!..
О, тюрьмы Африки! Нам вскрыл их Рибейроль:
Ад, для которого и слов не сыщется боль!
И женщину и мать, бессильную, больную,
Швырнули в этот ад, в пещеру гробовую!
Кровать походная, зной, холод, сухари,
Днем солнце, ночью зуд: москиты до зари,
Замки, сверхсильный труд, обиды, оскорбления, —
Ничем не смять ее! Твердит она: «Терпенье!
Сократ ведь и Христос — терпели». Ей пришлось
По той скупой земле мотаться, вдоль и вкось;
Хоть небо знойное дышать ей не давало,
Как будто каторжник, она пешком шагала.
Озноб ее трепал; худа, бледна, мрачна,
В солому сгнившую валилась спать она,
К забитой Франции взывая в час полночный.
Потом ее в подвал швырнули одиночный.
Болезнь ей грызла жизнь, но в душу мощь лила.
Суровая, она твердила: «В царстве зла,
Лакейства, трусости — какой пример народу,
Коль женщина умрет за право и свободу!»
Услышав хрип ее, держать боясь ответ,
Струхнули палачи (не устыдились, нет!).

Декабрьский властелин ей сократил изгнание:
«Пусть возвращается — тут испустить дыханье».
Сознания не было; ум светлый изнемог.
В Лионе смертный час настал. Ее зрачок
Погас и потускнел — как ночь, когда без силы
Дотлеют факелы. Неспешно тень могилы
Холодной пеленой легла на бледный лик.
К ней старший сын тогда, чтобы в последний миг
Поймать хоть вздох ее, хоть взор ее беззвездный,
Примчался... Бедная! Он прибыл слишком поздно.
Она была мертва: убита сменой мук;
Мертва — не ведая, что Франция вокруг,
Что небо родины над нею — в теплом свете;
Мертва — предсмертный бред заполнив криком:
«Дети!»

И гроб ее никто не смел почтить слезой
На погребении.

Теперь, прелаты, в строй!
Сверкайте митрами в церковной тьме, ликуйте
И славословием в лицо господне плюйте!

Джерси, декабрь 1852

Злодейство худшее из всех, что мы творим, —
В оковы Францию швырнуть и с нею Рим;
Еще: в любом краю, насилуя природу,
Взять душу каждого и общую свободу;
Предстать пред курией священной с мечом;
В его святилище закон пронзить клинком
И заковать народ, обрекши на страдания.
Бог не сведет очей с такого злодеянья.
Лишь дело свершено, — конец, пощады нет!
И Кара, не спеша, в глуби небес и лет
В путь собирается, с холодными глазами,
Неся подмышкой бич, усаженный гвоздями.

Джерси, ноябрь 1852

ХІІІ

ИСКУПЛЕНИЕ

І

Шел снег. Стал гибелью недавний путь победный.
Впервые голову орел понурил медный.
Рок! Император брел и грезил наяву,
Покинув позади горящую Москву.
Шел снег. Зима на мир обрушилась лавиной:
Равнина белая за белою равниной.
Ни командиров там не видно, ни знамен.
Уже ни центра нет, ни флангов, ни колонн.
Вчера лишь — армия, сегодня — стадо. В брюхо
Убитых лошадей вползали греться. Глухо
Шел снег. На брошенных биваках ледяных
Порою видели горнистов постовых,
Замерзших и немых, — в чьи каменные губы
Заиндевелые навеки вмерзли трубы.
Сквозь хлопья сыпались то бомбы, то картечь,
И, с удивлением почуяв дрожь меж плеч,
Кусая длинный ус, шли гренадеры мимо.
А снег валил, валил. Свистал неумолимо
Полярный ветр. По льду шагали день за днем —
В местах неведомых, без хлеба, босиком.
То не были бойцы, идущие походом,
То плыли призраки под черным небосводом,
Бредущая во тьме процессия теней.

И снеговой простор тянулся перед ней,
Без края, без конца, как мститель беспощадный.
А непрерывный снег, слетая с выси холодной,
Огромным саваном на армию налег,
И каждый чуял смерть и знал, что одинок.
Удастся ли кому уйти из царства ночи?
Враги — мороз и царь. И первый был жесточе.
Орудия — долой: лафеты шли в костер.
Кто лег — погиб. Толпой, вперив безумный взор,
Бежали. Снежная жрала полки утроба:
То здесь, то там рука торчала из сугроба,
Маня измученных под снеговую сень.
О, Ганнибалов рок! Аттилы судный день!
Фургоны, беглецы, носилок строй кровавый
Сшибались давкою во время переправы.
Ложились тысячи, вставало сто теней.
Когда-то армии преследовавший Ней
Спасал часы и жизнь: за ним гнались казаки.
И еженощно — в бой! Готовиться к атаке!
И тени, вновь ружье притиснув у плеча,
Смыкались, — и на них, как ястребы крича,
Наскоком яростным, безумной лавой дикой
Летели казаки, размахивая пикой!
Да, гибла армия: ее снедала ночь.
Был император там — и он не мог помочь.
Он был как мощный дуб, секире обреченный,
Гигант, со славою еще не омраченной,
Но вот Несчастье, зловещий лесоруб,
К нему приблизилось — и оскорбленный дуб,
Томимый призраком какой-то мести горней,
Топор почувствовал, врезающийся в корни.
Все гибли в свой черед — солдат и генерал;
К шатру вождя сошлись те, кто еще шагал,
С любовью тень его бессонную встречали,
Клялись его звездой, в кощунстве уличали
Судьбу, дерзнувшую на счастье посягнуть.
А он — страх ощутил, к нему заползший в грудь.
Ошеломлен бедой, воитель величавый
Взор к богу обратил. Теперь избранник славы
Дрожал; он понял вдруг, что искупает здесь
Какой-то тяжкий грех, и, потрясенный весь,
Пред легионами, не снесшими удара,

Воскликнул: «Боже сил! Ужели это — кара?»
И громом прозвучал таинственный ответ —
Из мрака тяжкого сказал незримый: «Нет».

2

О поле Ватерло! Печальная равнина!
Как в урну узкую плеснувшая пучина,
Там, где бегут твои овраги и лески,
Нагромодила смерть угрюмые полки.
Европа — здесь, а там, там — Франция! Кровавый
Стык! Обманул господь мечту любимцев славы!
Ты дезертируешь, Победа, из рядов!
О Ватерло, — в слезах я руки грызть готов!
Последние бойцы последней битвы этой
Свое величие несли к пределам света,
На Альпы и на Рейн стремили свой удар,
И пела их душа сквозь медный вопль фанфар!

Темнело. Битва шла, упорная до бреда.
Шло наступление; была в руках победа.
К лесистому холму прижат был Веллингтон.
В трубу подзорную глядел Наполеон
На центр сражения, где, как терновник страшный,
Сплелись противники в безумной рукопашной,
На темный горизонт, на полный тайны тыл,
И вскрикнул радостно: «Груши!» То Блюхер был!
Надежда в этот раз переменила знамя.
Сражение — с грудью грудь — росло, ревя
как пламя.

Картечь английская сметала в прах каре.
Знамена рваные метались, как в костре.
И поле, полное бряцаньем, лязгом, стоном,
Казалось кратером, безумно раскаленным,
Куда вдруг рушились полки, куда подряд
Валились, точно рожь, изведавшая град,
Султаны пышные тамбурмажоров рдяных, —
И кровь горячая ключом бурлила в ранах.
Свирепая резня! Миг роковой! И вдруг
Почуял вождь, что бой стал ускользать из рук,
Что натиск ослабел. Вблизи, у косогора,

Стояла гвардия — последняя опора!
«Что ж, двинем гвардию», — сказал он. И тотчас
Согласно лязгнула сталь сабель, медь кирас;
Уланы двинулись, драгуны, кирасиры,
Колонны гренадер, шатнулись канониры,
С громами дружные, и медленно пошли,
Как встарь — под Фридландом, Ваграмом, Риволи.
И, зная, что идут на смерть, с грозой во взгляде,
Пред божеством своим прошли как на параде,
Крича: «Да здравствует наш император!» Гром
Их кликов с музыкой рванулся напролом,
И вот, презрев картечь, что была неустанно,
Строй старой гвардии вступил в жерло вулкана.
Увы! Наполеон, склонившись на эфес,
Глядел: его полки, вступая в дымный лес,
Где адским пламенем орудья грохотали,
Его дивизии, отлитые из стали,
Бесследно таяли одна вслед за другой,
Бесследно таяли, как тает воск свечной.
Шли, вскинув головы, в неколебимом строе.
Никто не отступил. Мир вечный вам, герои!
Смятенных корпусов глядела череда,
Как бьется гвардия и гибнет. И тогда
Свой безнадежный вопль метнула в дым и пламя
Гигантка Паника с безумными глазами,
Вся бледная, страша храбрейшие полки,
Знамена гордые терзая на клочки,
Огромным призраком из трепета и дыма
Над сердцем армии взвилась неужержимо!
Предстала, дикая, пред каждым рядовым,
И руки вскинула, и крикнула: «Бежим!» —
«Бежим!» — раздался крик тысячеустый. Люди,
Внезапно одичав, смешались в общей гряде,
Как бы губительный по ним прошел самум.
Средь ядер, жарких жерл, вконец теряя ум,
То забиваясь в рожь, то в ров катясь со склона,
Швыряя кивера, штыки, плащи, знамена,
Под прусской саблею те воины — о стыд! —
Дрожали, плакали, бежали. Как летит
Под ярой бурей горящая солома, —
Величье армии исчезло в миг разгрома.
И поле скорбное, став достояньем лир,

Узрело бегство тех, пред кем бежал весь мир!
И сорок лет прошло, и этот край угрюмый,
Равнина Ватерло, полна зловещей думой;
Алтарь, где столько жертв снес богу человек,
Трепещет, не забыв гигантов страшный бег!

Наполеон глядел: неслись одним потоком
Солдаты, маршалы, знамена; и в жестоком
Томленье, чувствуя возврат былой тоски,
Сказал он, руки вздев: «Мертвы мои полки,
Я побежден! Моя империя разбилась!
То не возмездье ли, о господи, свершилось?»
И сквозь рыдания, рев пушек, стон и бред,
Он голос услышал, сказавший тяжко: «Нет».

3

Он рухнул. Бог связал Европу цепью новой.

Есть в глубине морей, в просторах мглы свинцовой
Скала ужасная — обломок древних лав...
Судьба, взяв молоток и цепь и гвозди взяв,
Того, кто молнию похитил с небосклона,
На этот черный пик помчала непреклонно
И приковала там, злым смехом подстрекнув
Свирепость Англии, в него вонзившей клюв.

О, траурный закат его звезды огромной!
От утренней зари до поздней ночи темной
Сплошь — одиночество, отчаянье, тюрьма;
У двери — часовой, у горизонта — тьма.
Утесы дикие, кусты, простор безбрежный,
Порою паруса — надеждой безнадёжной;
Немолчный рокот волн, немолчный ветра вой...
Прощай, пурпурный шелк палатки боевой,
Прощай, скакун, кого касался цезарь шпорой!
Где барабанный бой, внушавший дробью скорой
Страх и отчаянье простертым королям?
Где пчелы мантии? Где император сам?
Вновь Бонапартом стал Наполеон Великий.
Как будто римлянин, пронзен парфянской пикой,

Он бредит, весь в крови, пылающей Москвой.
«Стой!» — говорит ему английский часовой.
Сын — в габсбургском плену, жена — в чужих
объятьях!

Сам вывалян в грязи, его топить в проклятьях
Сенат, им созданный, и ночь и день готов.
Когда умолкнет ветер, у голых берегов,
Над страшной крутизной, среди утесов черных,
Задумчив, бродит он, заложник волн упорных.
Глазами, полными огнем былых побед,
Горд и угрюм, глядит туда, в небесный свет,
И вольная мечта опять за счастьем рыщет.

О, слава! О, тщета!.. И снова ветер свищет.
Орлы, парящие в сияющей дали,
Его не узнают. Взяв циркуль, короли
Его замкнули в круг, навеки безысходный.
Он задыхается... И смерти лик холодный
Все ближе, все видней — его сквозь ночь маня,
Как утро бледное таинственного дня.
Душа дрожит листком, что в зной почуял влагу.
Однажды на кровать свою кладет он шпагу,
Ложится рядом с ней и говорит: «Мой час!»
Маренго старый плащ его покрыл до глаз.
Пред ним — Дунай и Нил; великие сраженья;
Он шепчет: «Вот оно — мое освобожденье!
Я снова победил! Мои орлы летят!»
Когда же он вокруг метнул предсмертный взгляд,
Ему мелькнула тень, прильнувшая к порогу:
То Гудзон Лоу в дом уже поставил ногу!
Гигант, раздавленный пятою королей,
Вскричал: «На этот раз предел тоске моей!
Возмездье свершено. Моих терзаний груды
Не будет множить рок!»
Раздался голос: «Буду!»

4

Событья черные глотает пасть времен.
На прах империи упал Наполеон.
Под ивой тихою его могила дремлет,
Но имени его весь мир доньне внемлет:

Тиран навек забыт, герой вовеки жив.
Поэты, королей жестоких заклеив,
Мечту свою несут к могиле горделивой.
Вернули статую колонне сиротливой;
Подымешь голову и видишь: над тобой,
Над всем Парижем он господствует, герой,
Днем в синеве один, а ночью — в хоре звездном.
Храм Славы именем его украшен грозным!
Сей странный человек как будто опьянил
Собой историю и славой ослепил
Взор справедливости — сверканьем Аустерлица,
Маренго, Эсслинга. Как римская гробница,
Влекут к себе людей те грозные года:
Вы рукоплещете, о нации, когда
Вдруг подымается из той земли победной
То консул мраморный, то император медный!

5

Вдвойне по смерти славен воин.
Такого не было в былом.
Из гроба слышит он, спокоен,
Как говорит земля о нем.

Он слышит: «Верною победой
Все дни его озарены.
История! Покорно следуй
За этим божеством войны!

Хвала ему в тиши могильной —
Тому, кто, проблистав, исчез:
Он одолел, гордец всесильный,
Ступени первые небес!

Он слал в стремлении высоком,
Беря столицы на лету,
Бороться с непреклонным роком
Свою надменную мечту.

И каждый раз, кидаясь в схватку
Прыжком величественным, он
Являл великую загадку,
Которой бог был поражен.

Почти не человек по силам,
Упорно созерцая Рим,
Он говорил с тяжелым пылом:
«Отныне миру быть моим!»

Он жаждал — символ гордой воли,
Жрец, государь, маяк, вулкан —
Из Лувра сделать Капитолий,
В Сен-Клу создать свой Ватикан.

Он, Цезарь, кинул бы Помпею:
«Будь горд, что помогаешь мне!»
Сверкал он шпагою своею
Из туч, гремевших в вышине.

Хотел он, в ярости хотений,
Свою фантазию до дна
Излить на мир, чтоб на колени
Пред ним склонялись племена.

Хотел он слить, мечтою движим,
Мечты всех рас в единый клир,
Весь мир одушевить Парижем,
В Париже воплотить весь мир.

Подобно Киру, величавый,
Хотел он под своей рукой
Мир увидеть одной державой,
Одним народом род людской;

Придать такую силу трону,
Обидные презрев слова,
Чтобы ему, Наполеону,
Завидовал Иегова!»

Усопший исполин конца дождался узам,
 И отдал океан великий прах французам.
 Уже двенадцать лет спокойно дремлет он,
 Своим изгнанием и смертью освящен,
 Под гордым куполом. Когда проходишь мимо,
 Он представляется, лежащий недвижимо;
 В венце и в мантии, расшитой роем пчел,
 Под сводом гробовым себе приют нашел
 Тот, для кого весь мир был тесен. Он рукою
 Сжал скипетр левою и шпагу сжал другою;
 У ног его орел глаза полуоткрыл.
 И люди говорят: «Здесь цезарь опочил».

Вокруг огромный град катил свой гул нестройный.
 Он спал двенадцать лет, доверчивый, спокойный.

Вдруг ночью (а в гробах конца у ночи нет)
 Очнулся он. Чадил какой-то мерзкий свет;
 Виденья странные вползли в его ресницы;
 Постыдный смех звучал под потолком гробницы;
 Весь бледный, он привстал. Видение росло.
 И голос (он узнал!) пролился тяжело:

«Встань! Ватерло, Москва, скала святой Елены,
 Изгнание, короли, британский страж надменный,
 Что осквернил твой одр, — последнее звено
 Страданий, — всё ничто! Возмездье — вот оно!»

И голос зазвучал внезапно горче, резче,
 Сарказмом напоен, иронией зловещей;
 Насмешкой черною был полубог пронзен:

«Из Пантеона ты изъят, Наполеон!
 Ты стащен за ноги с властительной колонны!
 Гляди. Разбойники, крутятся, как рой зловонный,
 Бродяги, нищие, властители канав
 Тебя забрали в плен, к рукам тебя прибрав,

Нечистой лапою стопы касаясь медной.
Ты умер как звезда, что гаснет в тверди бледной,
Как Цезарь, как герой, и вот воскрес — на дне! —
Как Бонапарт, прыгун из цирка Богарне.
Ты — в их рядах; они тебя, в разгуле пьяном,
Вслух гением зовут, а про себя — болваном.
Рубакам в нужный миг, — им любо день-деньской
Своими саблями греметь по мостовой, —
Толпе, что радостно к их балагану жметя,
Они орут: «Скорей! Сейчас спектакль начнется!
Дан фарс: «Империя»! И приглашен в наш хор
Сам папа! Это что! Сам царь! И это вздор:
Царь — лишь капрал простой, а папа — вроде бонзы.
У нас получше есть! Есть дурачок из бронзы.
Он всем нам дядюшка — простак Наполеон!»
И Фульд, Маньян, Руэр, Парье-хамелеон —
Беснуются. У них — сенат из автоматов,
Из восковых фигур. Соломой казематов
Набили чучело они: то — твой орел;
Он, реявший в выси, свою судьбу обрел
Не на полях боев — на ярмарочном поле!
На троне старом нет обивки пышной боле:
Вся ими срезана. Всю Францию, — взгляни:
На их лохмотьях кровь, — ограбили они.
В кропильнице Сибур белье их моет рьяно.
Ты, лев, — их раб; их вождь — всего лишь обезьяна.
Ты имя гордое твое в постель им снес;
В теснинах Риволи дымится их навоз;
Вином твоих побед свой стыд глушат их души;
И серый твой сюртук распялен на Картуше.
Они собирают медь в твой головной убор;
Твои знамена им — то скатерть, то ковер;
Сев за нечистый стол, они то водку дуют
С глупцом-крестьянином, то в карты с ним плутуют;
Их соучастником ты бродишь у стола:
Рукой, что некогда штандарт побед несла,
Что мчала молнию, — рукою Бонапарта! —
Вдруг передернута помеченная карта!
Ты с ними должен пить! Карлье, добряк на вид,
По-дружески тебя пинком приободрит;
Пьетри с тобой на ты; Мопа рукою грязной
По животу тебя потреплет вдруг развязно.

И знают, жулики, что день придет, когда
На них, как на тебя, обрушится беда,
И рады в честь твою распить полштофа пенной;
Льет водку Пуасси в фиал святой Елены!
Как шабаш, ночь и день везде балы гремят;
Толпа сбегается глядеть на этот ад,
Где кувыркаются, бряцая бубенцами;
Народ свистит, ревет... И ты — меж подлецами!
Да, на подмостках — ты! Куда тебя взнесло?
Гомером начинать и завершить Калло!
О, песнь последняя великой эпопеи!
Тролон и Шедетанж — паяцы и лакеи —
Теперь твои друзья средь балаганных стен,
Где, крови не отмыв, смеется в ус Мандрен,
В одежде цезаря пленяя взор народа.
Ты ж, тень державная, бьешь в барабан у входа!»

Речь смолкла страшная. Во тьме Наполеон,
Сражен отчаяньем, издал ужасный стон,
Издал крик ужаса, вздев руки... Над страдальцем
Строй мраморных Побед, показывая пальцем,
У гробовых дверей как будто ожил вдруг
И, с цоколей сойдя, с насмешкой стал вокруг
И слышал, как титан, последний стыд изведав,
С рыданьем выкрикнул: «Кто ты, о демон бредов?
Мой вечный враг, ответь, иль я сойду с ума!» —
«Я — преступление твое!» — сказала тьма.
И склеп наполнился сиянием грозящим,
Подобным пламени над господом разящим:
Два слова огненных, — как те, что увидал
Когда-то Валтасар, — сверкнули. Прочитал
Наполеон, дрожа (о, где возмездью мера?),
Что *Восемнадцатым* он заклеймен *Брюмера*.

Джерси, 25—30 ноября 1852

Книга шестая

«УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА»

I

НАПОЛЕОН III

Свершилось!.. От стыда и пушка б тут зарделась,
Что именем таким такая мразь оделась,
Что в этой славе ты нору обрел, пигмей!
Ты, спавший с девкою — с фортунною твоей,
На этот гордый пик сумел всползти по склонам!
Ты шляпу Эсслинга своим снабдил помпоном;
Ты семимильные похитил сапоги;
Вцепился ты в орла, чертившего круги, —
В Наполеона, и, в восторге замирая,
С ним гордо делишься насестом попугая!
Терситу дядей был великий Пелиад...
Так это для тебя гром наших Илиад!
Так это для тебя в сраженья мы вступали!
Так это для тебя из громоносной дали
На русские войска Мюрат летел с хлыстом!
Так это для тебя сквозь пламя напролом
Сосредоточенно шагали гренадеры!
Так, значит, мой отец, отважный, полный веры,
Кровь для тебя струил в эпической войне!
И пики для тебя сверкали в вышине,
И материк дрожал перед Аттилой новым,
И Лондон в страхе был, Москва — в дыму
багровом!
Так это для тебя — чтоб ты меж девок пил
И с Маскарилями и Дейцами кутил,
А в Лувре на пирах сидел на первом месте;
Так это для тебя (с мосье Моккаром вместе)

Ноги лишился Ланн, оторванной ядром,
И головы солдат, задетые клинком,
Кровь из-под кивера струили красным соком!
Так это за тебя Ласаль погиб с Дюроком,
Ваграм и Рейхенбах отяготив бедой,
И Коленкур сражен в редуте под Москвой,
И гвардию вконец под Ватерло скосило!
Так это для тебя ветрами убелило
Нагромождения несметные костей
В глуби любых лесов, среди любых полей!..
Нахал! Склепался ты, раб и слуга порока,
Отродье случая, с великим сыном рока!
Ты свой бесстыжий лоб воткнул в его венец!
Рукою шутовской ты взял тот бич, наглец,
Что королям грозил, меняя ход столетий;
И запрягаешь ты, наклеив номер третий,
Маренго, Аустерлиц, Иену, Сен-Жан-д'Акр —
Квадригу солнца — в свой ободранный фиакр!

Джерси, 31 мая 1853

II МУЧЕНИЦЫ

Те женщины, кого захватчик в ссылку шлет, —
Твои же дочери и матери, народ!
Вся их вина в одном: они тебя любили.
Париж — в крови, разбит, согбен, покорен силе —
Все видит ужасы, но сумрачно молчит.

Одна, кого ведут (кляп изо рта торчит),
Преступно крикнула: «Долой измену!»; Твердость —
Зовут вторую; тех — Идея, Верность, Гордость;
Тех — Справедливость, Мысль, Свобода, Чистота...
Их гонят в Сен-Лазар (должна темница та
Быть сметена с лица земли до основания!);
Тюрьма поглотит их, окутана в молчанье,
И снова изрыгнет, когда «свершится суд»
И бросят их в фургон, запрут и увезут.
Куда? — Забвение то знает, и могила
О том сухой траве и вóронам твердила.

Одна из них была кротка, святая мать,
И в пекло Африки ее везли терзать,
И дети к ней пришли проститься. Их прогнали.
Мать это видела и, стон сдержав печали,
Сказала: «В путь!» Молил о милости народ.
В фургоне каторжном был очень узок вход,
И женщину туда, смеясь над полнотою,
Тюремный страж впихнул, дав ей тычок рукою.

Так их везут, больных, задвинув на засов,
В карете с клетками, подобием гробов,
Без света, воздуха, где каждый заключенный —
Точь-в-точь живой мертвец, в могиле пробужденный.
Их вопли слышатся с дороги — и бегут
Зеваки поглазеть, как мучениц везут.
В Тулоне, выпустив их из фургонов, в трюмах
Рассадыт. И, больных, голодных и угрюмых,
Отправят за море — несчастных этих вдов,
Дав им без ложек есть бурду из котелков.

Брюссель, июль 1852

III ГИМН ССЫЛЬНЫХ

К молитве!.. Тень встает ночная..
К тебе, господь, мы взор и руки вознесли.
Знай: те, кто слезы льют, оковами бряцая, —
Всех обездоленней из бедняков земли;
Но чести больше там, где горше доля злая.

Потерпим!.. Отомстится кровь!..
О птицы, к нам домой летите;
О ветры, край наш посетите,
Где семьи плачут вновь и вновь;
О наших бедах им скажите,
Снесите им от нас любовь!

Внемли нам, боже благосклонный!
У нас одна мольба: изгнанников забудь,
Но славу родине верни поработченной!
А мы, разбитые, пройдем свой смертный путь,
Где ледяная ночь сменяет день каленый!

Потерпим!.. и т. д.

Как в центр мишени лучник меткий,
Не зная жалости, нам солнце стрелы шлет;
Изнурены трудом, не спим в зловонной клетке;
Как мышь летучая, примчавшись из болот,
Крылом нас бьет озноб, и бред нас держит в сетке.

Потерпим!.. и т. д.

Пить хочешь? Обжигаеть губы.
Есть хочешь? Черный хлеб. Работы — не вздохнуть!
На каждый взмах кирки, долбящей камень грубый,
Смерть из земли встает: сгребет кого-нибудь,
Задушит и опять ложится, скаля зубы.

Потерпим!.. и т. д.

Но пусть! Неукротимым взором
Встречаем смену мук; нам радостны они.
Мы богу нашему хвалу возносим хором:
Он честь нам даровал страдать в такие дни,
Где *не-страдание* является позором.

Потерпим!.. и т. д.

Ура Республике священной!
Мир тайне вечера, объявшей небосклон!
Мир павшим стойкам в могиле их смиренной!
Мир морю мрачному, что слило в общий стон
Рыданья Африки и жалобы Кайенны!

Потерпим!.. Отомстится кровь!..
О птицы, к нам домой летите;
О ветры, край наш посетите,
Где семьи плачут вновь и вновь;
О наших бедах им скажите,
Снесите им от нас любовь!

Джерси, июль 1853

IV

ПЕСНЯ

Мы гуляли там, меж седых развалин
Башни вековой;
Доносился к нам, смутен и печален,
Говор волн глухой.

Все ж понятен был нам напев стихии,
Отзвук дальних бурь;
Звал он: «Встаньте вновь, истины святые!
Просияй, лазурь!

Мир захвачен в плен, и закон — в руинах,
Всюду звон оков;
Взвейтесь в небеса на крылах орлиных,
Мысли мудрецов!

Встаньте, возродясь, в полнозвучном хоре
Заалевших вод,
Над ночью тьмой вскиньте ваши зори,
Солнце и народ!

Вас же, — пусть летит с молнией шальнойю,
С громом стая гроз, —
Не сломить грозе, не свалить прибою,
Узник и утес!»

Джерси, октябрь 1852

V
БЛЕСК

О, время дивное! О, хохот до истерик
Всех европейских стран, всех штатов двух Америк!

Утесы льют слезу! Кровь капает с икон,
Кой-как повешенных! Косят глаза мадонн!
Все монстры чудные, о ком и не слыхали,
С чистосердечием пред миром воссияли!
Вот жалуется пот, что деготь — страх смердит!
Обнюхав Шейлока, орет Иуда: «Жид!»
Мышьяк разоблачил все подлости морфина!
Взор укоризненный вперяет Мессалина
В разгульную Готон, и, значит, быть грозе,
И в подлости Дюпен изобличил Созе!

Да, здесь карманщика клеймит громила глухо,
Фальстаф уставил перст Силену прямо в брюхо,
И, на глаза спустив ресниц густую тень,
Стыдливо Ласенер бормочет: «То — Кастень!»

Я созерцаю век — и я имею право:
Страданье — мой удел, а смех — моя забава...
Найдет ли бедная старуха Клио путь,
Чтобы из этого кошмара ускользнуть?
Империю до дна я вижу как воочью,
Когда, не в силах спать, я у окошка ночью
Мечтаю, а вдали сверкает тяжело
Сквозь мглу и океан маяк у Сен-Мало...

Каким безумием весь этот бред измерить?
Да, факт: империя — я не могу поверить! —
Пятью бандитами воскрешена в полдня.
Наполеон-Титан дремал!.. О, западня!..
Прощен отечеством, он спал в покое склепа,
Когда с ножами вдруг, кроваво и свирепо,
Бандиты ринулись, — и сутки шла борьба!
Наполеон-Пигмей родился в ней. Судьба,
Слуга безжалостный святого искупленья,
В кровь палец обмакнув, метнула оскорбленье
Знаменам порванным, лохмотьям прежних слав,
Карикатурой сей могилу запятнав.

И вот — они цветут! Цветут! Окиньте взглядом!
О, срамом вздутая эпоха с голым задом!
Он царствует, фигляр, — под общий смех и глум, —
И шепчет, руку вздев: «*Mentior, ergo sum*»¹.
Дни, месяцы, года идут, а сей флегматик,
Порой вдруг бешеный, сей сумрачный лунатик,
Что прозван Бомбою, царит за годом год,
И преступление с ним об руку идет.
Какое зрелище! Гуляет, вздернув плечи,
Химера мерзкая с фигурой человеческой
Средь бела дня! Кишат на коже у него
Сюэнов скопища, — глядите! — Ничего:
Он шествует нагим, бесстыдным, наглым, темным,
Бароша не прикрыв хотя б листочком скромным!
Макиавелли рад он показать, смеясь,
Своей присяги труп, что им же брошен в грязь.
Он сыплет золотом. Скорей! Давайте шляпу!
Маньян подставил клюв, Тролон распылил лапу.
Все ладно! Подлецы мерзавца чтут главой!
Все чудно! Правильно! Итог всему простой:
Им церковь пленена, им опера объята;
Украл он? С нами бог! Зарезал он? Кантата!

По барину — слуга, по нравам — и закон;
Империя — сплошной блистающий притон;
Презренье хлопает в ладоши: «Браво! Браво!»
Все согласовано: и камень и оправа.

¹ Я лгу, следовательно, я существую (*лат*).

Ну и коллекция! Ну, выбор! Ну, дворец!
Одним Лойола — дед, другим Бабеф — отец.
Нет, ни в Венеции не встретишь, ни в Бергамо
Столь мерзостных личин среди свистков и гама!
Где цель у общества? Кто все права поверг?
Все перевернуто изнанкою наверх.
Отброс презреннейший красуется на троне.
Тряпичники бредут в ночи, среди зловоний,
Крюки нечистые направив на сенат...
Вот власть. Имущие, вот все они подряд,
Что в низости живут, чтоб умереть святошей:
Вот президент палат, префект, министр — под ношей
Дел государственных томящиеся... Кто
Сей побирושка, рвань, любивший Фликото,
Сильнее, чем Шеве, — католик правоверный,
Что жил на чердаке и спал на тряпке скверной,
И целый день строчил, немыв, но горделив,
Дух псины вымокшей вокруг распространив?
Он в государственном теперь сидит совете
За тридцать тысяч в год... Другой вот на примете:
Он был бухгалтером и — жулик или вор? —
Подчистил записи. Теперь он прокурор.
Вон тот — по ярмаркам скитался с обезьяной,
А ныне — депутат. Вот тот — в рубашке рваной
Шатался шесть недель и, на носках войдя
В чужую комнату, снял тихо ключ с гвоздя
И все исподнее похитил из комода;
Описана ли где в сказаниях народа
Столь пламенная страсть до нижнего белья?
Вчера домашний вор, сегодня стал — судья.
Вон те, духовники всей шайки, если надо,
Из папы выдают энциклику для стада.
Вон те, газетчики, хотя бы тем сильны,
Что частным образом с самим Христом дружны;
Когда они твердят, как о своей квартире,
О храме, — я готов им верить: в этом мире
Лишь им одним к лицу жить, праведно постясь,
И вовлекать святых в интимнейшую связь.
Ужиться мог бы ведь с Вейо святой Антоний!..
Вон дальше — генерал, что смотрит благосклонней,
Чем даже капеллан: откормлен он вдвойне.
Тот — плут. У этого сломали на спине

Две дюжины тростей. Взгляните на каналью:
Когда январь нас жжет как бы каленой сталью,
В опорках стоптанных и каблуков лишен,
Он мудро надевал две пары панталон,
Чьи дыры, к счастью, нигде не совпадали;
Теперь в сенате он — как некогда в подвале;
Об этом «некогда» я память сберегу...
То брюхо видите? — Опуль. Тот нос? — Аргу.
Тот поп — он даже здесь покрыт своим позором.
Бежим! История наносит с хладным взором
Ройе — удар бича, Монжи — пинок ногой.
Один плечо потер, погладил зад другой,
И ничего! Живут. Кто может их обидеть?..
И чем? А господин, привыкший ненавидеть
Свободомыслие толпы, трибун, газет,
Совсем не жаждущий себя тащить на свет, —
Доволен может быть; успех сверх ожиданий:
Сияние двора и блеск лакейской драни,
Казалось цезарю, мир ослепят до слез,
Чтоб все смежили взор... Все затыкают нос.

Возьмем-ка Богарне и разглядим под лупой,
Сначала одного, потом со всею трупой.
Добра — ни зернышка, хотя бы напоказ!
Свирепость лишь да грязь; а человек — погас.
То, что мы тупостью душевной называем,
Прекрасно впрок идет презренным негодьям.

Вслед сброду этому тьмы простофиль идут;
Все Трибуле-шуты, все Санчо Пансы тут.
На них любой режим любую кладь навьючит
И всякой пакости сих добряков обучит.
Руфины — в мокрецах, Сеяны — без копыт,
Но как в седле тиран в сенате том сидит.
Там солдафон с судьей гремят одним оркестром:
Тот короля казнил, тот к урне шел с де Местром;
Во всех парламентах у них местечко есть;
Видавшие Мори к Сибуру могут лезть;
Им весело; они смеются трюкам старым,
Башками лысыми тряся по кулуарам;
При дяде подлые, те старики сейчас,
Во дни племянника, гнуснее во сто раз.

Сих мандаринов сонм, что в ноги пал татарам,
Спешит к ним с верностью, с любовью и с катарром,
И смотрит богдыхан, приветливо смеясь,
На одряхлевшую до слабоумья мразь.

Ликует банда! Есть чем ей развлечься ныне.
Союз, где коршуны довольны и гусыни!

Вы, августы, в сенат вносившие порой
Проекты соуса для рыбы отварной;
Ты, с шеей лебеда, властительница Нила;
Ты, Борджа, бредивший там, где вино свалило;
Ты, черных деспотов германских злобный род;
Ты, секший море Ксеркс, и неба враг — Нимрод;
Кайафа, ты, кто сплел венок терновый Правде;
Ты, Мессалины муж и Агриппины, Клавдий;
Ты, Коммод, в сонм богов введенный на земле;
Вы, Родас, Итурбид, Сулук и Ришелье;
Монахи — над умом и словом бич поднятый;
Ты, Инквизиция; вы, Звездные Палаты;
Советы Десяти; суды, где меркнет свет;
Султаны грозные — Мурад, Селим, Ахмет;
Цари из букварей — кого боятся дети,
Князья, и герцоги, и папы всех столетий,
Тираны — сплошь в крови, но боги во плоти, —
Скажите, можно ль грань, предел, рубеж найти,
Где прекращается душевное увечье:
Растление общества и низость человечья?..

И под напев смычков вся банда в пляс пошла!
Бал в думе городской; в сенате бал-гала.
Пляшите, судьи: вам приличен танец шпаги;
Вам — полька, Фульд с Мопы, клейменные бродяги,
И ты, Персиль, чей нос — как гильотинный нож;
Потопай, Домбидо, весь дом кидая в дрожь;
Пляшите, волки; в пляс, шакалы и гиены,
Каких не знал Бюффон, — Делангли и Дюпены;
Медведи Бустрапы, намордники надев,
Вальсируйте — Парье, Бийо, Друэн, Лебеф;
Форе и Леруа, убийцы, гряньте плясом
С Опулем-тыквою, с Мюратом толстомясым!

В Кайенне ж, в Африке, предсмертный хрип стоит;
И «Дюгеклен», понтон, ребятами набит
Десятилетними («злодеев» истребляют), —
И те, завшивлены, в чахотке погибают;
И матери, в слезах, на пышный глядя трон,
Не знают даже, где их мальчик погребен!
И вновь Сансон, палач, к нам выполз из берлоги,
И часто вечером наводят ужас дроги:
Влачатся медленно по грубой мостовой,
И что-то прыгает в корзине кровавой!..
О, дайте, дайте мне бежать на берег моря
И свежий запах волн вдыхать, вдали от горя!..
Смеется Джерси мой, свободный островок;
Стада овец в лугах; цветет веселый дрок;
Шелками белыми на скалы пена плещет;
Порой на дальний холм, где острый ветер хлещет,
Взлетит горячий конь и, гриву распустив,
Под небо ржанием кидает свой призыв!

Джерси, 24 мая 1853

VI

ТЕМ, КТО СПЯТ

Пора вставать! Настало завтра.
Бушует полая вода.
Плевать на их картечь и ядра.
Довольно, граждане, стыда!
Рабочие, наденьте блузы!
Ведь шли на королей французы!
Был Девяносто Третий год!
Разбейте цепь, восстаньте снова!
Ты терпишь карлика дрянного,
С титаном дравшийся народ?

Встать на хозяина и челядь! Побороть их!
Бог все-таки за нас. Попы, конечно, против, —
Лишь бог для нас закон.
Все тлен и суета пред ним, и все остынет.
Пред богом, как щенок, трясется тигр в пустыне
И на море дракон.
Одним лишь веяньем он, будто стаю птичью,
Сметает всех церквей, всех идолов величье
И святость всех икон.

Вам нечем драться? Ладно! Молот
Возьмите в руки или лом!
Там камень мостовой расколот,
Сквозь стену вырублен пролом.
И с криком ярости и с криком
Надежды, в дружестве великом, —

За Францию, за наш Париж!
В последнем бешеном боренье,
Смывая с памяти презренье,
Ты свой порядок водворишь!

Иль надо приводить в пример вам роялистов?
Ведь был же их напор безумен и неистов,

Когда, куда ни глянь,
Давало мужество, пространствами владея,
Двойную мощь рукам. Не правда ли, Вандея?

Не правда ли, Бретань?
Чтоб влезть на бастион, чтоб во дворцы ворваться,
Чтоб дулам пушечным до смерти не сдаваться,
Хоть с кольями восстань!

Но если жизнь в клоаке черной
Еще продлится день иль час,
Не надо вам трубы иль горна,
Я отыщу клеймо для вас,
Трусливых и неблагодарных
Потомков предков легендарных!
Как быстро выродились вы!
Какой знобимы лихорадкой,
Как вы малы! Как это гадко,
Что кроликов рожают львы!

Джерси, сентябрь 1853

О Франция, к тебе, пусть спящей,
Изгнанники, взываем мы!
Есть голос у глубин гремющий,
Чтоб слышать, уши есть у тьмы.

Униженных народов гений
Тираном мужества лишен:
Он за решетку заблуждений
И предрассудков заключен.

Посажен под замок трусливо
Мыслитель смелый и герой;
Но взмахом крыл Идея живо
Разрушит крепких прутьев строй

И вновь свершит полет победный,
Как в девяносто первый год:
Порыв могучей птицы медной
Вмиг бронзу клетки разобьет.

Пусть мрак над миром лег покровом, -
Струит Идея блеск лучей
И заполняет светом новым
Лазурь померкшую ночей.

¹ Луна (лат.).

Маяк, светящий одиноко,
Луч, посланный судьбой, она —
Земли лампада, что высоко
На чистом небе зажжена.

Смиряет смерть и жизнью правит,
Дает страдающим покой;
Она злодеям бездну явит,
Укажет правым путь прямой.

Когда во мгле густой, бескрайной
Она, бессонного мечта,
На горизонте, полном тайной,
Встает, спокойна и чиста, —

Рычат и ненависть, и злоба,
И фанатизм, не зная сна,
Как воеет грязных псов утроба,
Едва появится луна.

Так созерцайте, о народы,
Идею! На ее челе
Уже почиет луч свободы,
Что завтра явит свет земле!

Джерси, июль 1853

VIII ЖЕНЩИНАМ

Какая мразь кругом! Величье сохранили
Лишь женщины... Цветы на стенах кровь прикрыли,
Гремят балы; пускай злодеев грязный рой
Вальсирует. Но вы, о сестры, взор живой
С презреньем шлете им, плечами пожимая;
В усмешке нежных губ — мерзавцам кара злая!
Пускай сверкает фрак расшитый и бандит
В перчатке пятерню когтистую таит,
Пусть галуны горят на треуголке гнусной, —
Смешно вам это все: весь этот блеск безвкусный
И этот новенький — уже червивый — трон.
К вам, женщины, господь был милостивым: он
Лишь чайкам легким дал бесстрашно лгнуть к пучине
И вам, красавицы, предстать как героини.

Величье их теперь и дедов честь в былом —
Вот все, что есть у нас.

Проклятье! Ночь кругом;

Взор сумраки томят всё более густые!
Народ французский, да, народ-пророк, мессия,
Всечеловечьих прав бестрепетный кузнец,
Чьей наковальни гром в мир из конца в конец
Летел, чей горн блистал вулканом звездной пыли;
Народ, развеявший, как прах, зубцы бастилий,
Швырнувший в ярости, став самодержцем вдруг,
Века монархии под медный свой каблук,
Сметавший королей с их грозными полками

Одним дыханием, как дымку над полями;
Пред кем низверглись вмиг, лишь рассердился он,
И Робеспьер-гигант и великан Дантон;
Да, гордый мой народ, народ непобедимый,
Сегодня весь дрожит, как лист, грозой гонимый;
Не смеет пикнуть он, испугом обуян:
Пред ним болтун Тролон и солдафон Маньян!..
Да, это зрелище!.. Нас в кулаке сжимая,
Средь общей нищеты мильоны проедая,
Руэры и Мопы, ночных канав приплод,
Восходят; все молчат... Нас подчинивший сброд,
В Кайенне каторжной предсмертный ад устроив,
Туда, в среду убийц, высоких шлет героев;
Молчат... В понтонах бред; в ответ — хотя бы звук...
Детей гноят в тюрьме в Алжире; тишь вокруг...
Вы плачете? Ну что ж! Но умный — втайне плачет.
Палач, кровавый жнец, в своей телеге скачет
С корзиной полною; хотя бы вздох один...
А он — он царствует, Тиберий-Эдзелин;
Он, сколопендра, счел себя за скорпиона;
Он вешать, как палач хотел бы неуклонно;
В крови измазанный, прелат ему кадит;
Он, цезарь-нетопырь, хвастливо говорит
Царям: «Вот скипетр мой»; шпане: «Вот
преступление».

Он победил; обмыт, приняв благословенье,
С державою в руке, в порфиру облачен,
Войдя в историю, к ядру прикован он
И нам плюет в лицо. И правит!.. Все безгласны...

Лишь вам, о женщины, в чело волною красной
Негодование кидается и стыд,
Волнуя грудь, — и взор сквозь пленку слез горит;
Для деспота у вас презреньем налит кубок,
И коршуны дрожат под клювами голубок!

Изгнанник вдумчивый, я воздаю вам честь!
О да, вы — нежный пол, в котором воля есть
Любить и сострадать, вести борьбу святую,
Спасая Францию, спасая Ветилую.
Геройских можете вы достигать высот,
И там Шарлотта вдруг или Юдифь сверкнет.

На вашей доблести всегда налет печали:
Вы были Порцию, Корнелию нам дали,
Вы были Аррией — с улыбкой под ножом.
Ваш дух пылает тем немеркнувшим огнем,
Что светит нациям, паденья мрак рассеяв,
Что вдохновляет мать героев Маккавеев,
Что Амадиса пыл в грудь Жанны д'Арк струит
И злобным деспотам на их пути грозит,
Преградой стойкою триумфам их и гневу
Святую ставя мать иль благостную деву!

И если вам порой, в видении ночном,
Архангел Михаил с пылающим мечом
Предстанет в небесах, прекрасный и крылатый,
С презренной гидрою, его стопами смятой, —
Нам как Свобода он, как Слава предстает!
Кто ж эту красоту и нежность наречет? .
И сердце говорит, — и есть тому причина, —
Что ангел — женщина скорей, а не мужчина!

Джерси, май 1853

IX НАРОДУ

Безмерный океан с тобою схож, народ!
И кротким может быть и грозным облик вод;
В нем есть величие покоя и движенья;
Его смиряет луч и зыблет дуновение;
Он — то гармония, то хриплый рев и гром;
Чудовища живут в раздолье голубом;
В нем созревает смерч; в нем тайные пучины,
Откуда и смельчак не выплыл ни единый;
На нем как щепочка любой колосс земли;
Как ты — насильников, крушит он корабли;
Как разум над тобой, над ним маяк сверкает;
Он — бог весть почему — то губит, то ласкает;
Его прибой — на слух как будто стук мечей —
Зловещим грохотом звучит во тьме ночей,
И мнится, океан, — как ты, людское море, —
Сегодня зарывав, все разворотит вскоре,
Меча на берег вал, как бы металл меча;
Он Афродите гимн поет, ей вслед плеща;
Его огромный диск, его лазурь густая
Полночных звезд полны, как зеркало блистая;
В нем сила грубая, но нежность в ней сквозит;
Он, расколов утес, травинку пощадит;
Как ты, к вершинам он порою пеной прянет;
Но он, — заметь, народ! — вовеки не обманет
Того, кто с берега, задумчив и пытлив,
Глядит в него и ждет, чтоб начался прилив.

Берег океана, июль 1853

Макбета ведьмы! Эй! Тащите ваш котел!
Я вам для варева Империю обрел;
Берите старую и новую. На мясо
Взять надо толстяка Берже и Эспинаса;
Вздувайте уголья, варите хорошо!
Вот вам Реаль, Мопа, Юллен, Маре, Фрошо;
Святой Наполеон и с ним святой Игнатий,
Фуше попорченный, Тролон, подгнивший кстати.
Откиньте Аустерлиц, прибавьте Сатори —
И, груди разметав, мешайте до зари.
Увидев, как пигмей ползет из великана,
Сумейте выпарить остатки Талейрана;
Пусть дядя вверх идет, и вниз — племянник-вор.
И что ж получится у вас в котле? — Позор!

Джерси, 26 мая 1853

ХІ

ПАРТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

«Друзья и братья! При наличии этого бесчестного правительства, отрицающего всякую мораль и препятствующего всякому социальному прогрессу; при наличии этого правительства, убийцы народа и насильника законов; правительства, которое рождено силой и должно погибнуть от силы; правительства, которое вознесено преступлением и должно быть низвергнуто правом, — француз, достойный имени гражданина, не знает и не хочет знать, есть ли где-нибудь подобие выборов, комедия всеобщего голосования и пародия всенародного опроса; он не спрашивает, есть ли голосующие люди и люди, заставляющие голосовать; есть ли стадо, именуемое сенатом и рассуждающее, и другое стадо, именуемое народом и подчиняющееся; он не спрашивает, действительно ли папа будет короновать у центрального алтаря Собора Парижской богородицы человека, который (не сомневайтесь: это неизбежное будущее) будет прикован палачом к позорному столбу. При наличии г Бонапарта и его правительства гражданин, достойный этого имени, делает и должен делать одно: он заряжает ружье и ждет подходящей минуты.

Джерси, 31 октября 1852».

(Декларация республиканских изгнанников на Джерси по поводу Империи, опубликованная в «Moniteur» и подписанная в оригинале: Виктор Гюго, Фор, Фомберто.)

«Мы всеми силами души клеймим недостойные и преступные манифесты партии преступления».

(Риансе, газета «Union», 22 ноября)

«Партия преступления подымает голову».

(Все бонапартистские газеты хором.)

Итак, правитель сей с когтистой рукой,
Подложный Бонапарт и цезарь накладной,
Бесспорный Богарне, да и Верхюль отчасти,
Тюремщик яростный, предавший папской власти
Республиканский Рим, чтоб распяли его,
Убийца родины и слова своего,

Ничтожный выскочка, слепой судьбы находка,
Под маской гордости прожорливая глотка,
Его высочество, ловкач средь катастроф,
Волк, на кого спустил я стаю гончих строф,
Пират и горлорез, бесстыжий, беспощадный, —
Он триумфальный день в позор окутал смрадный,
Злодейством славу смёл, поверг победу ниц;
Он у истории похитил Аустерлиц;
Бандит, он лаврами свой нож прикрыл заране;
Все им растоптаны — рабочие, крестьяне;
Он грудой мертвых тел — «мятежникам в пример» —
Заставу завалил вблизи Сите-Бержер;
Он саблей грубою рубнул свою присягу,
Убил законы он, стремление ко благу,
Честь, справедливость — все, вплоть до надежд,
убил;

Он кровью Франции святою обагрил
Струи всех наших рек от Сены и до Вара;
Он Лувр себе добыл — не гроб в грязи Кламаара;
Теперь он царствует, и подлая пята
Твоя, о родина, расплющила уста!
Вот что им сделано! Я не приумножаю...
Когда ж разбойника и всех мерзавцев стаю
С негодованием у власти увидав
И жаждая конца насилий и расправ,
Мы кличем, ужаса полны и отвращения:
«Вставайте, граждане! Хватай, народ, каменья!
Прочь саблю гнусную, что даже и не меч!
Пусть вновь сияет День, пусть Право держит
речь!» —

То это, значит, *мы*, кто от ножа бежали,
От лап разбойничьих, — разбойниками стали!
То это *мы* зовем гражданскую резню
И тащим факелы — страшу предать огню!

Так!.. Растоптать закон и властвовать террором;
Быть плутом, циником, лжецом, убийцей, вором;
Мерзавцем будучи, «я — цезарь» бормотать;
И мысль, и жизнь, и вздох давить и удушать;
Заставить пятиться Восемьдесят Девятый;
Затычкой рты заткнуть у прессы и Палаты;

Как зверя, нацию в намордник затянуть;
В казармах царствовать, в альковах нежа грудь;
В бюджете лаз пробить прохвостам восхищенным;
Обречь несчастный люд прожорливым Тролонам,
Затем, что был народ — давно до наших дней —
Добычею дворян и жертвой королей;
Дать на съеденье псам обедак этот львиный;
Себе мильоны взять с улыбкою невинной;
Всем афишировать, что в нем сидит сатрап;
Кутить в открытую в кругу распутных баб;
Героев истязать, на каторгу упрятав;
Изгнать всех честных; жить меж нравственных
кастратов,

Как византийский царь средь евнухов-рабов;
Знать ремесло убийц и трюки шулеров;
Все это — о народ! — и честь и добродетель!..
А если кто-нибудь, всех мерзостей свидетель,
Изгнанник, веруя в закон, сквозь фимиам
Вдруг крикнет деспотам и верным их войскам:
«Вы — угнетение, разбой, неправосудье;
А вы — солдаты их, вы — сабли и орудья;
Земля, покорствуя, лежит у ваших ног;
Мы — пыль ничтожная, а вы — колосс и бог;
Ну что же, вступим в бой, явив свою природу:
Вы — за насилие, а мы — мы за свободу!»
И если, показав понтонов черный флот,
Изгнанник тот опять к народу воззовет:
«Французы! Страшен день бесплодных покаяний
Над прахом праведных, над памятью терзаний!..
Воскресни, Франция! Имперский гроб разбей,
Нерона-паука сорви с груди своей
Прекрасной, хоть в крови! Покинь земное лоно,
Сжимая честный меч и хартию закона!» —
И если этот крик личину со лжеца
Сорвет, и поразит пирата, и в сердца
Проникнет истиной и станет мыслью здоровой,
То мы — преступники!

Ты слышишь, боже правый?
Вот что они твердят перед лицом твоим,
Провидец, для кого прозрачны мрак и дым,
Что перед вечными очами громоздится!
Как! На руках убийц и кровь еще дымитя;

И не успел еще истлеть в кровавых рвах
Сраженных стариков, детей и женщин прах;
Еще в крови Париж; еще порхает в небе
Присяга ложная!.. И вот, среди отребий,
Отбросов общества, какую речь ведут!
О, ропот ярости, упрятанной под спуд!
Вот жирный выкормок, веселый и румяный,
Твердит: «Мешает спать шум этот неустанный;
Все ладно; у купцов утроилась лихва;
На наших женщинах — цветы и кружева!» —
«К чему тут жалобы? — орет второе Некто. —
Бродя бульварами, лоша асфальт проспекта,
На бирже сотни три беру я каждый день;
Деньга рекой течет — глотай, кому не лень!
Три франка десять су гребет простой рабочий —
Ведь это ж рай! Париж кипит с утра до ночи.
А демагогов нет: их выкинули вон;
Тем лучше. Принц меня в восторг приводит: он
Умеет жить, хоть я постиг его не сразу.
Ну, выгнал он глупцов, мятежную заразу, —
Мне что? А мертвые... Мир этим дуракам!..
Пусть умные живут! В какое время нам
Дышалось так легко и были мы так сыты
От поземельного и общего кредита?
Республика еще рычит из тайных нор;
Ужасно!.. Труд, прогресс, права, свобода... Вздор!
Еще вчера я взял изрядный куш на франке.
Я в декламациях не нахожу приманки
И, правду говоря, не вижу в том забот,
Что совесть падает, коль ренты курс растет».

О, мерзостный жаргон! Им говорят и пишут!..
Ну, слушайте же все, кто счастьем так и пышут,
То, что мы скажем вам, но скажем только раз!
Да, мы, гонимые по всем путям сейчас,
Без паспорта в руках, без имени, без дома,
Да, мы, изгнанники, не знавшие надлома,
Не пожелавшие, чтобы дичал народ,
Но и отвергшие заранее эшафот
И репрессалии — когда вернется право;
Мы — те, кого пока поверг Мандрен кровавый,

Мы, чтоб убить позор, свободу воскресить,
Сияньем совести все лица озарить,
Освободить мадьяр, ломбардцев, немцев, римлян,
Над всей Европою, хоть горизонт продымлен,
Вновь мать-Республику взнести как солнце прав;
Дворцы и хижины избавя от расправ,
Дать Братству расцвести, как встарь, цветком
любимым,

Труд сделать правилом и правом нерушимым,
Из гроба каторги открыть страдальцам путь
И в семьи скорбные кормильцев их вернуть
И вырвать, наконец, век и народ великий
Из лап насильника и всей преступной клики, —
Чтоб этого достичь, с пылающей душой
Мы снаряжаемся в тиши и тьме ночной
И объявляем всем, что мы вполне готовы
(Страдания — ничто; заслуга — в жертве новой)
За это жизнь отдать, лишь бог прикажет нам!
Ведь лучше умереть, чем видеть этот срам;
Ведь всех попраг сапог морального уroda:
У нас — нет родины, у вас — взята свобода!

Да, знайте все, кому докучен рокот гроз,
Кто, в жажде золота, по горло влез в навоз,
Что мы не предадим народ на истребленье;
Что будем призывать до смертного мгновенья
На помощь Франции, хрипящей под пятой,
Как предки делали, восстанья взрыв святой!
Мы бога вынудим ударить в мир громами!
Вот наши замыслы. Вот каковы мы сами:
Мы предпочтем, — пусть рок раздавит нас,
резвась, —
Чтоб наша кровь текла, чем прела ваша грязь.

Джерси, ноябрь 1852

Твердят мне: «Берегись!»; советуют серьезно:
«Нерону метя в грудь,
Таись! Нельзя итти, трубой сатиры грозной
Свой возвещая путь.

Припомни Эттенгейм; ловушек бойся; знака
Жди — хоть бы много лет.
Будь как Херея: он пришел под сенью мрака,
Один, переодет.

Лишь осторожность нас хранит от ям и петель,
Лишь тьма нас может скрыть».
Нет! Тем я жалкую оставлю добродетель,
Кто долго жаждет жить.

Джерси, август 1853

ХІІІ
ЮВЕНАЛУ

1

О старый Ювенал! Давай вернемся в школу;
Сойди с Олимпа вниз; дай отдохнуть престолу,
С которого века сатирой ты гремел.
Вокруг нас множество довольно странных дел;
Но стало истиной, коль верить Риансею,
Что, если дни прошли над этой кровью всею,
Прошел годок-другой, то, как ни бормочи
В могилах мертвецы, убитые в ночи, —
Убийство и грабеж не преступление боле.
Вейо, кто дружески прильнул плечом к Лойоле,
Твердит нам, что когда желанный час настал
(Тут нашему уму едва ли ждать похвал),
И ладан в Нотр-Дам торжественно курится,
И на поповские листки подписка длится,
То ясно: отшвырнув поганый саван свой,
На гордый пантеон сменив свой гроб гнилой,
У Фульда заручась обилием кредита,
Умыто судьями, красотками завито,
В кругу апостолов, среди учеников,
Плюя в мечтателей, в поэтов-дураков,
Из коих ни один ему не внял, бедняга, —
На трон взлетело Зло, надев личину Блага.

Оно — порядка столп, религии оплот;
 «Расцветом деловым» оно себя зовет.
 В мундире маршала красуется Измена;
 Перед Успехом гнут епископы колена;
 Преступное в четверг — в субботу славным чтут;
 У куртки-честности давящий ворот рвут;
 Все сказано. Мораль давно уж в детство впала;
 Честь — дура старая, затворница подвала.
 О бронзовый мудрец! Нельзя ль в наш мозг тугой
 Попробовать ввести новейших истин рой?
 Раз в копиях угольных, в трактирах, в лавках тоже,
 Купив за пять, продашь за двадцать и дороже,
 То, значит, западня, нам радость дав сию,
 Чиста и праведна, и — не в пример бабью —
 Злодейство кажется чем старше, тем прекрасней.
 Ворона лебедем становится, как в басне.
 Любой полезный труп нам аромат струит.
 Кто про декабрьскую резню заговорит,
 Когда уже июнь? Все утонуло в травке.
 Теперь вопрос не в том; теперь полны прилавки:
 Шерсть, хлопок, сахар, лен — в цене. А дни летят,
 Измены пакостность и вероломства смрад
 С теченьем времени ослабевать способны,
 А сами действия весьма в делах удобны;
 Убийство ж подлое сменить умеет вмиг
 Обличье призрака на херувимский лик.

3

В такие дни, когда пошла торговля шибко,
 Пойми: добро вредит, а нравственность — ошибка;
 Пойми: когда Сатурн веков сгущает мрак,
 Нерон — в спасителях, в преступниках — Спартак.
 Пусть мысль упрямая бурчит и хмурит брови
 И совесть призраком встает у изголовий,
 Бессильным шопотом проникнуть силась в слух, —
 Никто не слушает брюзжанья двух старух.
 Камнями Сцеволу казнит Нарцисс газетный.
 Пора нам свыкнуться с той лампой многоцветной,

Что под иным углом любой рисует герб, —
Так, что в Делангле вдруг нам видится Мальзерб.
Признаем, что Лебеф велик, Персиль прекрасен.
А стыд — в помойку! Там он будет неопасен.

4

Наличность наших касс — вот истина и честь.
Когда притихло все, к народу станет лезть
Лишь явный сумасброд с протестом запоздалым,
Негодование являя жестом шалым.
Кой чорт! Нам надо жить и улицей дышать;
К чему настойчиво бывшее воскрешать?
Все, что живет, умрет: орлы — червям подобно,
И в снеге хлебный жук найдет покров надгробный;
Трясется Новый мост под натиском реки;
И локти я протер, и в дырах башмаки,
И новой шляпы фетр ужасно скоро мнется;
А истина — гляди! — сидит на дне колодца
С претензией смешной, что вечность ей дана,
Что нипочем ей дождь, что красота прочна,
Что можно без гроша владеть вселенной всею
И смерти избежать, хотя б свернули шею!..
Чушь!.. Граждане! Должны лишь фактам
верить мы!

5

Все это жулики успели вбить в умы
Шпиков и шулеров, мещан и обормотов
И также — умников, что грабят идиотов.
Хохочет биржа. Курс растет, слепя глупцов;
Льет лицемерие потоки мудрых слов.
Прекрасно! Есть барыш; довольны все пройдохи!
Вот это, Ювенал, суть истины эпохи.
Какой-то пономарь средь мусора и луж
Нашел их невзначай, став подметать Монруж;
Теперь они в ходу, — товар весьма хороший, —
И, веком властвуя, лукавцы и святоши
Орут, просвещены сиянием лампад,
Что Мессалина — честь, а Жанна д'Арк — разврат.

Вот что епископы, шаманы и другие
Доказывают всем посредством стройной хрии,
А вор, мой кошелек стянувший на бегу,
Посредством А плюс Б — Барошем плюс Аргу.

6

Учитель! Есть ли тут предмет негодованья,
Причина ярости и цель для бичеванья?
Ведь взор мечтателей, таких, как мы с тобой,
Всегда манил к себе не карлик, а герой;
Я, горестный трибун, и ты, сатирик пылкий,
Лишь ввысь глядим («в эфир» — глупцы твердят
с ухмылкой);

Таков уж наш недуг. Нам неприятен вид
Мещан и подлецов. Плешь Домбидо горит,
Фульд подбородок свой топырит непреклонно, —
Но мне милей Жак Кёр, ты предпочтешь Катона;
Мы лавр отважных чтим; и мудрых ореол
Святым видением для нас навек расцвел;
Мы ослепленный взор в лазурной топим шири
И тратим жизнь, ища в сияющем эфире
Гигантов образы, мыслителей, вождей;
Глядя поверх земли, где власть ночных теней,
Мы, под раскат фанфар, далеких и могучих,
Стремленье колесниц в зажженных видим тучах
И в праздничных лучах — бег золотых квадриг.
И взор задумчивый нам ранят в этот миг
Распутниц жадных рой и жуликов кишенье.

Так. Но подумаем. Проявим снисхождение.
Сердца презренные нам ненавистны. Что ж!
Не тронем их; пускай свою смакуют ложь!

7

Но и действительно, коль это все оставить, —
Мы вправе ли хулить инстинкт и нрав бесславить?
Не должно ли признать природы властный зов?
И грязь найдет себе друзей, и смрад — жрецов;

В болотном городе порокам жить свободно;
Где плохо одному, другому превосходно;
Пусть подтвердит Минос, рассудит пусть Эак, —
Не правда ль: свиньям рай в зловонии клоак?
Касается ли нас, — ответь мне, едкий гений, —
И очень важно ли для наших размышлений,
Что некто, присягнув, убийство совершил,
Что Богарне престол в корыто превратил,
Что церковь вопиет бандиту «аллилуйя»,
Что плату Сент-Арно берет, сапог целуя,
Что буржуа хвалу поют ему, склонясь,
И что желудки есть, которым в пользу грязь?
Как! Франция дрожит, подточена изменой,
А мы дивуемся, в наивности блаженной,
Что желуды Парье под этим дубом жрет;
Нам странным кажется, что Сена все течет,
Нам чудом кажется Тролон с душой Скапена
И дивом, что Дюпен являет нрав Дюпена!

8

Стремленье к мерзостям от века в людях есть.
Позор привычен им, он — их очаг и честь,
Их кров, подушка их, уют постели гретой,
Широкий теплый плащ, поверх одежд надетый.
Позором каждый плут накормлен и согрет.
Так удивляться ль нам, что наш и Новый свет
Почтительно поют осанну негодяям
И что капкан воров глупцами восхваляем?
Ведь здесь природа-мать являет свой закон,
Здесь вековой инстинкт открыто воплощен.
Коль алчный аппетит найдет что-либо вкусным,
То будет каждый зверь доволен делом гнусным.
Да, преступленье — смрад и тупоумье. Так!
Но разве нет скотов — его хвалить? Во мрак
Дыра ведет? Пускай! Иль гадов нет ползучих?
Шакалов нет? И змей бесшумных и гремучих?
Как? Разве лошаки вдруг крылья обрели
И воспарили ввысь, подальше от земли?
Или осел исчез из ряда божьих тварей?
Когда на жеребце, — чье имя слава, — Дарий,

Кир, Цезарь, Ганнибал скакали без седла,
Когда крылатая победа их несла,
Пылавших радостью, по небесам багряным,
Орлы кричали им: «Вы братья и друзья нам!»
Орлы кричали им: «Вы родичи громов!»
Сегодня Ласенер — предмет восторга сов.
Ну что же, правильным все это я считаю
И совам говорю: «Спасибо, одобряю».
В зловещий их концерт и глупость включена.
Пусть, пусть! В своем листке, о Ювенал, одна
Из этих сов, — твердя с бовезскими попами,
Что очень добр Мандрен, — всех честных рвет
когтями,
Героев топчет в грязь и подлецам кадит;
Все очень просто. И — боюсь я — глупый вид
У нас с тобой, когда дивимся мы со вздохом,
Что лавры заменил Вейо чертополохом.



Итак, что совести оставим мы людской?
Лишь лаять и рычать собакою цепной...
Война изгнанникам! И слава плутам чтимым!
Склониться мы должны перед неустрашимым
И уникальный факт Империи признать,
Где Трестальон ведет, став коннетаблем, рать,
Где духовник — Менгра и где электор — Боско.
К чему нам гневаться, коль их духовный тезка,
Софист какой-нибудь, ханжа, ловкач, прелат,
Сенатор, евнух, раб, словесный акробат,
Что с фразы кубарем взлетает, как с трамплина,
Воспевший цезаря, владыку, властелина,
И кроткий дух его, и блеск его ума, —
Плюет на узников, кого сгребла тюрьма,
На сих разбойников, кого сломил Тиберий?
Пойми, что здесь талант проявлен в высшей мере,
Что Генрихам Восьмым не тот фигляр милей,
Кто им хвалы поет в ретивости своей,
А тот, кто нежит слух, терзая в клочья Мора.
Диктаторам умов надоедает скоро
Рев лести грубой, но высокомерью их

Тем лакомее звон изящных арф таких.
Да, таковы, поэт, тираны — непреложно!
Им власть и почести отрадней, если можно
Глядеть, как праведных ведут на эшафот.
Изгнанник, плачущий у грани чуждых вод,
Мудрец истерзанный и мученик хрипящий —
Приправа деспотам к их славе, столь блестящей!..
О лев классический, мой старый Ювенал!
Бокал шампанского, массикского фиал,
Дворцы и празднества средь роскоши всевластной,
Жрецов уступчивость и ласки Фрины страстной,
Цветы, оvationи, венки, триумфы, лесть,
Все упоения, все похоти — не счесть!
Все, что глотал Руфин, пьянили чем Сеяна —
Для тех, кто не дурак, в ком тонкий вкус гурмана,
В той чаше кажется вкуснее во сто крат,
Откуда лишь вчера цикуту пил Сократ!

Джерси, ноябрь 1852

XIV ФЛОРЕАЛЬ

С весной, вернувшейся в зеленом флореале, —
Где смерть нашел Дантон в предателе Реале, —
Когда волнуются конюшня и загон,
Когда ручей лучом в алмазы превращен,
Когда с иголкою в руке вздыхает швейка,
Которую манят лужайка и аллея
Итти цветы собирать; когда у птиц любовь,
Когда все яблони, весну встречая вновь,
Как бы напудрены — маркизы перед балом,
Когда, от спячки встав, Карл Шведский

с Ганнибалом

Твердят: «Пора!» — и мчат, спеша в кровавый бой,
Строй батареей один, строй катапульт другой, —
Я, я кричу: «Привет, о солнце!» Меж цветами
Я слышу зябликов, щебечущих с дроздами:
Все дерево поет. О, май! Как жизнь бурлит!
Уводят Галлы в лес пугливых Ликорид;
Всё блеск; и над людьми, чья дышит грудь
глубоко, —

Лазурь, громадное сияющее око!..
И травянистый луг зовет меня к себе;
Я с жизнью примирен, я все простил судьбе;
Я говорю: «Любить — и большего не надо!»
Во мне, как и вокруг, волненье и отрада.
Я птицам говорю: «Пичуги! Мелочь вы:
Щеглы да снегири; любимцы синевы,
Вы и не знаете меня, наудалую

Порхая по ветвям сквозь зелень молодую
Со стайками друзей — чижей, синиц, зуйков,
Сверкая синью крыл и золотом хохлов;
Хоть и прелестны вы, но глупы: ваше дело —
Лишь петь невесть о чем и реять без предела, —
И все ж мне дарите священный трепет вы!
Когда я слышу вас из солнечной листвы,
Я становлюсь крылат, и сердцем молодею,
И бесконечностью, любовью полн, хмелею!»
И вот иду бродить во власти дум и снов.
Простор! Забвение! Шум листьев! Бычий рев!..
И вдруг — о Ювенал, ты представляешь это? —
В кармане у меня отыщется газета;
Взгляну в нее — и взор, летевший к небесам,
Уткнется в ряд имен, что воплотили срам!
Тут возвращаются и ужас и обида:
Из рощ навстречу мне стремится Немезида —
И яростная грудь сверкает из цветов.

О долг, о Родина! Тут ваш я слышу зов!
Тебе я нужен весь, о Франция! Ты — в ранах
И требуешь от нас терзаний неустанных,
Дыбишь нам волосы, велишь забыть весь мир
И полный скорби взор не в голубой эфир
Вперять, не в небеса, а в кровь твою святую!

Встаю; исчезло все; я дрожь и трепет чую;
Я вижу только мой терзаемый народ,
Злодейства наглые, несчетных бед черед,
Гигантов, мерзкими пигмеями плененных,
Детей в тюремной тьме и женщин на понтонах,
Сенат и каторгу, убитых, палача...
И вот — бегу, цветы поблекшие топча,
И солнцу говорю, горящему в зените:
«Мне сумрак надобен!» — и птицам: «Замолчите!»
И плачу! И крылом неукротимый стих
В мой мрачный хлещет лоб, слетая с губ моих.

И нет уже весны! Прочь, небо голубое!
О скопище убийц, ведомое тобою —
Сынком Гортензии, — вдвойне проклятье вам
За то, что льнете вы к поэтам, к их мечтам!

Проклятье вам, Тролон, Маньян и Фульд с Фостеном
Вторым, за то, что вы кортежем, сплошь

презренным,

За грустным мудрецом влачитесь по полям,

Обличья гнусные являя здесь и там!

Проклятье палачам, что день мрачат безмолвный

И множат ненависть в душе, любовью полной!

Джерси, 28 мая 1853,

XV
STELLA¹

Однажды задремал я на песке прибрежном.
Бриз разбудил меня своим дыханьем нежным,
И я открыл глаза. Высокая звезда
Сияла надо мной, лучиста и горда,
В белесых сумерках, очарованья полных.
Вдаль ветер убежал, разглаживая волны.
Край тучки розовой лучами был согрет —
И это был живой и полный мысли свет.
Он согревал утес, прибой встречавший смело,
И мнилось, что душа видна сквозь жемчуг белый.
Ночь не ушла еще, но и во тьме горя,
Полнеба обняла улыбкою заря.
На мачте огонек светился, как стеклярус;
Был черным весь корабль, и чистым, белым —
парус.

А чайки, на скалу спускаясь чередой,
Следили за легко всходящею звездой —
Небесной птицею, сверкающею странно.
Душа подобного народу океана,
Рычавшего внизу, к ней свой стремил путь,
Дыханье затаив, боясь ее спугнуть.
Великая любовь пространство наполняла,
Трава у ног моих в смятении дрожала,
Был слышен щебет птиц, и, счастья не тая,
Цветок мне прошептал: «Она — сестра моя!»

¹ Звезда (лат.).

В тот миг, когда заря с остатком тьмы боролась,
Я и самой звезды услышал ясный голос:
«Да, я — звезда, чей свет встает к началу дня
И очи жжет тому, кто хоронил меня.
Я видела Синай, всходила над Тайгетом,
Я — чистый изумруд, налитый дивным светом,
В повязке золотой у ночи на челе.
Рождаюсь я тогда, когда весь мир во мгле.
О нации! Я вам Поэзией сияю.
За мной шел Моисей, вела я Данте к Раю.
Лев старый, океан, всегда в меня влюблен.
Вставайте же смелей! Пред вами день зажжен.
Сердца отважные! Мыслители! На башни!
Пускай ваш взор горит! Глядите ввысь
бесстрашной!
Земля, расти хлеба! Жизнь, поднимись волной!
Вставайте, спящие! То, что идет за мной,
То, что зажгло меня предвестницей рассвета, —
Свободы ясный лик, великий гений Света!»

Джерси, 31 августа 1853

XVI

ТРИ ЛОШАДИ

Три лошади, к стене привязаны одной,
Болтали.

Первая — конь с мраморной спиной —
Ценою тысяч в сто, как фаворит Эпсома,
Вскричала: «*Sum qui sum*»¹ (латынь скотам
знакома)

И сбруей золотой бахвалилась. Сто раз
Ей руки белые ласкали ног атлас,
И чуяла она, как женский взор влюбленный
К ней, чистокровной, льнет с трибуны ослепленной.
Зато и собственник имел доход большой.

Коня военного узнали бы в другой:
Лошадка-чудище, железная скотина,
Что «скакуном лихим» зовется у Расина,
Дыбясь, узду рвала, от радости пьяна,
Двойною гордостью — от глупости — полна.
На чепраке — шитье: «Ульм, Эсслинг, Лоди, Иена».
В ней чванство было то, которому презренно
Все непонятное и чуждое. Седло,
Сплошь изукрашено, звенело тяжело:
Она плясала вся, как бы рожок почуя.

А третья — лошадыю была крестьянской. Сбруя
Веревочная сплошь — убогий туалет!

¹ «Я — таков». (лат.)

Одер измученный... Казалось, то скелет,
Еще обтянутый иззябнувшею кожей
И на живую тварь поэтому похожий.

Конь первый, чемпион, типичнейший болван,
Сказал:

«Здесь — папа, там — барон де Брисс,
гурман;

Для брюха врач — Бребан, для духа врач — Лойола;
Благословляться, пить и кушать — три глагола:
Их проповедует хозяин мой; он прав;
Но я, царь скачек, все ж не погрешу, сказав,
Что украшение для дерби — рой кокоток.
Народу нужен бог и пастырь с плетью четок;
Нам — стойла с бархатом, а для людей — Завет,
Чтобы не слушали, чорт их дери, газет!
Ценнее Жокей-клуб, чем сатанинский разум.
Без церкви общество должно погибнуть разом.
Не будь я лошадьё, монахом стал бы я!»

«Мне сена б и овса поесть — мечта моя, —
Вздохнула грустная мужицкая коняга. —
Я день и ночь тружусь, хозяину на благо,
Но, — спину видите и ребра? — бьют меня,
Почти как негра бьют, двуногого коня.
Счесть легче птиц в лесу, чем все кнуты, какие
На мой крестец легли и на бока худые.
Хочу я пить и есть. Я зябну. Я добра,
Но столь несчастна!»

Так звучала речь одра.

Тут боевой скакун заржал, грызя попону,
Как верноподданный: «Ура Наполеону!»

XVII

ОДОБРЕНИЕ

О Франция!.. Пока внизу, во тьме, хрипят,
Рыдают, мучатся, ты услаждаешь взгляд:
Вот блеск Империи, звенящей стремениами,
Султаны гвардии, слепительной как пламя,
Двор, где король бродяг себе нашел бы трон,
Храм биржи, где сгребешь в неделю миллион,
Венками юных дев обвитые солдаты,
Лакеев тысячи — все судьи, все аббаты
С их пляской мертвецов на золотых мешках;
Вот банк, пред саблею простершийся во прах,
Вот арсеналов мрак с их грудями снарядов,
Вот проповедей мед взамен газетных ядов;
Сенат и маршалы с их золотым шитьем;
Париж расчищенный; карет надменный гром,
Что к Лувру катятся с упряжкой восьмерною;
Дневные празднества, балы порой ночью;
Спектакли, игрища, иллюминаций вязь...
Ты — коротко сказать — бандиту продалась!

Что сохранила ты от прошлых достижений?
Французы прежние — как древних римлян тени:
О них мечтает лишь, стыдом пылая, внук.
Мир славу чтит твою, вставал на грозный звук
Твоих рожков — и он потребует отчета;
Тебе ж на цезаря таращиться охота
В кругу его Сенек — бесчисленных Ромье;
Ты счастлива внимать епископской семье,

Орущей: «*Salvum fac imperatorem nostrum!*»¹
Покуда спит Нерон в своем гареме пестром
(И, верно, помянуть здесь надлежит шута!),
Твоя душа — как пес, отведавший хлыста;
Твой День Бастилии — под каблуком нахала,
Над кем еще вчера Европа хохотала;
Ты подвиги свои сама втоптала в прах,
И песнь Марсельская мертва в тупых губах,
И Поле Марсово — удел вора карманным,
Твоим властителям — Фортулям и Маньянам,
Убийцам, чей плюмаж блистателен сверх мер,
Средь коих — Карреле и Канробер Макер.
Ты вся теперь — ничто: да, это факт бесспорный;
Успела ты забыть в покорности позорной,
Отцов, Бастилию сумевших разметать.
По воскресеньям ты в Куртиль спешишь — гулять;
Смеешься, пляшешь, пьешь, не устыдясь нисколько,
Как девка пьяная в объятиях капрала.
Его пощечинам ты утерjala счет.
Идя назад, бульвар пересекая тот,
Где бойня столько дрог наполнила телами,
Где женщин, и детей, и стариков рядами
Пальба внезапная свалила возле стен, —
Ты свищешь «Тюрлюрет», поешь «Фаридонден»!

Что ж, падай, продолжай... Я одобряю это:
Ведь самый черный мрак — предшественник
рассвета;

Ведь возрождение — твой, о Франция, закон;
Ведь будет же твой стыд стократно искуплен!
Грядущему нужны гигантские усилия.
Ты, знавшая побед сверкающие крылья,
В повозку пьяного сатрапа впряжена.
Что ж, пусть: ты к чудесам теперь присуждена.
Мир в некий день тебя увидит вновь крылатой:
С твоим падением ты счет сведешь отплатой,
О Родина моя! Из пропасти твоей
Ты выйдешь, изменясь — и во сто раз светлей!
Да! Жизнь идет вперед, и мы увидим вскоре
Луч *Завтра* гордого в сегодняшнем позоре,

¹ «Храни нашего императора» (лат.).

И, жрица гневная, ты, ниспровергнув гнет,
За каждый шаг назад шагнешь сто раз вперед!
Что ж, пяться, погрязай и падай, — одобряю!
Льсти повелителю, ласкай лакеев стаю!
В грязь, в грязь! Тролон? — Целуй! Барош? —
Сапог лижи!

Ведь близок день: зарей зардеют рубежи;
Ведь распрямишься ты, о мой народ согбенный,
И, точно ягуар, в ловушку заманенный,
В борьбе отчаянной, твоих падений ров
Ты мерой изберешь для высоты прыжков!

Я рад, я верю, — да! Но знаю: мир потратит
Немало времени, пока ты рывкнешь: «Хватит!»
В тебя, как в решето, бесследно все течет,
Но грозным в некий день проснешься ты, народ,
И всем предстанешь вдруг — преображенный,
стойкий.

Ты из Империи — болота и помойки —
Блестящим вырвешься и, липкий сбросив ил,
Все в мире озаришь размахом мощных крыл!
И свалятся, звеня, короны с властелинов;
И папа, крест сорвав, тиару в страхе скинув,
Как волк, под кафедру забьется, весь дрожа;
Фемида гнусная, сподвижница ножа,
В ночь канет, в ужасе, чудовищем кровавым.
Глаза сиянием зажгутся величавым,
Рукоплескания до полюсов плеснут,
Все угнетенные отрадно вьюк стяхнут,
Победу ощутят и жизнь приветят хором, —
Лишь ты развеи твой стыд по всем земным
просторам!

Джерси, сентябрь 1853

Книга седьмая

«СПАСИТЕЛИ СПАСУТСЯ»

I

* * *

Гремите ночь и день, о трубы мысли гневной!

Когда Иус Навин, мечтатель, в зной полдневный
Вкруг вражьей крепости народ свой вел, пророк,
Ему предшествовал трубящий грозно рог.

Раз обошли, и царь согнул от смеха спину;

Еще обход, и он велел сказать Навину:

«Ты, что же, думаешь мой город ветром сдуть?»

При третьем шествии возглавил трудный путь

И трубам и бойцам святой ковчег Завета, —

И дети малые сошлись плевать на это,

В свистульки детские насмешливо свистя.

К четвертому — пришли, уборами блестя,

И сели женщины меж древними зубцами,

Крутя веретено проворными руками,

Швыряя камешки в Ароновых сынов.

На пятом шествии со стен раздался рев

Безногих и слепых, желавших рог упорный

Послушать со стены, с ее громады черной.

Шестой замкнулся круг, и на крутой гранит

Столпа дозорного, что с громом говорит

И гнезда орлии таит среди карнизов,

Царь вышел, хохоча, и кинул сверху вызов:

«Еврей, вижу я, лихие трубачи!»

И старцы вкруг него смеялись, как сычи:

Вчера трусливые, они спокойны ныне.

Седьмой сомкнулся круг — и рухнули твердыни.

Джерси, 19 марта 1853

II НА ПОПЯТНЫЙ

1

Твердил я: «У солдат весьма понурый вид.
Зачем их держит он в загоне?
Французам порох люб: когда рожок звучит,
Страна поет и бьет в ладони.
Убийство можно скрыть порфиною войны.
«Quos ego! ¹» — повелитель крикнет,
И из его злодейств, из черной глубины,
Маренго новое возникнет.
Что ж, — пусть он славы клок своим бойцам
швырнет,
Его изменою клейменным;
Пусть победителем со свитой он пройдет
Перед наместником Тролоном;
Пусть, от истории ошейник пряча свой,
Он позолоты кинет блики
На дышло старое у колесницы той,
Где вез победу вождь великий.
Он станет цезарем, перешагнет за грань,
Размечет ветхих царств обломки,
Затем спокойную внесет над миром длань,
Сжав молнию — в замену «фомки».
Порядка старого машину сломит он;
Добьется он побед и чести.

¹ Я вас! (лат.).

Вот Лоу, Ростопчин, вот Блюхер, Веллингтон, —
О, сколько поводов для мести!
Удобным случаям нет счета в наши дни,
И мига ждет он неуклонно:
Нельзя ж торчать в грязи, нельзя коснеть в тени,
Бойцов имея полмилльона.
Нельзя ж оставить им их каторжный урок:
Им подвиг нужен, воздух далей;
Для своры воинской необходим паек
Военных сводок и медалей.
Его бойцы, как псы (декабрьская печать
На них еще паршой гноится),
Не могут же вовек бульвар Монмартр глодать
За неимением Аустерлица!»

2

Вздор! Замечтался я. И нет иллюзий вдруг.
О, слава!.. Сон пустой и краткий...
Империя сдержать не может свой испуг
И отступает в беспорядке.
Солдаты! Ваш Суфлар мир укреплять готов,
Штыки Мандрену не по вкусу.
О, кара! За него убили вы отцов,
Бойцы! Вы покорились трусу!
Ваш лавр он погубил, — презренный негодяй,
В чьем сердце грязь и медь смешались.
Дрожите! Русский царь явился на Дунай,
А вы за Рейн не устремились!

3

О, бедные бойцы, в чьих взорах меркнет свет,
О, дети Франции распятой!
Прощай, шатры! Прощай, бивак! Надежды нет!
Всему, всему конец, солдаты!
Увы! В сражениях вам не отмыть огнем
Кровь преступления с ладоней;
Оно для нас капкан, для вас же — бездна в нем!
Что делать! Ведь Картуш на троне.

Да, с Декабрем вовек не разорвете вы —
Орда позором заклеянных!
Храните ж на руках, на шпагах и — увы! —
На гордых некогда знаменах
Ту грязь, что ужасом висит у вас в семье,
Что умилила бы дракона,
Но устыдила бы, застыв на их тряпье,
Всех живодеров Монфокона!
Храните ж грязь и кровь, храните скорбь и стыд:
Ваш вождь — трусливее старухи —
Велел вам пятиться; и пусть лицо горит
От иностранной оплеухи!
По росту своему пигмей принизил вас;
Смел в кражах он, не тигр — гиена.
Прощай, величье битв, победы славный час!
Прощай, Ваграм! Прощай, Иена!
Клей грязи облепил вам крылья, и рука
Убийства управляет вами.
Конец! Отныне вам передник мясника
Нести как воинское знамя!
Не быть вам Армией Великою, не вам
Под гордым знаменем трехцветным
Впивать сраженья дым, внимать его громам
И после — кликам жен приветным;
Не вам триумф колонн и арок, где встают
Героев тени, вас достойней;
Увы! Довольствуйтесь попами, что дерут
Те Деум свой на скотобойне!
Пальм искупительных вам не добыть в полях
В замену пальмам, встарь добытым,
И не видать вовек на ваших скакунах,
Как слава гриву золотит им!

4

Итак, неначатой поэма отцвела!
У Ганнибала нервы сдали.
Европа дикий свист, ликуя, подняла
При столь внушительном скандале.
Итак, племянничек удрал сквозь черный ход!
Итак, храбрец наш и рубака,

Усач воинственный, чей разверзался рот
И хвастовством гремел из мрака,
Наш цезарь, на кого лакеи по утрам
Наряд военный надевают,
Галунный людоед, чье низколобье нам
Султаны пышные скрывают,
Убийца, кто умел, осанной окружен,
Казаться всех невозмутимей,
Играя — весь в крови из стоков Тикетонн —
Вождя Иены в пантомиме,
Герой, повергший всех иезуитов ниц,
Умом кичившийся пред нами,
Явил Истории свой нос — мишень яиц —
И глаз, подбитый медяками!
И армия, — увы, обманутая им, —
Глядит понуро и угрюмо,
Как за кулисы он бежит, презренный мим,
Средь хохота, свистков и глума!
Фигляр отхлестанный дивил талантом мир,
Злодейства совершать умея,
Но Фридланд не по нем, видать, и Абукир:
По нем лишь ночь Варфоломея.
С него, столь гордого, тупой казак сорвал
Сюртук, расшитый «под гусара»,
И русскому ослу зеленый цезарь стал
Едой... Ура! Греми, фанфара!
Базиля-хвастуна трясет озноб, увы!
И Аграманта резь скрутила;
И уши заячьи у волка с головы
Свисают жалко и уныло.
Бахвал трепещущий в нору свою ползет;
Сверкнуть клинком боится ратник;
Фанфара умерла, чуть заикнувшись; флот
Вернулся в порт, орел — в курятник!

5

И все воители, сверканьем эполет
Слепя в дворцах и замках взгляды,
Твердят: «Нам Франции довольно на обед;
К чему нам грубые снаряды?»

Форей бежит, крича: «Полегче, государь!»

Рейбель бубнит: «О, силы ада!

Притихнем! Гвардию, как слышно, двинул царь,

И нам шутить с огнем не надо». —

«Сидите дома, сир! — им вторит Эспинас. —

Ведь русские — народ престогай!»

И Леруа: «Декабрь вполне прославил вас,

О принц! В тепле держите ноги!»

Маньян советует: «О цезарь! Пей, люби!..»

Мечта мечтой осталась вздорной.

И слышу, — о печаль! — как там, во тьме, в глуби

Лев Ватерло смеется черный!

Джерси, июнь 1853

III

ЧЕРНЫЙ СТРЕЛОК

Кто ты, охотник? Мерцают зарницы,
С криком зловещие носятся птицы,
Ветер жесток.
Тот я, кто в сумраке ночи таится, —
Черный стрелок.

В лесу листы качаются со свистом,
Как будто духов зла,
Застигнутых на празднике нечистом,
Укрыла ночи мгла.
На небесах, под облаком волнистым,
Луна свой луч зажгла.

Целься в косулю! Смеркается рано,
Скоро вечерняя дымка тумана
Скроет лесок.
Целься в монархию, целься в тирана,
Черный стрелок!

В лесу листы...

Видишь оленя у глыбы гранита?
Целься, охотник, а после труби ты
В звонкий свой рог.
Целься в священника-иезуита,
Черный стрелок!

В лесу листы...

Молния рвет глубину небосклона.
Нет, не добраться до рощи зеленой,
Лис изнемог.

Целься смелее в судью и шпиона,
Черный стрелок!

В лесу листы...

Яростных призраков рой бесноватый
Встретишь бесстрашно ты, гневом объятый,
Грозный, как рок.

Целься же, целься в монаха, в аббата,
Черный стрелок!

В лесу листы...

Мчатся собаки, в их лае — тревога,
Близко, должно быть, медвежья берлога,
Враг недалек.

Целься же в папу — наместника бога,
Черный стрелок!

В лесу листы...

Медленно волк убегает, слабей.
Свора безумствует. Целься скорее,
Сбей его с ног!

Целься, стреляй в Бонапарта-злодея,
Черный стрелок!

В лесу листы проносятся со свистом,
Как будто духи зла,
Застигнуты на празднике нечистом,
Бегут... Редееет мгла,
Поет петух. Под облаком волнистым
Заря костер зажгла.

Сердце открылось прекрасной надежде, —
Скоро ты станешь могучей, как прежде,
Близится срок, —

Франция в белой, лучистой одежде,
Черный стрелок!

Джерси, сентябрь 1853

Вот люк. Вот лестница. Скорей сходите, гости,
Покуда, хохоча, играет стража в кости,
Негодование презрев седых матрон;
Пусть вопль глашатая летит со всех сторон,
Что хвалит качества нумида или дака;
Пускай крылатая идет в лавчонках драка
Этрусских зеленщиц и римских гончаров,
Кидающих рой весьма соленых слов;
Сходите.

Видите: таинственные своды,
Заиленный провал, лукавые проходы,
Где из гнилых щелей, тревожа липкий тлен,
Скользят тарантулы вдоль прокаженных стен.
Ужасные места!

Над этим клейким сводом
Сияют небеса, и полон цирк народом,
И грохот колесниц о грудь сабинских плит
С другими шумами, с ветрами, с громом слит.
Толпой веселою гудит священный форум;
Суда в Остийский порт вошли, дыша простором;
Строй арок искрится; на камне межевом
Волчата дивные, Рем с Ромулом, вдвоем,
Прильнули, жадные, к сосцам волчицы медной;
Неподалеку Тибр волною плещет бледной;
Коровы рыжие туда приходят пить,
И падает с их губ серебряная нить.

А гнусному везде дорога подземелью;
Порой отдушины мелькают смрадной щелью
У ног прохожего, маня к себе свиней;
Рекой вздувается клоака в дни дождей;
Сверкает в полдень люк, заделанный решеткой,
И брусья грубые ложатся тенью четкой,
И с зеброй схожею становится стена,
А дальше снова мрак, миазмы, тишина.
Как в бойне, грунт порой блестит кроваво-красный:
Здесь камни облиты испариной ужасной.
Здесь мрак, чума и ночь вершат свои дела,
Здесь крыса на бегу крота толкает; мгла
Дает приют ужам, скользящим молнией черной;
Лохмотья, черепки, подгнивший столб опорный;
Чертою радужный улиток жирных слизь;
Вот сети пауков вдоль балок обвились;
Вот луж таинственных мерцающие взгляды,
Где, вялые, кишат неведомые гады,
Во тьме и плесени всечасно копошась, —
Как будто древних гидр там укрывает грязь.
На них охотятся хрустящие медведки.
Блестя чешуйками, мох розовый и редкий
Как бы мозаикой сквозь черный ил пророс;
Зловонья здешнего и стоик бы не снес;
Чумными язвами зеленый пол зияет;
Мышей летучих рой средь сумрака летает,
Подобно голубям, что реют меж цветов;
И мнится: в темноте извилистых ходов
Мегеры Атропос витает ропот слабый...
Порой скользит нога на дряблом теле жабы;
Порою лестницы зловещая ступень
Вдруг обрывается куда-то в пропасть, в тень.
Все липко, смрадно, все бесформенно, отвратно...
Застенок, свалка, склеп, отстиранные пятна,
Духи прогорклые персидских пузырьков,
Все омовения пред ликами богов,
Тазы нечистые усталых куртизанок,
Кровь гладиаторов, рабов и христианок,
Убийства, оргии, где страсть забыла стыд,
Котлы пролитые колдующих Канид,
Харчевен выплески, Тримальхиона рвота —
Вся мерзость римская, которой нету счета,

Вся мировая грязь сюда за годом год
Стекает каплями сквозь ноздреватый свод.
Там, наверху, — живут, багрят уста кармином,
Играя чашами, венчают лоб жасмином;
Народ, в цветы укрыв карбункул роковой,
Поет. Ну, а сюда из язвы каплет гной.
Да, здесь, меж нечистот, в клоаке этой дикой
Весь Рим, великий Рим, с его судьбой великой —
Державный, низменный, страдающий подчас —
В бездонном гноище, сам гнилью став, погряз...
Огромное *Ничто* здесь назначает встречи —
В притоне мерзостном. Старуха, горбя плечи,
Дрожа и жалуясь, нечистый свой мешок
Опорожняет здесь, — и царства рушит рок!
Постыдным ужасом она полна — трущоба:
Отбросы гнусные жилища, града, гроба —
Все сверху падает в презренный этот сток.
А в глубине, во тьме, где пролететь не мог
Ни луч полуденный, ни ветра свежий трепет, —
Из тлена черного ночь новый ужас лепит;
Глаза и челюсти, желудки, позвонки,
Скелеты трухлые и кожи лоскутки —
Сплошную кучею. Гляди с тоской и страхом
На то, что было жизнь, и стало тленным прахом,
И грязью жадною почти поглощено.
Обличья различить в лохмотьях не дано:
И падаль взбухшая — скажите мне, живые:
Псы ль околевшие иль цезари гнилые?

Джерси, 30 апреля 1853

В июне съездил я в Брюссель. Мне говорят:
«А знаете ли вы, что натворил пират?»
Свершил убийство он, но по суду, прилично:
С Шарле на площади прикончены публично
Сирас и Кюизинье несчастные... Злодей
Их сам обрек на казнь, их сам рукой своей
В ремни увязывал на роковой «качалке»...
О, цезарь! О, герой! О, победитель жалкий,
Ночной спасатель!.. Бог из недр земли извлек
Пшеницу, и лозу, и светлых вод поток,
Плоды румяные, цветы, где гуд пчелиный,
И дуб, и лавр. А ты — радатель гильотины.

Да, принц! Любой из тех, чей вотум ты стяжал,
С тобой бы встретиться в лесу не рисковал!

Лоб у меня горел... Пошел я в город. Тьмою
Он залит был, дышал гражданскою войною;
В прохожих — призраков ужасных видел я;
Бежал я в мирные, сплошь в золоте, поля.
О, взрыв душевной тьмы в ответ на преступленье!
Природа не могла мне дать успокоенья;
Даль, воздух, зелень — все томило дух. Я знал,
Что в этом мире жив убийца, — и дрожал.
Неуспокоенный, прошел я больше мили —
И тени вечера в лазурь печально всплыли;

Как саван трепетный, вокруг сгущалась мгла.
И вот настала ночь, и вот луна возшла
Кровавая, и в тьму, как в траур, облачилась,
И в небе — головой отрубленной катилась.

Джерси, май 1853

Его величие блистало
 Пятнадцать лет;
 Его победа поднимала
 На свой лафет;
 Сверкал в его глубоком взгляде
 Рок королей.
 Ты ж обезьяной скачешь сзади,
 Пигмей, пигмей!

Наполеон, спокойно-бледный,
 Сам в битву шел;
 За ним сквозь канонаду медный
 Летел орел;
 И он ступил на мост Аркольский
 Пятой своей.
 Вот деньги — грабь их лапой скользкой,
 Пигмей, пигмей!

Столицы с ним от страсти млели;
 Рукой побед
 Он разрывал их цитадели —
 Как бы корсет.
 Сдались его веселой силе
 Сто крепостей!
 А у тебя лишь девки были,
 Пигмей, пигмей!

Он шел, таинственный прохожий,
Сквозь гул времен,
Держа и гром, и лавр, и вожжи
Земных племен.
Он пьян был небывалой славой
Под звон мечей.
Вот кровь: смочи твой рот кровавый,
Пигмей, пигмей!

Когда он пал и отдал миру
Былой покой,
Сам океан в его порфиру
Плеснул волной,
И он исчез, как дух громадный
Среди зыбей.
А ты в грязи утонешь смрадной,
Пигмей, пигмей!

Джерси, сентябрь 1853

(На мелодию Бетховена)

Кто, ободряя,
Радость вселяя,
Гневом страша,
Сходит к нам в дни унижений?
Все на колени!
Это — народа душа,
Франции гений!

О дух, ты взмахом крыл
В нас гордость воскресил
И честь из тьмы могил
Освободил.
И, побеждая страх,
Любовь горит в сердцах,
И песням зазвучать
Дано опять.

То — ангел света,
Символ расцвета,
Он — торжество
Истины в строгом обличье,
Он — враг двуличья.
Франция имя его,
Или — Величье.

¹ Родина (лат.).

О дух, когда мечи
Подъемлют палачи,
Для нас твои лучи
Горят в ночи.
Ты нас зовешь: «Вперед,
К оружию, народ!»
И смело за тобой
Идем мы в бой.

То — ангел мрака;
Бойся же знака,
Деспот, сего:
Он — роковое созвездье,
Кары предвестье.
Франция имя его,
Или — Возмездье.

О дух, ты длань простер,
И рухнул наш позор;
В сияющий простор
Зовет твой взор.
Уничтожаешь след
Ты наших черных лет,
Закрыл ты створы врат,
Ведущих в ад.

То — ангел бога,
К счастью дорога
Мира всего;
Он — упование народа,
Вестник восхода.
Франция имя его,
Или — Свобода!

Джерси, сентябрь 1853

По всей земле, среди песков, среди саванн,
Друг с другом связаны в единый караван,
Делясь раздумьями, богатством мысли правой,
С собою уводя законы, факты, нравы,
Ведут мыслители поход извечный свой.
Те — знамя взяли в путь, а те — ковчег святой.
Паломничество то — Прогресс. Они порою,
Устав, задержатся; стоят, полны мечтою,
И вновь идут. Вперед! Их братский переклик
Им помогает. Даль сменяет каждый миг
Нагорья и хребты, равнины, доли, реки.
Им шествовать всегда; им не дойти вовеки.
У них проводники на каждый перегон:
Едва ушел Ян Гус, — он Лютером сменен;
Нет Лютера, — Вольтер священный факел взденет;
Вольтера Мирабо стремительный заменит...
Они исследуют простор чужой земли,
И с каждым шагом их редет мгла вдали.
Не сводят глаз они, хотя бы на мгновенье,
С далеких рубежей их страстного стремленья,
Где точкой огненной означен их приют:
Там Братство общее, всемирный Мир и Труд,
Свобода светлая, чей храм стоит от века,
Великий Идеал, всечеловечья Мекка!..

В них вера тем сильней, чем дольше длится путь.
Но все же иногда им надо отдохнуть:
Усталость настает, и день в туманах тонет,
И столько пройдено, что в сон невольно клонит.
И в эти миги Зло, любую форму взяв, —
То птица хищная, то гад, вампир, удав,
Мрак суеверия, химера, ложь слепая, —
И с ним Прошедшее, скитальцев догоняя,
Добычу видя в них, что ускользнула вдруг,
Летят к их лагерю, и ползают вокруг,
И — порожденья тьмы, небытия созданья —
Стремятся вновь схватить свободные сознанья.

2

День меркнет. Некий холм бесплодный на пути.
Кругом бескрайняя пустыня. Не найти
Ни деревца на ней, ни травки, ни утеса;
Лишь мертвый горизонт виднеется с откоса.
Чауши ловкие при свете первых звезд
На колья вбитые натягивают холст;
Палатки мирные кольцом костров хранимы;
Ночь! Слава господу! Усните, пилигримы!

Нет! Бодрствуйте! Кругом иная жизнь идет.
Вниманье! Встаньте все, слух напрягите! Вот
Зодиакальный свет овеял дол песчаный —
И разом филины, шакалы, павианы,
Куницы, и хорьки, и стаи черных крыс,
Что ночью жрут в шатрах у бедуинов рис,
Гиена гнусная с походкою нелепой,
Тигр с плоским черепом, восторженно-свирепый,
В ком ни один инстинкт не воспринял лучей,
Все птицы жадные, все хищники ночей,
Встречая свет костров рычаньем, визгом, воем,
Куда ни глянь, из тьмы пошли сплоченным строем.
Толпой, разбойники природы, все они
Добычи жажда, блуждают здесь, в тени.
Костры отражены — гляди! — в глазах пантеры.
Кишеньке жуткое! Пронзая сумрак серый,
Зрачки огнистые блестят со всех сторон.

Восходит жуткий вой в пустынный небосклон.
От камней, от песков, из ям, из водомоин
Струится дикий шум, прерывист и нестроен.
Ведь если человек проникнет в тишь пустынь,
Всегда, — лишь сумраком нальется неба синь
И лишь вселенная начнет концерт согласный, —
Вся тварь пустынных недр, весь этот род ужасный,
Ползя и прыгая под куполом ночным,
Встречает пришлеца потоком звуковым.
Зловещий гомон! Хор созданий кровожадных,
Добычи ищущих, — ничтожных и громадных!
Визг, лай, мяуканье, стенанье, хохот, рев —
И путник в ужасе глядит в ночной покров,
К пророку иль Христу о помощи взывая.

И вдруг смолкает все, вмиг тишина немая.

Гам прекращается безумный; стон и хрип
Стихают — точно тот, кто смерти ждал, погиб.
И кажется: сам бог по благости небесной
Внезапно удалил, изгнал из тьмы окрестной
Шакалов, обезьян, пантер и хищных птиц —
Всю мерзостную тварь, что средь земных границ
Подобна демонам в потустороннем мире.
Безмолвье.

Даль нема; молчат нагие шири.

Глазам — просторы лишь бескрайние видны.

Вдруг из глухих глубин утруемой тишины,
Крепчая и растя, вздымаясь в купол звездный,
Родится тяжкий рык, раскатистый и грозный.

Лев!

В

Он является внезапно — властелин,
Суровый рыжий царь таинственных равнин!

Он просыпается, лишь бриз ночной подует, —
Но не как волк, что смрад от виселицы чует,
И не как ягуар, чтоб на берег морской
Бежать, где мертвецов мог выбросить прибой,

И не как трус шакал, чтоб на полях сражений
Тела раскапывать, чудовищные тени
И призраки войны, жестокостей и бед, —
Нет! Чтоб во тьме бродить и видеть звездный свет!
Ведь звездная лазурь зрачкам отрадна львиным;
Ведь бог, на солнце дав глядеть глазам орлиным,
Дал звезды созерцать багряным взорам львов...
Вот он является из мрачной мглы песков;
Спокойный, шествует бесшумными шагами
И счастлив видеть блеск, разлитый небесами.
Он дышит свежестью, покинув душный грот;
Он, мерно двигаясь, хвостом по ребрам бьет;
И темень, чувствуя, что гриву он колышет,
Его движения не видит и не слышит.
По пальмам дрожь бежит, как по верхушкам трав.
Вот так приходит он, спокоен, величав,
Всегда одним путем из темных бездорожий;
Вчера он приходил, придет и завтра тоже,
Лишь к западу свернет вечерняя звезда.

Когда же он к холму приблизится, когда
В песке означит след, размахисто шагая,
То раньше, чем его любая тварь живая
Приметит, — черный весь, огромный силуэт
Под вечным куполом, что в звездный блеск одет, —
И раньше, чем войдет в долину он, — в молчанье
Все погрузится вмиг, узнав его дыханье.
Да, звука этого довольно, чтоб вокруг
Затрепетало все, чтоб замер каждый звук
Природы девственной, чтоб разом оборвались
Все вопли хриплые, что там, в ночи, взвивались.

4

Так, о народ, когда ты камень прочь сорвешь
С твоей норы, и сон с тяжелых век стряхнешь,
Тебя измучивший, и, пробужденный, разом
Подымешься, как встарь, спокойным, ясноглазым,
И наши деспоты, грабители, шуты
Поймут, что там, во тьме, зашевелился ты,

Что *ты* встаешь, как лев, то в этот день веселый
Вся шайка, где Фальстаф совокуплен с Лойолой,
Все эти жулики, что возмущают нас,
С их звоном сабельным, с их шелестеньем ряс,
И генерал Суфлар вдвоем с судьей Вараввой,
И подлый иезуит, свирепый и лукавый,
Что пули Декабря как четки нанизал,
Менгра, чью просфору жует Элагабал,
Вейо презренные, что некогда без крова
Блуждали, не сыскав профессии святого,
И, бога не избрав клиентом, в кабаках
Являли рваный стиль и дыры в башмаках,
Епископ иль мулла Христа иль Магомета,
Грызущий *гостию* — закуской для банкета,
Тролон и с ним Руэр, кому закон — игра,
Кто конституцию тасуют; шулера,
Зятя, чьи красные в перчатках руки скрыты,
Обжоры, плясуны, дьячки, ханжи, бандиты,
Вся мелочь подлая, вся роковая мразь,
Все это скопище мерзавцев, что, ярясь,
Пылая взорами и с мордою кровавой,
Ревут на истину, и свет ума, и право,
Все — господин, и хам, и душегуб, и кат,
Которые дела нечистые творят, —
Вмиг смолкнут — о народ! — и молнии быстрее
Исчезнут, в ужасе вытягивая шеи,
Попрячутся, дрожа, ныряя в мрак ночной,
Еще не услышав во тьме своей родной,
Где честным жить пришлось со сволочью обозной,
Как твой могучий рык восходит к выси звездной!

Джерси, июнь 1853

Лил этой ночью дождь, и был высок прилив.
Туман тяжелый плыл, все берега покрыв,
Прибой рычал как пес, и шла волна шальная,
Свое рыдание в небесный плач вливая.
Чан бесконечности смешал в себе и тряс
Кружение пучин и бездны мрачный пляс;
Ночь в черном воздухе ревела черной пастью.
Я выстрел пушечный услышал — зов несчастья:
То гибли моряки, и он на помощь звал.
Там, в темных далях, где сменялся шквалом шквал,
Корабль без якоря, руля и мачт лишенный,
Предсмертный свой призыв кидал во мрак
бездонный.

Я вышел из дому; поймал старушки всхлип,
Ушей коснувшийся: «То — люгер; он погиб».
Я побежал на пляж. Там был лишь саван темный
Тумана, ужас, ночь. И я — в ночи огромной.
И, голову подняв над бездной, пенный вал
Меня, дробясь у ног, свирепым ревом гнал,
Как бы свидетеля, что видит преступленье.

Что ж это, господи, ревнивый бог отмщенья,
Бог сокрушающий, владыка бурь и гроз?!
Ужели в жалкий мир ты мало бед принес,
И, сильных истребя в разгромах и развалах,
Еще не утолен, и губишь этих малых,
И над бессильными заносишь длань твою,
И — после Франции — рад погубить ладью?

Джерси, апрель 1853

1

Напрасно думают, что дел подобных ход
К апофеозам нас и к песням приведет.
О да: она придет — заслуженная кара;
Не лжет суровый рок и не смягчит удара;
Но день ужасный тот великим днем сочтут:
Ты над мерзавцами свершишь твой правый суд,
О добрый мой народ, — от гнева сдвинув брови,
Но без меча, но без единой капли крови,
Законно! Не прощай, но сдержан будь и строг.
Да не падет с голов хотя бы волосок,
Да не кричит никто, от боли цепenea,
Да не отыщется убийцы для злодея!
Казнь — казнена сама: не та пора теперь;
В людскую бойню мы заколотили дверь.
Те люди будут жить. *Он* тоже! С ними вместе.

Я это говорил вчера, взывая к мести,
Твержу сегодня я и завтра повторю.
Мы, увидавшие грядущих дней зарю
(Быть может, потому, что разум наш отныне
Глядит с вершины бед, живя на той вершине),
Все это говорим мы, ссыльные, идя,
Куда нас гонят; мы, изгнанники, следя
За бьющим нас бичом, орудьем божьей длани;

Мы, семя будущих свершений и дерзаний,
Которые творец, клонясь к семье людской,
Кидает в борозды, прорытые бедой!..

2

Дрожат мерзавцы: им их имена уликой;
Дрожат за головы в чаду боязни дикой.
Но их казнить? Таких? Позорить эшафот?
Меч революции пустить для мрази в ход?
Да площадь Гревская зарделась бы... от срама!
Ведь мученики те, что гордо шли и прямо,
Герои чистые, презрев небытие,
На плахе гибли той, тем освятив ее!
Как! Дерзкая Ролан вослед Шарлотте смелой
Блеснула под ножом изгибом шеи белой,
И кудри светлые отерли кровь с ножа, —
И чтоб Маньян пятно оставил здесь, дрожа?
Чтоб там, где лев рычал, был слышен визг кабаний?
Чтоб Фульд, Руэр, Сюэн, вся эта дрянь из дряни,
Всползла на эшафот Камиллов и Верньо?
Как! Чтоб Тролон делил с Мальзербом лезвие?
Делангля, как Шенье, вести на гильотину?
Все эти головы швырнуть в одну корзину,
Чтоб в ней, когда, тряся, их повезет фургон,
Бароша чувствуя, шарахнулся Дантон?
Нет, их режим, что сплел свирепость с клоунадой, —
Лишь царство ряженных; и забывать не надо,
Что всё же песенки слагали мы сквозь плач.
И если властелин — убийца и палач,
То нужно для него, шута и лицемера,
Как для титанов тех — Сен-Жюста, Робеспьера,
Сколачивать бруски священных ступеней?
Коль голову сложил когда-то Бриарей,
Прилично ль топору вонзаться в Арлекина?
Нет, нет! Мосье Руэр, вы грязненький мужчина;
Фульд, вы ничтожный фат; Сюэн, вы хам и скот.
Но служит грозному триумфу эшафот:
Он — гордый пьедестал над норами ночными;
Там головы летят, но возникает *имя*;
С той вышки не один страдалец в рай вошел;

Тот нож срубает все, но лишь не ореол;
То башни боевой багряная бойница,
Откуда дух глядит и к вечности стремится.

Нет, Правосудие! Преступникам таким —
Лишь каторжный колпак с халатом холстяным,
Ядро у щиколки, позорный столб и место
В загаженной тюрьме Клерво, Тулона, Бреста;
Им хлыст и плеть; им цепь — подругою навек,
И, в грубых башмаках, по щебню drobный бег!
Пусть шайка их живет, влача позор... А плахе
Не нужно их. Пускай живут в тоске и страхе,
В сиянии лампад и под покровом ряс!..
А дева Смерть на них и не подымет глаз.

Джерси, июль 1853

Когда на евнухах блистали багряницы,
 Когда Нерон и Гай, воссев на колесницы,
 Давили Рим, что был мертвей, чем Вавилон,
 Поэт их сгреб, убийц, взобравшихся на трон,
 И муза меж двух строк живьем их распилила.
 Ты ж, мнимый принц, кого Гортензия вскормила,
 Идальго по жене, по матери моряк, —
 Брюмера внук; венчал тебя декабрьский мрак,
 И музой схвачен ты. Теперь — сколь жребий
горек! —
 Ты весь дрожишь: тебя в кулак зажал историк.
 Но, хоть сатиры бич достаточно тяжел,
 Твердишь ты нагло: «Я — в историю вошел».
 Нет, вор! История перед тобой закрыта;
 Гробница королей запретна для бандита!
 Отброс людской, сова без перьев,дохлый зверь, —
 Тебя извне прибьют, вгоняя гвозди в дверь!

Джерси, 1 августа 1853

ОХРАНИТЕЛЬ О ВОЗМУТИТЕЛЕ

Я спал ли? Бодрствовал? Судите, вам видней.
Какой-то человек — перс, турок, иудей? —
Правдивый и крутой, член партии порядка,
Сказал:

«Я, как юрист, казнь эту, скажем кратко,
Приветствую. Казнен бесстыдный шарлатан
И анархист. Закон нам для порядка дан:
Он защищает власть. Какое ж тут сомненье?
А если дан закон, должно быть исполнение.
Есть истины к тому ж — и вечные притом;
Их должно охранять, хотя бы топором.
А он явился к нам с моралью сладкогласной:
Добро, Любовь, Прогресс — и прочий вздор
опасный.
Он осмелял наш культ, столь чтимый с древних лет;
Он был из тех, кому святыни в мире нет,
Не чтил он ничего, что люди чтут по чину.
Чтоб насаждать свою греховную доктрину,
Он собирал, бродя в трущобах, разный сброд;
Шли рыбаки к нему (тупой и злой народ),
Погонщики скота, бродяги, попрошайки;
Себе учеников обрел он в этой шайке.
Он к образованным не обращался, — нет! —
К достойным, у кого есть деньги, и обед,
И положение. Вносил он смуту в массы.

Он, пальцы разводя и делая гримасы,
Пытался врачевать бессильных и больных,
Презрев закон. Но есть немало дел иных.
Обманщик, поднимал он мертвецов из гроба!
С фальшивым титулом, как знатная особа,
Призваньем ложным он кичился пред толпой.
Он шлялся, говоря: «Все следуйте за мной!»
Бродить по всей стране с учением подобным —
Ведь это ж призывать к боям междоусобным,
Меж граждан сеять рознь, и ненависть, и тьму!
Все видели, как шли язычники к нему,
Из тех, кто спит в печах для гипса и в канавах:
Кто хром, кто глух, кто слеп, кто в стружьях, сплошь
кровавых,

И рьяно их скребет щербатым черепком.
Все люди честные, плюясь, вбегали в дом
При виде этого фигляра с этой кликой.
Какой-то праздник был, не помню; в злобе
дикой,

Крича, схватил он бич и, с кучей пышных слов,
Стал грубо выгонять из храма продавцов,
Платящих должный сбор, людей достойных,
видных,

Державших лавочки товаров безобидных
В притворе — с ведома и клира и властей,
Что получали часть законных барышей.
Шатался с девкой он — позорище какое!
Он разглагольствовал, расшатывал устои
Семьи, религии, морали; подрывал
Основы общества; он деньги отрицал!
Народ за ним валил, бросая хлеб несжатым
На нивах; это ж бред! Он угрожал богатым;
Он нищих ублажал, твердя, что все равны,
Все братья в мире сем; что мы забыть должны
О господах, рабах, великих и ничтожных;
Что плод земли — для всех; он клир, в словах
безбожных,

Грязнил, кощунствуя. Ведь это смертный грех!
Он богохульствовал. На улице! При всех!
При каждом босяке!.. Он слишком стал опасен.
До коих пор терпеть? Закон предельно ясен...

Распяли!»

Он словцо столь кротко произнес,
Что вздрогнул я. «Кто вы?» — раздался мой вопрос.
Он отвечал: «Урок был нужен, скажем прямо...
Кто я? Я — Элисав, письмоводитель храма». —
«О ком же речь идет?» — спросил я в простоте.
«Да о бродяге том, — ответ был, — о Христе».

Джерси, 23 декабря 1853

Пусть честный человек пред подлецом склонен;
Пусть грязь в истории; империя и трон
Пушай косят с Парье, хромают с Талейраном,
Пусть видят «божий перст» указкой шарлатанам;
Пусть вместо посоха дубину папа взял;
На Поле Марсовом Убийство-генерал
И Кража-адъютант пусть блещут на параде;
Пусть принц, в своем дворце укрытый, как в засаде,
Как бы на острове неведомом пират,
Стрелять, насиловать, рубить и грабить рад;
Пусть, колотя в тамтам, Христовы бонзы с жаром:
«Вратам отверзнуться!» — вопят перед Суфларом;
Пусть преступлению кадят во всех листках —
В тех, где строчат Ромье с бокалами в руках,
В их золотом дворце, средь пиршеств и объятий,
И в тех, где жуликов бодрит святой Игнатий;
Пусть в подлых тех судах, где, оскорбляя взгляд,
Два разные Моро — с одним лицом — сидят,
Под градом тумачков сгибаются законы;
На койке лагерной пускай центурионы
Над справедливостью насильничают всласть;
Пусть царь творения ничком спешит упасть
Пред волком, что успел вскочить на трон имперский;
Пусть холод ужаса, смех обрывая дерзкий,
Отображает все, что видим мы кругом;
Пусть саблей торг ведет Опуль, Кюшваль — пером;

Пусть в жалких копиях великие бандиты
Воскресли; пусть сенат, лакеями набитый,
Низкопоклонствует, — столь подлый мамелюк,
Что возмутились бы Махмуд или Сулук;
Коль верят в деньги лишь, коль бог — кошель, пусть
в алом

Наряде сам Гуссе гуляет кардиналом;
С Феמידой дряхлою пусть меж ослизлых стен, —
Там, где Монжи бубнит, — как с девкой, спит
Мандрен;

Пусть на Сибура желчь струит Вейо и рядом
Монталамбер, присев на паперть, брызжет ядом;
Пусть во дворец на бал сзывают явных шлюх,
Чьи платья лишь вчера, шурша, дразнили слух
На улицах, — подруг ландскнехта с носом грека;
Гайнау в Брежье пусть был яростней Лотрека;
Пусть от Босфора и до Гибралтара вспять
Ползет Наполеон, грозивший наступать:
Орел ведь очень стар, подагрою томится
Маренго, Эсслинг — сед, прострел у Аустерлица;
Пусть оба, наш тиран и русский царь, дрожат, —
Медведи, что, боясь, друг друга съесть хотят;
Пусть, распушив султан, на скакуне горячем
Блится Сент-Арно, кося глазком палацким, —
Талантливый мясник и лицедей притом;
Пусть прячется Париж и чванится Содом;
Уден и Эскобар одной пусть мажут мазью;
И пусть благодаря всем этим, полным грязью,
Блестящим подлецам, ужасным как чума,
Спешащим из церквей в игорные дома,
Всем этим жуликам, прохвостам, подлипалам
Святой Варфоломей сменился карнавалом, —
Все это для тебя, Природа, жалкий вздор!..
Праматерь общая! Ты, вскинув кроткий взор,
Сидишь у наших врат загадочной Изидой,
Кибелой дряхлою и свежее Иридой;
Все наши мерзости, свершаемые тут,
Перед лицом твоим, как мрак ночной, прейдут.
Не все ль тебе равно, шута или тирана
Посадят возглавлять соборы Латерана?
Декабрь, закон в руках у пьяной солдатни,
Бутылки битые средь красных луж резни —

Тебе ничто: своим ты следуешь законам.
Когда рабочий люд, в оцепененье сонном,
Забыл, как верную вгоняют пулю в ствол,
И вольный наш народ надел ярмо, как вол,
И мой упорный дух, что к вечной цели правит,
Горчичники стихов на летаргию ставит, —
Ты тоже спишь... Порой тюремных стен заслон
Несчастных узников пропустит скорбный стон,
Которых в кандалах томят Руэр с Барошем
(Лакей ведь может стать и палачом хорошим):
Из грязи их сердца, но в них гранит найдешь;
Тут стих взовьется мой, и, чтоб визжал Барош,
Я для бича ремней нарежу из Руэра, —
Но равнодушна ты; из твоего кратэра
Струится жизнь и вновь течет в него волной;
Ты позволяешь все: и заговор ночной,
И нож, и кровь, и Рим, распятый Ватиканом,
И в кандалах Париж, и принцев с их капканом,
С приманкою присяг, и сети пауков,
И возмущенный вопль взволнованных умов;
Уйдя в спокойствие, храня все ту же позу,
В конюшнях Авгия ты гнить даешь навозу,
Тому, что свергли мы, даешь возникнуть вновь
И в жилы дряхлых зол вливать живую кровь,
А Франции — дрожать перед последним вздохом,
А проституткам петь, а трусам и пройдохам
По норам прятаться, кротам забыть про свет, —
Чтоб льву рычащему завидовал поэт!
Тебе не свойственны ни гнев, ни возмущенье.
Спокойно ты глядишь, без дрожи и волненья,
Как по твоим цветам, меж кленов, сосен, ив
Гуляет сверхподлец, надменен и спесив;
Когда Тролон с зарей нечистый глаз разлепит,
Венера светлая, вся нежный блеск и трепет,
С презреньем бы должна покинуть небосклон, —
Но ей и невдомек, что поднял взор Тролон!
Дюпену срезывать ты позволяешь розы!
Покуда, бархатом свои прикрыв угрозы,
Европу напугав, венчанный людоед
На троне сторожит и на ушко совет
Ему дают, прильнув, Лойола с Трестальоном, —
Ты пролагаешь путь в земле росткам зеленым.

Пока с конклавами сенаты ужас льют,
Пока в Америке рабами торг ведут,
Как в Риме до Христа, и длань американца
Ярмо невольничье на шею африканца
Кладет, и человек за доллары идет, —
Моря волнуешь ты, возвращаешь звездный свод,
Гнешь ленту радуги, льешь ароматы в воздух,
Шлешь бабочек в поля и песни множишь в гнездах,
Вплетаешь в зелень рощ багряных роз кусты;
Соревнование устраиваешь ты
На приз, что ангелы на небе учредили,
Меж чистотою дев и белизною лилий.
Когда ж, в отчаянье от гнусностей и бед,
В пустыню, сжав кулак, дрожа, бежит поэт,
Ты говоришь: «Приди! Я здесь! Тебя люблю я.
И я чиста!» И вот, блаженней поцелуя,
На лоб горячечный, где крови бьется ток,
Прохладу сладкую струит любой лесок!
Порой, глядя, как ты средь мерзости несносной
Спокойно гонишь дни, сменяешь зимы, весны,
Бесстрастна, холодна, защищена броней,
Которой не пробить, — дивится ледяной
Душе твоей поэт. Когда спокойно, строго
Изгнанник, мученик, избранник чистый бога
Умрет, не жалуясь, от нестерпимых мук,
Твои заботы все — чтобы могильный жук
Был ярко расцвечён, хотя слепа могила.
Вкруг королевских плах ты вороньё вскружила.
Над злым и добрым твой — все тот же — небосвод.
Тебя животная, слепая жизнь влечет;
Ты камнем занята, кустом, травинкой, мухой;
Добру и злу равно твое не внемлет ухо;
Вкруг человека ты спокойно видишь ад;
Цикуту вырастишь — и что тебе Сократ?
Ты нужды создаешь, инстинкты, аппетиты;
Жрут слабых сильные; кто больше — те и сыты;
Голубку ястреб рвет, и крысу ест медведь;
Плодитесь же быстрее, коль должно умереть,
Кишите, множества! Живите и губите.
Луг зеленеет, ночь за днем встает в зените,
Конь ржет, осел ревет, мычит утробно бык...
Природа грозная! Слепым твой мнится лик!

Всё попираешь ты, всегда одна и та же,
В самозабвении не замечая даже,
Как два чудовища склонились над тобой:
Князь тьмы, создавший зло, и Каин, полный тьмой!

О нет! Не так! Не так!.. Стоглаза и крылата,
Свой исполинский труд ты выполняешь свято,
Природа! Пусть иной — не я — тебя хулит!
Покуда наша цепь у наших ног звенит
И сумраки встают со всех сторон густые, —
То силы скрытые твои, твои стихии
Мятежные: река, вулкан с багряным ртом,
Зыбучий воздух, газ, меняющий объем,
Глухой подземный ключ, ток и эфир незримый —
Твои подручные! Их сонм неисчислимый
Во тьме работает без усталы, без сна, —
И тем свобода нам тобой возведена!
Все трудится: магнит, железо, уголь, сера!
Чтоб рай нам стал жильем, не адская пещера,
Все силы кличешь ты из недр, из глубины.

Ты шепчешь: «Бедные Адамовы сыны!
Груз мира старого вы, как рабы, влачите;
Но каждый мой закон вам к воле шаг. Ищите!»
И что ни день, глядишь, то новый пролит свет:
Ученый выследит, иль случай даст ответ;
Что ветром сеяно, то снято вычисленьем.
Над каждой тайною с упорным вдохновеньем
Мечтают Фарадей и Вольты; что ни час,
То книга вечная ясней для зорких глаз,
То раздвигаются — пусть медленно — границы;
И, как таран, что бьет по воротам темницы,
Род человеческий, копаясь, шаря вкруг,
Нашупав истину, мир потрясает вдруг!
Народы сближены!.. Законы и заботы,
Стремленья, навыки, мечты, перевороты,
Сердцам дающие созреть, сменив чекан,
Париж, Нью-Йорк, Берлин, просторы дальних
стран —
Все нитью связано, что в недрах моря скрыта,
И сила тайная, у молнии отбита,
С морским течением слила поток идей.
Наука, чей прибор все выше, все сильней,

Смывает жезл и трон, кумир и автократа.
Жизнь, мысль, движение, рост!.. Полет аэростата
Людей к мечте зовет из глубины небес.
И вот он — Ханаан! Мы в нем, в краю чудес!
Стон уступил любви, гроб смыт водой живою,
И песнь — наследница укусу, рыку, вою.
Как жрицей древнею, наукою впряжен
В повозку тяжкую взамен коня грифон,
И пламя из ноздрей зверь извергает медный.
Вселенной властвует отныне дух победный.
Где ужас царствовал, где вечной жертвой мук
Влачился человек, таща верблюжий выюк,
В оковах, созданных невежеством упорным,
Где суеверия росли столбом позорным,
Где цезари, пятой на душу наступив,
Гасили свет, и мысль, и пламя, и порыв,
Где зло угрюмое, сеть натянув покрепче,
Червям дарило прах, — *ты* взмыла птицей певчей!
В твоём дыхании восходит, не спеша,
Свободы чистая и светлая душа —
Из трав, булыжников, из веточки зеленой
Сверкает, знания нам превратя в законы;
И, мира́ старого в куски дробя броню,
Ток воздуху дает, плеск водам, жар огню,
С грозою катит гром, бушует с океаном,
Живет! И мир уже не подчинен тиранам!
Материя была мертва — и ожила;
Топтала род людской, теперь дает крыла́.
Везде ростки добра, и радость веет всюду.
О, будь горда собой, нас приобщая к чуду
Твоих таинственных и благодатных даров!
Гляди, как мать глядит, когда господь готов
Ей даровать дитя. Взирая в бесконечность,
Гляди, как от тебя родится Человечность!

Идея! Жизнь! В сердцах — преображений свет!
Прогресс, объединя плоды своих побед,
Идет все далее, бескровно покоряя.
Из груди дивных дел, которых никакая
Назвать не может речь и не охватит взор,
Дух человеческий родится — взмыть в простор,

Преображая все — культ, нравы, быт, законы.
Былое — лишь яйцо, где скрыты легионы!
Здесь — день творения, Природа, высший твой.
Взор ослепляют нам лучи с вершины той!
Земля вибрирует и требует расцвета,
Что бог ей задолжал. И с твердой верой в это,
Безмолвно, вдумчиво, угадывая ход
Того, что создано, и той, что создает,
Вперив лучистый взор в несчетный ряд вопросов,
Ученый и поэт, провидец и философ
В том будущем, чей луч глаза им напоил,
Уже внимают плеск неисчислимых крыл!

Джерси, 23 мая 1853

XIV

ПЕСНЯ

О чем он вспомнил, этот ссыльный?
О ниве, всходами обильной,
О блеске плуга своего,
О милой Франции бессильной;
И эти думы — смерть его!
Пока Дюпенам — чин придворный,
Изгнанник стонет, сир и наг... —
Нельзя без хлеба жить, бесспорно,
Но и без родины не проживешь никак!

Рабочий вспомнил мастерскую,
А пахарь — хижину простую,
Цветы в горшках — не сосчитать, —
Камин, каморку боковую,
Где старой бабушки кровать,
Где весь в кистях ягдтац узорный
Висит, охот веселых знак... —
Нельзя без хлеба жить, бесспорно,
Но и без родины не проживешь никак!

Там в мае мед собирали пчелы,
И воробьев народ веселый
Проказил средь густых овсов
И обчищал холмы и доли,
Сойти стараясь за орлов.
Там время грызло замок черный
И стены рушило в овраг... —

Нельзя без хлеба жить, бесспорно,
Но и без родины не проживешь никак!

Ему сверло или зубило
Жену, детей и мать кормило;
Он на работу шел с зарей —
И весело работать было.
О, свет и пламя! Труд святой!
Кормился с детства он у горна,
Машин любил он верный шаг... —
Нельзя без хлеба жить, бесспорно,
Но и без родины не проживешь никак!

А вечерами по субботам
Давал он отпуск всем работам:
Фуражку лихо заломив,
Он мчался к городским воротам,
Февральский засвистав мотив;
Там, съев рагу, он пил заодно
За Венгрию, подняв кулак... —
Нельзя без хлеба жить, бесспорно,
Но и без родины не проживешь никак!

По воскресеньям же крестьяне
Кричали Марион иль Жанне:
«Идем, жена, скорей, дружок!
Надень чепец из лучшей ткани!» —
И шли на танцы, на лужок:
Там, по густой траве, проворно
В лад песне топотал башмак... —
Нельзя без хлеба жить, бесспорно,
Но и без родины не проживешь никак!

Везут их — узников угрюмых,
Чьи души гибнут в черных думах;
Им видны вязы у могил;
Им снятся сны в зловонных трюмах:
Кто взор в Германию вперил,
Кто — в заальпийский край нагорный;
Кто Польшу ищет, как маяк... —
Нельзя без хлеба жить, бесспорно,
Но и без родины не проживешь никак!

Один затерзан. Строг и светел,
Он смертный час улыбкой встретил.
«Кому полезна смерть твоя?» —
«А жизнь кому? — он мне ответил. —
Прощай: теперь свободен я!
Но Франция, в цепях, покорна,
Фигляром ввергнута во мрак...» —
Нельзя без хлеба жить, бесспорно,
Но и без родины не проживешь никак!

«Как жить без тех родимых далей,
Где луч зари глаза встречали,
Без птичьих песен, что, звеня,
В мое окошко залетали?
Ведь сердце там, где нет меня!
Над жалким гробом холмик дерна
Сложите, — памятник бродяг...» —
Нельзя без хлеба жить, бесспорно,
Но и без родины не проживешь никак!

Джерси, 13 апреля 1853

Есть годы подлые, когда, соблазнены,
Стремясь к утехам,
К постыдным радостям, народы склонены
Перед успехом.

Тогда из их сердец, ласкаемых всегда
Мечтой проклятой,
Достоинство и честь уходят — как вода
Из губки сжатой.

Тогда пред ложью, злом и тьмой такой народ,
Под стать лакею,
Поклонам учится у тростника, что гнет
Под ветром шею.

Тогда — пиры, игра! Душевный голос им —
Лишь звук подпольный;
Жрут, пляшут, пьют, поют, бесчестием своим
Вполне довольны.

Злодейство чванное, в кругу презренных слуг,
Их лесть отведав,
Хохочет в небеса — и дрожь пронзает вдруг
Могила дедов.

Живут; взор туп, шаги нетверды, скошен рот:
Видна порода!..

И вдруг труба гремит: «Республика грядет!
Грядет Свобода!»

И схож весь этот люд, кому спугнула сон
Фанфара эта,
С пьянчугою ночным, который уstraшен
Лучом рассвета.

Джерси, 1853

XVI
ULTIMA VERBA ¹

Убита совесть! Он, довольный черным делом,
С усмешкой торжества склонился к мертвецу.
Кошунственно глумясь над бездыханным телом,
Он оскорбляет труп ударом по лицу.

Коснея в бездне лжи, стяжательства и блуда,
Судья ждет подкупов, священник — синекур,
И бога своего, как некогда Иуда,
В Париже в наши дни вновь продает Сибур.

Гнусавят нам попы: «Покорствуйте! На троне
Избранник господа и курии святой».
Когда они поют, меж набожных ладоней
Нетрудно разглядеть зажатый золотой.

На троне — негодяй! Пусть он помазан папой,
Он дьявольским клеймом отмечен с давних пор.
Державу он схватил одною хищной лапой,
Сжимает он в другой палаческий топор.

Ничем не дорожа, попрал паяц кровавый
Долг, добродетель, честь, достоинство церквей;
От власти опьянев, он пурпур нашей славы
Постыдно запятнал блевотиной своей.

¹ Последнее слово (лат.).

Но если мой народ в бессовестном обмане
Погрызнет, — может быть, и это впереди, —
И если, отказав в приюте, англичане
Изгнаннику шепнут: «Нам страшно, уходи!»

Когда отринут все, чтоб угодить тирану;
Когда помчит судьба меня, как лист сухой;
Когда скитаться я от двери к двери стану
С изодранной в клочки, как рубище, душой;

Когда пески пустынь и в небесах светила —
Все будет против нас, отверженных гоня,
Когда, предав, как все, трусливая могила
Откажется укрыть от недругов меня, —

Не поколеблюсь я! Я побежден не буду!
Моих не видеть слез тебе, враждебный мир.
Со мною вы всегда, со мною вы повсюду —
Отчизна, мой алтарь! Свобода, мой кумир!

Соратники мои, мы цели величавой,
Республике верны, и наша крепнет связь.
Всё, что теперь грязнят, — я увенчаю славой,
Все то, что ныне чтут, — я ниспровергну в грязь.

Во вретище своем, под пеплом униженья,
Греметь я буду: «Нет!» — как яростный набат.
Пусть в Лувре ты теперь; но предвещаю день я,
Когда тебя сведут в тюремный каземат.

К позорному столбу вас пригвождаю ныне,
Продажные вожди обманутой толпы!
Я верен вам навек, опальные святыни,
Вы — стойкости моей гранитные столпы.

О Франция! Пока в восторге самовластья
Кривляется злодей со свитой подлецов,
Тебя мне не видать, край горести и счастья,
Гнездо моей любви и склеп моих отцов.

Не видеть берегов мне Франции любимой;
Тяжка моя печаль, но так велит мне долг.
Я на чужой земле, бездомный и гонимый,
Но мой не сломлен дух, и гнев мой не умолк.

Изгнание свое я с мужеством приемлю,
Хоть не видать ему ни края, ни конца.
И если силы зла всю завоюют землю
И закрадется страх в бесстрашные сердца,

Я буду и тогда республики солдатом!
Меж тысячи бойцов — я непоколебим;
В десятке смельчаков я стану в строй десятым;
Останется один — клянусь, я буду им!

Джерси, 2 декабря 1852

1

Грядущее! Святые годы!
Из бездны восстают народы.
Окончен путь в песках глухих.
Теперь цветам и травам место.
Земля прекрасна, как невеста,
И человек — ее жених!

Уже теперь, вдали блистая,
Ясна для нас мечта святая;
Ей путь свободный в жизнь готовь!
С нас цепи скинет божья сила:
Былое — ненавистью было,
Зовут грядущее — любовь!

Уже теперь раскрыть объятья
Готовятся народы-братья:
Ростки добра встают средь зла;
Уже теперь, завидя зори,
Мед счастья ищет в нашем горе
Прогресс, проворная пчела.

Редет мрак! В огне рассвета
Нет Бонапарта, нет Капета;
Гляди: он стал свободен — мир!

¹ Свет (лат.).

И над любой страной зрелой
Сверкает парой крыльев белой
В лазури неба общий мир!

И Франция свободна снова!
Распутного не слышно рева,
И в кузницах грохочет труд;
Триумфом век сменился жуткий;
Смеется высь, и красногрудки
В цветах черемухи поют!

Ржа разъедает алебарды.
Где ваши пушки и бомбарды,
О полководцы? Нам от них
Едва ль остались даже плошки,
Куда б могли мы сыпать крошки
Иль воду лить для птиц своих.

Исчезли злобные желанья.
Сердца, и души, и сознанья
Теперь, единый внемя зов,
Слились в одно, сливая краски;
Веревку бог для этой связки
С набатных снял колоколов.

Вон точка яркая в зените.
Она растет, горит, — взгляните:
Багряный луч из темноты!
Звезда Республики всемирной!
Лишь искра ты во тьме эфирной,
Но завтра солнцем станешь ты.

2

Ликует все кругом — и села и столицы!
У неба ад исчез, у кодексов — темницы,
И нет чудовища: разломан эшафот.
Все перестроено. И счастье всех растет
От счастья каждого: «один» и «все» — едины.
Нет более границ; военной нет машины;
Нет фиска; нет крестов как меч, и нет мечей.

Европе стыдно: «Я имела королей?»
Америка дрожит: «Как! Я рабов имела?»
Искусство, знание, поэзия — всецело
Освободили мир. Стал вольным человек;
Цепям у ног его не загреметь вовек.
Все человечество одной семьею стало.
Объединенный труд звенит стройней хорала;
Работа каждого, сколь ни была б мала,
В гармонию добра всемирного вошла;
Скромнейший труженик, склонясь в лачуге
скромной,
Волнует весь народ, счастливый и огромный;
В своем величии весь человеческий род,
Ликуя, всякий дар усердия берет!
Так сосны мощные, обвалов горных стражи,
Громадные дубы, клубки зеленой пряжи,
Косматых кедров строй, по твердости гранит, —
Когда малиновка к ним в мае прилетит,
Чтоб вить гнездо, — дрожат, с их мощью и
величием,
От счастья, увидав травинку в клюве птичьем...

О, мировой подъем! О, Будущего свет!
Всечеловеческий на всей земле расцвет!

В

О люди мужества и горя,
Друзья-изгнанники!.. Не раз
На берегу чужого моря
Я эту песню пел для вас.

И вы не раз твердили, братья,
Внимая мне: «Надежды — прочь!
Ведь мы из тех, над кем проклятье
И небеса черней, чем ночь!

За что судьба нас бьет жестоко?
Взгляни: невинный осужден!
И добродетель взор упрека
Возводит к богу в небосклон.

А бог от нас укрыться хочет.
Лишь недостойным он помог.
Злодейство ж ханжески хохочет,
Глядя, кого он хлещет — бог!

Нам не понять его стремлений!
Ужель он мыслит, наш отец,
Из всех разгромов и крушений
Воздвигнуть радость наконец?

Его намеренья, пожалуй,
Идут мечтам твоим вразрез!..»
О братья! Нам ли, твари малой,
Проникнуть в таинства небес?

Кто землю, воду, воздух, пламя
Прорезал в далях бытия,
Где дух парит? Кто перед нами
Воскликнет: «Бога видел я!

Иегову! Я им овеея,
Я им обласкан и согрет.
Я знаю, как творил людей он,
Я знаю, как он создал свет.

Таинственную видел длань я,
Что лютым зимам шлет мороз,
Морям — мятежных бурь дыханье
И тучам — гневный голос гроз;

Что дух в зародыш направляет,
Меняет свет и мрак в выси
И семизвездие вращает
Вокруг невидимой оси;

Что назначает дни и сроки,
Что на пиру пред королем
Сажает Смерть, чей взор жестокий
Нежданный ужас будит в нем;

Что зверю жить дает и гаду,
Цветку сверкать и зреть плоду,
Что движет звездных сфер громаду
И каждую хранит звезду;

Что рубежи кладет прибою,
И лето розами пьянит,
И времена водой живую
Из урны вечности струит;

Что мановением единым
Весь, в искрах огненных, простор
Колеблет по ночным пучинам,
Как бы пастушеский шатер;

Что солнца вяжет в общей сфере
Незримой нитью к небесам.
Мне это ясно в полной мере;
Я знаю все: там был я сам!»

Кто это скажет? Нет такого!..
Пред нами тьма, весь мир закрыт.
Мы — лишь кимвал звенящий. Слово
Творцу миров принадлежит.

4

Но будем веровать. И подождем — в той вере.
Исход неведом. Всё ж Нерону и пантере
Бог в силах сбить клыки.
Бог испытует нас. В таинственную даль мы
Идем. — Идем же! Он растит в пустыне пальмы,
Чтоб осенить пески!

Как! Он творит не вмиг, и верен целям скрытым,
И предал папе Рим, Христа иезуитам
И честных подлецам, —
И мы изверимся? В нем? В справедливой Воле?
Нет! Знает он один, какую жатву в поле
Взрастить задумал нам.

Всей достоверности не в нем ли воплощенье?
Не им ли полон мир — загадка изученья —
От бездны до небес?
Пред мыслями его — безумье мысли наши.
Не он ли горний свет струит из горней чаши,
Чтоб дольний мрак исчез?

Не видит ли он гидр или червей ползучих?
Не проникает ли до самых недр могучих

Олимп и Арарат?

Не назначает он отлетов журавлиных?

Не числит выходов и возвращений львиных

И у тигриц — тигрят?

Ответь мне, горный гриф, скажи мне, стриж
беспечный:

А гнезда есть у вас, каких не знал бы вечный?

Олень! Ты кем спасен?

Лиса! В кустарнике то не его ли очи?

Волк! Слыша, как трава шуршит во мраке ночи,

Ты не рычишь ли: «Он!»?

Коль все он ведает, все может, — он, единый,

И в силах следствие исторгнуть из причины,

Как плоть из скорлупы,

И червяка вложить в плод яблони зеленый,

И ветром разметать гранитные колонны

И медные столпы;

И океан пред ним — всего лишь бык мычащий,

И жалкий человек — слепец, а он — всезрящий,

И все таится в нем,

И он предводит нас, и близ него кометы

Дрожат, как пакли клоч, в ночи на жердь воздетый,

Охваченный огнем;

И мраку ведом он, и ночь не раз видала,

Как тонущий корабль рука его спасала, —

То разве мы пред ним,

Мы, гордые бойцы, не сломленные горем,

Мы, что с тиранами необоримо спорим,

Колен не преклоним?

Но поразмыслим всё ж... Дни наши — дни

страданий.

Но разве чью-то длань не чувствуем в тумане, —

Лишь руку протянуть?

Для каждого из нас — дорога страстотерпца;

Бредем... Но кто-то нам не шепчет в недрах сердца,

Что это — правый путь?

Нет, нет! Грядущее принадлежит народу!
И мы увидим их — Мир, Славу, Честь, Свободу —
Средь праздничных знамен!
Злодейство царствует? Но это царство дыма.
Так я вам говорю, чей взор неколебимо
В блеск неба устремлен.

Тираны горды. Что ж: волна возносит пену.
Но говорит господь: «Кольцо им в ноздри вдену,
Возьму их под уздцы
И поведу их всех, покорных иль строптивых,
Со всеми слугами и девками схватив их,
В тот мрак, где мертвецы!»

Бог говорит... И вот гранит из пьедестала
Под ними рушится; вот никого не стало
С их властью и мошной!
Скажи нам, ураган, стучащий в наши двери,
Куда ты их умчал? В какой они пещере,
В какой дыре ночной?

5

Друзья, друзья, друзья! Все это — неизбежно;
Рок! Что прилив принес, то с отмели прибрежной
Отлив назад умчит.
Пройдут ужасные — хоть нет им счета — годы,
И крикнут в прежний мрак счастливые народы:
«Все кончено: ты — смых!»

И не для Франции одной заблещут зори!
Свободу обрета, где лишь былому горе,
Сольется в общий хор
Все человечество. С цветочною гирляндой
Оно хозяином войдет в свой дом, что бандой
Был занят с давних пор.

Тираны промелькнут подобно метеорам.
И — точно две зари взнесла бы над простором
Ночная синева —
Над нашей бездною, где мрак и ренегатство,

Сольются два луча: всечеловечье братство
С отцовством божества!

Так я вещаю вам, твердя и повторяя.
Смолкает ли в рожке фанфара боевая?
Они вернутся вновь —
Свобода, мир и свет! Исчезнут раб и нищий!
И с неба низойдет на наше пепелище
С улыбкою любовь!

Прогресса кедр святой, — мечта со дней потопа, —
Ветвями осенит Америку с Европой,
Смета бывшее прочь;
И, оставляя свет сквозить в ветвях омшелых,
Полна спокойных звезд, полна голубок белых,
Сойдет однажды ночь.

Тогда не будет нас; в изгнании бесплодном,
Быть может, встретим смерть. Но Человек
свободным

Жить будет, полный сил.
И мы, под кедром тем, что льнет к лазури горней,
На миг пробудимся — ему целуя корни
В глуби своих могил!

Джерси, 16—20 декабря 1853

Джерси, 9 октября 1853.

Я беспощадные уже закрыл страницы,
Когда над тронами, которых *он* не спас,
Взвилась война, и я, мечтатель, в тот же час
Ее ревущий зев увидел сквозь зарницы.

Гляжу: озноб уже бандита начал бить;
Слепят ему глаза внезапных молний стрелы;
Дрожит он в ужасе, представя Дарданеллы, —
О, трус! А завтра, может быть,

Благодаря бойцам, чьи были славны деды,
На этот низкий лоб, на этот хищный нос, —
Как иногда орел приосенит навоз, —
Уронит тень свою крыло слепой победы!

Да, хоть и страх берет, но суд господень прав:
Ты должен драться, вор! Не избежать сраженья!
Ты, вскинув голову, летел на преступленье;
Ползи же к славе, хвост поджав!

«Как! Даже съезжившись побитою собакой?
Как! Даже к милости взывая сквозь тоску
И сапоги лижа донскому казаку,
Нельзя мне избежать Маренго?» Нет, рубака,

Нет, в кожу цезаря облекшийся Картуш!
На бой, поддельный лев: обязывает грива!
Вот Эльстер, Эч и Рейн; а вот и край обрыва,
И колесница вот к тому ж!

Война — всему конец. Мы здесь на грани века,
Народы! Я всхожу на башню: там слышней
Звон, возвещающий уход ночных теней,
Последний час владык и первый — человека!

Свобода, родина, законы и прогресс,
Казалось — мертвые, кого мы тщетно звали,
Возносят вновь из туч, скрывавших день и дали,
Свои вершины в блеск небес!

Вновь революция вздымает вал!.. Исчезни,
Исчезни, старый мир: таков закон! Долой!
Встал с огненным мечом архангел за тобой
И, в бой благословив, подталкивает к бездне!

ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ ВО ФРАНЦИЮ

Сейчас, когда сам бог, быть может, беден властью,
Кто предречет,
Направит колесо к невзгоде или к счастью
Свой оборот?

И что затаено в твоей руке бесстрастной,
Незримый рок?
Позорный мрак и ночь, или звездой прекрасной
Сверкнет восток?

В туманном будущем смешались два удела —
Добро и зло.
Придет ли Аустерлиц? Империя созрела
Для Ватерло.

Я возвращусь к тебе, о мой Париж, в ограду
Священных стен.
Мой дар изгнанника, души моей лампаду,
Прими взамен.

И так как в этот час тебе нужны все руки
На всякий труд,
Пока грозит нам тигр снаружи, а гадюки
Грозят вот тут;

И так как то, к чему стремились наши деды,
Наш век поправил;
И так как смерть равна для всех, а для победы
Никто не мал;

И так как произвол встает денницей черной,
Объемля твердь,
И нам дано избрать душою непокорной
Честь или смерть;

И так как льется кровь, и так как пламя блещет,
Зовя к борьбе,
И малодушие бледнеет и трепещет, —
Спешу к тебе!

Когда насильники на нас идут походом
И давят нас,
Не власти я хочу, но быть с моим народом
В опасный час.

Когда враги пришли на нашей ниве кровной
Тебя топтать,
Я преклоняюсь ниц перед тобой, греховной,
Отчизна-мать!

Кляня их полчища с их черными орлами,
Спесь их дружин,
Хочу страдать с тобой, твоими жить скорбями,
Твой верный сын.

Благоговейно чтя твое святое горе,
Твою беду,
К твоим стопам, в слезах и с пламенем во взоре,
Я припаду.

Ты знаешь, Франция, что я всегда был верен
Твоей судьбе
И думал и мечтал, в изгнании затерян,
Лишь о тебе.

Пришедшему из тьмы, ты место дашь мне снова
В семье своей,
И, под зловещий смех разгула площадного
Тупых людей,

Ты мне не запретишь тебя лелеять взором,
Боготворя
Непобедимый лик отчизны, на котором
Горит заря.

В былые дни безумств, где радостно блистает
Кто сердцем пуст,
Как будто, пламенем охваченный, сгорает
Иссохший куст,

Когда, о мой Париж, хмелея легкой славой,
Шальной богач,
Ты шел и ты плясал, поверив лжи лукавой
Своих удач,

Когда в твоих стенах гремели бубны пира
И звонкий рог, —
Я из тебя ушел, как некогда из Тира
Ушел пророк.

Когда Лютецию преобразил в Гоморру
Ее тиран,
Угрюмый, я бежал к пустынному простору,
На океан.

Там, скорбно слушая твой неумолчный грохот,
Твой смутный бред,
В ответ на этот блеск, и пение, и хохот
Я молвил: нет!

Но в час, когда к тебе вторгается Аттила
С своей ордой,
Когда весь мир кругом крушит слепая сила, —
Я снова твой!

О родина, когда тебя влачат во прахе,
О мать моя,
В одних цепях с тобой итти, шагая к плахе,
Хочу и я.

И вот спешу к тебе, спешу туда, где, воя,
Разит картечь,
Чтоб на твоей стене стоять в пожаре боя
Иль мертвым лечь.

О Франция, когда надежда новой жизни
Горит во мгле,
Дозволь изгнаннику почить в своей отчизне,
В твоей земле!

Брюссель, 31 августа 1870

ИЗ КНИГИ

«СОЗЕРЦАНИЯ»

1856

ПРЕДИСЛОВИЕ

Если бы автору было дано право влиять на умы читателей этой книги, автор «Созерцаний» сказал бы им только одно: эту книгу надо читать так, словно ее написал человек, которого уже нет в живых.

Двадцать пять лет жизни заключено в этих двух томах. *Grande mortalis aevi spatium*¹. Книга эта, можно сказать, медленно зрела и росла в сознании автора. Сама жизнь вложила ее в сердце писателя, куда капля по капле просачивалось все им пережитое и выстраданное. Те, кто склонятся над ней, найдут свое собственное отражение в этих глубоких и грустных водах, постепенно скопившихся на дне души.

Что такое «Созерцания»? Если бы это не звучало несколько претенциозно, их можно было бы назвать «Воспоминаниями души».

Это в сущности все впечатления, все воспоминания, все события, все смутные призраки, радостные или скорбные, что хранятся в памяти и возвращаются к нам вздох за вздохом, тень за тенью, погруженные в какой-то мглистый туман. Это человеческая жизнь, возникающая из тайны колыбели и завершающаяся тайной гроба. Это сознание, бредущее от проблеска к проблеску, оставляя позади себя юность, любовь, иллюзии, борьбу, отчаяние и в страхе застывающее на краю бездны. Эта книга начинается с улыбки, продолжается рыданием и кончается трубным гласом страшного суда.

¹ Большой отрезок человеческой жизни (лат.).

Целая судьба вписана сюда день за днем.

Что же это? Жизнь одного человека? Да, и вместе с тем жизнь других людей. Никто из нас не удостоен чести обладать жизнью, принадлежащей ему одному. Моя жизнь — ваша, ваша жизнь — моя, вы переживаете то, что переживаю я. Судьба у всех одна. Возьмите же это зеркало и взгляните в него. Иногда пеняют на писателей, говорящих только о себе. «Говорите о нас!» — вызывают к ним. Увы, говоря о себе, я говорю о вас. Неужели вы этого не понимаете? О безумец, воображающий, что я — это не ты!

Эта книга, повторяем, отражает столько же личность читателя, сколько личность автора. Нотто sum¹. Пройти сквозь суету и тревоги, мечты, битвы, наслаждение, труд, горе, молчание, обрести покой в самоотречении и узреть бога; начать с Толпы и кончить Одиночеством — разве это, при всем своеобразии отдельных жизней, не судьба всех?

Не удивляйтесь же, что на протяжении этих двух томов мрак понемногу сгущается и все же в конце концов книга приходит к сияющей лазури лучшей жизни. Радость, этот недолговечный цветок юности, осыпается от страницы к странице в первом томе, полном надежды, и исчезает во втором, исполненном скорби. Какой скорби? Настоящей, единственной: той, которую несет смерть, утрата дорогих нам существ.

Мы уже сказали, что человеческая душа раскрывается перед нами в этих двух томах: «Прежде» и «Теперь». Их разделяет пропасть — могила.

Гернсей, март 1856

¹ Я — человек (лат.).

Поэт идет в поля. Восторженный, влюбленный,
 Напеву лирных струн он внимлет, восхищенный.
 Поэта издали завидя, все цветы
 В сиянии своей весенней красоты —
 И те, чьи лепестки багрянее рубина,
 И те, чей блеск затмит всю пестроту павлина, —
 Приветствуют его, застенчиво склонясь
 Или заносчиво красой своей гордясь.
 Они, как женщины, с прелестной простотою:
 «Вот он, влюбленный наш!» — лепечут меж собою.
 И, полные лучей и смутных голосов,
 Деревья мощные в прохладной тьме лесов,
 Старейшины дубрав — каштаны, липы, клены,
 Почтенный старый дуб, и тис вечнозеленый,
 И вяз, чьи ветви мох покрыл ковром густым, —
 Как правоверные пред муфтием своим,
 Главой ветвистою почтительно склоняясь,
 Плющом, как бородой, земли пред ним касаясь,
 Глядят, как лик его спокойный озарен,
 И шепчутся: «Смотри — мечтатель! Это он!»

Ле-Рош, июнь 1831

МОИ ДВЕ ДОЧЕРИ

В сиянье вечера, во мгле, еще несмелой,
Одна — как горlinka, другая — лебедь белый,
Красивы, веселы (о, дивная пора!) —
Сестренка младшая и старшая сестра
Сидят у входа в сад, и к ним склонился нежно
Огромный хрупкий куст гвоздики белоснежной.
Он в вазе каменной по воле ветерка,
Недвижный, но живой, колышется слегка,
Как будто на лету у мраморного края
Вдруг белых бабочек остановилась стая.

*Ла-Террас, под д'Ангеном,
июнь 1842*

Пускай мои стихи, поющие Мечту,
У прозы лучшее усвоят — простоту!
Порой и я, Андре, шутливо струн касался...
Однажды в юности — в те дни, когда пытался
Я книгу прочитать лесов, полей и гор,
Когда я жил в саду, где звонок птичий хор,
Где на листьях блестят жемчужинки-росинки,
Когда я, одинок, бродил, срывал барвинки
И грезил, — мне одна промолвила из птах:
«Напрасно ты всегда витаешь в облаках,
Поэт! Твои стихи, что песен птичьих вроде,
Могли б понравиться насмешнице-природе,
Когда бы ты писал не пыжась, снизив тон.
Хоть полон вздохов лес, — тебя освищет он.
Природа весела, и громового смеха
С Олимпа иногда раскат доносит эхо.
И ветер не слезлив, а буен и суров,
И вряд ли на романс похож потока рев.
Со словом выпрненным простое слово сблизить —
Не значит, о певец, поэзию унизить.
Природе подражай! Она, в столетий мгле
Бок о бок поместив и Данта и Рабле,
Обжорство Грангузье и голод Уголино,
Сливать умеет скорбь с весельем воедино».

Ле-Рош, июль 1830

Итак, меня козлом избрали отпущенья.
В наш век, который вам внушает отвращенье,
Хороший вкус в стихах на землю я поверг,
«Да будет тьма!» — сказал, и ясный свет померк.
Так излагаете вы ваше обвиненье.
Язык, трагедия, искусство, вдохновенье
Уж не сияют нам, и я тому виной,
Затем что выплеснул на землю мрак ночной.
Я тьмы орудие, я мерзок, я ужасен.
Так думаете вы. Ну что же, я согласен.
Излился на меня ваш гнев потоком слов,
Бранитесь вы, а я благодарить готов.
Вопросы о судьбе искусства и свободы,
О пройденном пути, о том, что мчатся годы
И к новым берегам несут незримо нас,
Под лупой, пристально рассмотрим мы сейчас.
Да, совершил я все, в чем вы меня вините,
Я стал зачинщиком чудовищных событий.
Хотя, мне кажется, за мною вины есть,
Которые вы здесь забыли перечесть:
Я объяснить хотел неясные явления,
Касался скрытых ран, искал их исцеленья,
Я осыпал подчас насмешками тупиц,
Перетряхнул весь хлам старинных небылиц
И содержание затронул вслед за формой, —
Но ограничусь я одной виною: нормы
Ветхозаветные я, демагог, злодей,
Перечеркнул рукой кошунственной своей.

Поговорим.

Когда я позади оставил

Коллеж, латыни звон, заучиванье правил,
Когда, неопытен, застенчив, бледен, хил,
Я, наконец, глаза на жизнь и мир открыл, —
Язык наш рабством был отмечен, как печатью,
Он королевством был, с народом и со знатью.
Поэзия была монархией, и в ней
Слова-прислужники боялись слов-князей.
Как Лондон и Париж, не смешивались слоги;
Одни, как всадники, скакали по дороге,
Другие шли пешком, тропинкою. В язык
Дух революции нисколько не проник.
Делились все слова с рождения на касты:
Иным приветливо кивали Иокасты,
Меропы с Федрами, и коротали дни
В карете короля иль во дворце они;
Простонародье же — шуты, бродяги, воры —
В наречья местные попрятались, как в норы,
Иль были сосланы в жаргон. Полунагих,
На рынках, в кабаках терзали часто их.
Для фарса жалкого, для низкой прозы были
Прямой находкою сии подонки стиля.
Мятежные рабы встречались в их толпе.
Отметил Вожегà позорной буквой «П»
Их в словаре своем. Дурные их манеры .
Годились лишь в быту или в стихах Мольера.
Расину этот сброд внушал невольный страх,
Зато их пригревал порой в своих стихах
Корнель — он был душой велик и благороден.
Вольтер бранил его: «Корнель простонароден!»
И, съезжившись, Корнель безропотно молчал.
Но вот явился я, злодей, и закричал:
«Зачем не все слова равно у нас в почете?»
На Академию в старушечьем капоте,
Прикрывшей юбками элизию и троп,
На плотные ряды александрийских стоп
Я революцию направил самовластно,
На дряхлый наш словарь колпак надвинул
красный.

Нет слов-сенаторов и слов-плебеев! Грязь
На дне чернильницы я возмутил, смеясь

Да, белый рой идей смешал я, дерзновенный,
С толпою черных слов, забитой и смиренной,
Затем что в языке такого слова нет,
Откуда б не могла идея лить свой свет.
Литоты дрогнули, испуганные мною.
На Аристотеля я наступил ногою,
И равенство вернул словам я на земле.
Завоеватели, погрязшие во зле,
Все тигры страшные, все гунны, скифы, даки
Простерлись предо мной, как перед львом — собаки.
Я цепи разорвал препятствий и помех,
Свинью назвал свиньей. Скажите, в чем тут грех?
И Борджа был не раз помянут Гвиччардини,
Вителлий — Тацитом. Уподобясь лавине
Неукротимостью, с растерянного пса
Я снял эпитетов ошейник; я в леса
Овцу и агницу прогнал бок о бок; дикий,
Сдружиться с Марготон велел я Беренике.
С Рабле přátельски тут ода обнялась,
И ожил старый Пинд, пустившись в буйный пляс.
Запели девять муз хмельную «Карманьолу».
Эмфаза ахнула, потупив очи долу.
Пробрался в пастораль презренный свинопас,
Король осмелился спросить: «Который час?»
Из черных женских глаз гагаты вынув смело,
Я приказал руке: «Будь белой, просто белой!»
Снег, мрамор, алебастр в изгнание я послал,
И теплый труп стиха насилью предал...
Я цифрам дал права! Отныне — Митридату
Легко Кизикского сраженья вспомнить дату.
Лаиса сделалась распутницей простой...
В те дни немало слов, завитых у Ресто
И слепо гнавшихся за модою вчерашней,
Носило парики. Но вот с дозорной башни
Им революция передала приказ:
«Довольно спать, слова! Настал великий час!
Ваш сокровенный смысл откройте горделиво!»
И сразу парики преобразились в гривы.
Свобода! Гнев наш так потряс основы слов,
Что из простых собак мы вырастили львов;
Такой могучий вихрь был буйно поднят нами,
Что столб огня взвился над многими словами.

Воззваниями покрыл всего Ломона я.
В них было сказано: «Пора кончать, друзья!
Бросетов и Баттё довольно мы терпели.
Оковы рабские они на мысль надели.
К оружию, стихи! Пускай восстанет раб!
Взгляните: у строфы во рту огромный кляп,
На оде кандалы, трагедия в темнице,
Расин лежит в гробу, а Кампистрон плодится».
Зубами скрежетал бессильно Буало.
«Молчи, аристократ! — ему я крикнул зло. —
Война риторике, мир синтаксису, дети!»
И грянул, наконец, год Девяносто Третий.
Сынам риторики мерещился палач.
Тем временем, забыв про Пурсоньяков, вскачь
Помчались лекари за Дюмарсе толпою,
Клистиры захватив с пермесскою водою.
Глаголы-парии, слогов презренный сброд
И существительных бунтующий народ
Сбежались. Мир они, казалось, опрокинут.
Был сон Гофоллии из тьмы могильной вынут,
Речь Терамена в прах была истерта. Тут
Померкло горестно светило Институт,
И от монархии остались лишь обломки,
А я, растлитель фраз, в ладоши хлопал громко,
Когда, от ярости прорвавшейся слепа,
Ревущих, воющих, рычащих слов толпа
Схватила на углу «Поэтику» за ворот,
Когда заполнили слова-плебеи город,
Когда на фонаре рассудка в эти дни
Былых своих владык повесили они.
О да, я их Дантон, я Робеспьер мятежный!
Я против слов-вельмож, фехтующих небрежно,
Повел толпу рабов, ютившихся во мгле.
Убив сперва Данжо, я задушил Ришле.
Вы всех моих грехов отнюдь не исчерпали:
Я взял Бастилию, где рифмы изнывали,
И более того: я кандалы сорвал
С поработанных слов, отверженных созвал
И вывел их из тьмы, чтоб засиял им разум.
Я перебил хребты ползучим перифразам.
Угрюмый алфавит, сей новый Вавилон,
Был ниспровергнут мной, разрушен и сметен.

Мне было ведомо, что я, боец суровый,
Освобождаю мысль, освобождая слово.

Единство — вот людских усилий атрибут.
В одну и ту же цель все стрелы попадут.

Короче говоря и проще выражаясь,
Вот вам мои грехи, я совершил их, каюсь.
Должно быть, стары вы, папаша, и у вас
Я о прощении прошу в десятый раз.
Да, если бог — Бозе, то я безбожник истый.
Язык наш гладкий был, прилизанный и чистый:
Блеск лилий золотых, как небеса — плафон,
Старинных кресел круг, а посередине трон...
Нарушил я покой в почтенном этом зале.
Обученные мной, полковниками стали
Капралы-имена. Местоимений рой
Атакой яростной пошел на старый строй.
В гиену обратил я дряхлое причастье.
Глагол стал гидрою с раскрытой, страшной пастью.
Я признаюсь во всем. Разите смельчака!
Ланите я сказал: «Послушай-ка, щека!»
Плоду златистому: «Будь грушей, но хорошей»;
Педанту Вожелà: «Ты старая калоша».
В республике слова должны отныне жить;
Должны, как муравьи, трудиться и дружить!
Я все разворошил, угрюмый и упорный,
Я бросил гордый стих собакам прозы черной.

Я был не одинок. Соратники-друзья
Добились большего и лучшего, чем я.
Мы разлучили муз с раздутой, глупой спесью.
Нет полустиишам возврата к равновесью!
Да, проклиняйте нас! В минувшие года
Двенадцать перьев стих носил на лбу всегда.
Как мячик, вверх его подкидывали метко
Ракетка-этикет, просодия-ракетка.
А ныне правила он в клочья разорвал,
И крыльями взмахнул, и жаворонком стал,
Простился навсегда с цезурой-темницей
И к небесам взлетел освобожденной птицей.

Отныне каждый слог прекрасен и велик.
На волю вывели писатели язык.
И вот, по милости бандитской своры этой,
К нам возвращаются, сиянием одеты,
Правдоподобие, разя тупой обман,
Воображение, смущая сон мещан,
И с песней радости, с улыбкой, со слезами
Поэзия опять склоняется над нами.
Плавт и Шекспир ее в простой народ несли.
В ее пророческом величии нашли
Иов — дар мудрости, Гораций — ясный разум.
Опьянена небес неистовым экстазом,
По лестнице годов, предчувствием полна,
Стремится к вечности неведомой она.
Нисходит муза к нам, влечет нас за собою,
Печально слезы льет над нашей нищетою,
Ласкает, и разит, и утешает нас,
И радуется сердца сверканьем тысяч глаз,
И вихрем тысяч крыл, как ураган могучих,
И лирою своей — каскадом искр певучих.

Так ширятся пути, ведущие вперед.
Да, Революция теперь везде живет,
Трепещет в голосах и в воздухе струится,
Глядит на нас из книг, с прочитанной страницы,
Ликует, и поет, и славит бытие.
Цепей не ведает язык и дух ее.
В романе спрятавшись, беседует порою
О чем-то с женщиной, как с младшею сестрою.
Мыслитель, гражданин — надежд ее оплот.
Свободу за руку она с собой ведет,
И раскрываются пред ней сердца и двери.
Полипы сумрачных, угрюмых суеверий,
Нагроможденные ошибками веков,
Не могут выдержать атаки легких слов,
Горящих пламенем ее души упрямой.
Она — поэзия, она — роман, и драма,
И чувство, и слова. Она светла всегда —
Фонарь на улице, на небесах звезда.
Она вошла в язык хозяйкою суровой.

Искусство отдает ей голос свой громовый.
Подняв с колен толпу униженных рабов,
Стирая старые следы морщин со лбов,
Она дарит народ отвагою своею
И превращается в могучую Идею.

Париж, январь 1834

Поэма сетует, рыдая; драма страждет
 И душу всю излить через актеров жаждет.
 На миг растрогана, спохватится толпа:
 «Затея автора ведь, право, не глупа:
 Он громы мнимые на мнимых шлет героев,
 Из наших слез себе посмешище устроив.
 Спокойна будь, жена; утри глаза, сестра».
 Неправда: в сердце ум; и в пламени костра,
 Зажженном мыслью в нем, мыслитель сам сгорает,
 Кровь самого творца из драмы истекает;
 Он узами существ, им созданных, пленен,
 Он в них трепещет, в них живет и гибнет он;
 И содрогается в творенье плоть поэта.
 Он с созданным — одно; когда, вдали от света,
 Творит он, — из груди он сердце рвет свое,
 Чтоб в драму заключить; ваятель бытие
 И плоть свою, — один на сумрачной вершине,
 Все возрождаясь вновь, — в священной месит глине;
 И тот, кто из слезы Отелло сотворит
 Иль из рыдания Алкесту, — с ними слит.
 Всем творчеством его, — единым, многоликим,
 В котором он живет, истерзан злом великим, —
 Источник света в нем, творце, не истощен;
 Он человечностью всех больше наделен;
 Он — гений меж людьми, он — человек меж ними.
 Корнель — руанец пусть, но он душою в Риме.
 В нем мужество и скорбь — с Катонами родство.
 Шекспира бледен лик: не Гамлета, его

Ждет призрак роковой среди площадки темной,
Меж тем как лунный диск за ней встает огромный.
Поклен погублен тем, что вымышлял Арган;
И хрип предсмертный — смех его! В морской туман
Стремит ладью Гомер, с Улиссом путь свершая.
В груди апостола, все тело сотрясая,
Бьет Апокалипсис в ужасный свой набат.
Эсхил! В тебе Орест безумьем зла объят;
Гигантский череп был тебе судьбой дарован,
О гневный, чтоб к нему был Прометей прикован.

Париж, январь 1834

Как день смеется, юн, на розах, полных слез!
 Любовники цветов, прелестны вы средь роз!
 В жасминовых кустах, как и в барвинках нежных,
 Повсюду крыльев рой, слепящих, белоснежных;
 Порхают, резвые, и, трепеща, не раз
 Сожмутся вдруг и вновь раскроются тотчас.
 Весна! Коснется ль мысль посланий, устремленных
 К красавицам в мечтах от грезящих влюбленных,
 Сердец, вверяющих бумаге весь свой жар,
 Несчетных писем «к ней», что пишут млад и стар,
 Любовью, хмелем их, безумством заполняя,
 В апреле читанных, разорванных в дни мая, —
 Покажется тогда: летят в лугах, в лесах
 По воле ветерка и реют в небесах,
 Повсюду, в поисках живой души, порхают,
 От женщины к цветку, спеша, перелетают
 Ключки посланий тех, любви былых гонцов,
 Отныне ставшие роями мотыльков.

Май 1831

¹ С приходом весны (лат.).

Педанты-неучи, профаны-педагоги,
Я ненавижу вас, безжалостные доги!
Торговцы греческим, латыни продавцы,
Вы в ссоре с красотой и с грацией, слепцы!
Все ваши правила, законы — все рутина.
Под маской знатока таите ум крестина.
Учащие всему, не зная ничего,
Филистеры, вы зла живое торжество.
Я злобу чувствую, лишь вспомню, как, верзила,
В свои шестнадцать лет я изучал уныло
Риторику. О, страх! О, скука! Счета нет,
Как много всяких кар и леденящих бед.
«На воскресенье вам — «Послание к Пизонам». —
«Но, господин аббат...» Он глух ко всем резонам,
С ногтями черными презренный дикобраз:
«Его переписать должны вы восемь раз».
Штрафной урок на день, когда имел я виды
(Мебя влекли мечты в волшебный сад Армиды!)
На встречу с дочерью привратника. Мой бог!
Да разве этим днем пожертвовать я мог?
Словам доверив жар, тогда владевший мною,
Я должен был ее, плененную весною, —
Лишь только б солнце нам сияло в синеве! —
Печеньем угощать на горке Сен-Жерве!
Об этом грезил я, и слышал скрипок пенье
У матушки Саге, и видел пар круженье.
И загородный рай, и отдых, и сирень,
И ландыши — мне все сулил желанный день.

«Гораций, — я сказал, входя в свое жилище,
Где холод в декабре, а в знойный день жарыща, —
Ты здесь не виноват! Ты малый не плохой:
Рассудок ты ценил и уважал покой.
Ты, славный мудростью своей чистосердечной,
Свой прожил долгий век, счастливый и беспечный,
Как птица, что, хваля ветвей зеленый кров,
Лишь просит позвучней напевов у богов.
Ты вечером бродил под грабами, внимая
Тем шопотам любви, что прячет сень густая,
И девушек ловил чуть приглушенный смех;
Ты не чуждался сам с рабынею утех,
С Мирталой огненной, со златокудрой, жгучей,
Вскипавшей, словно вал под калабрийской кручей.
Порой, как сибарит, фалерн ты смаковал,
Налив его себе в прекраснейший фиал.
Подсказывал стихи тебе Пегас крылатый:
Ты в одах прославлял Барину, Мецената,
Ты Тибур воспевал — поля и виноград —
И Хлою, что прошла вдоль дедовских оград,
Неся на голове изящную амфору.
Когда Феbei лик являлся смертных взору,
Ты в рощах различал мерцанья и лучи,
В них видя существа, живущие в ночи:
Вот Бахус, бог вина и ямбов прародитель;
Вот Цербер перед ним, покорный, как служитель;
Вот нежится Силен, забравшись в темный грот:
Пищеварение — предмет его забот;
Вот остроухий фавн скользнул под веток своды,
Заметив нимф нагих, ведущих хороводы...
Когда, отдавши дань сабинскому вину,
Ты в банях застигал красотку не одну;
Когда на Тибре ты высмеивал, Гораций,
Любителей пустых ристалищных сенсаций,
Как позже высмеял маркизов наш Мольер, —
Ты думал ли, о Флакк, что строф твоих размер
И вся их глубина в гнуснейшем нашем веке
Вдруг станут жвачкою, что горе-человеки
Жуют часы подряд в коллежах многих стран?
Твои стихи — цветок в зубах у обезьян!
Писаки низкие, монахи-лиходеи,
Ни женщины они не знают, ни идеи.

О, жабы!»

И всердцах добавил я, взбешен:

«Как небожителей весь облик искажен!
Педанты облекли Юпитера в сутану,
Напялили чепец бегинки на Диану,
И греческих богов спокойное чело
Вмиг треуголками испакостили зло.
Так будьте ж прокляты, наставники-кретины,
Чурбаны евнухи, безмозглые руины,
Помойки грязные, ничтожества, погост!
Нет, в вашем обществе не встанешь во весь рост!
Любого юношу — пусть с разумом блестящим —
Вы превратите в столб дыханием смердящим.
Вы, сони, смеете приблизиться к заре!
К напевам Пиндара, к эпической поре,
К амброзии, что Плавт оставил и Теренций,
Вы подмешали гниль трактовок и сентенций,
И мистику молитв, и ханжество святош,
И мрак монастырей, и отпущений ложь.
Вы портите, грязня, все лучшие созданья.
Вам предрассудков мгла заволокла сознание.
Грядущего страшась, живя без головы,
Своим слюнявым ртом прогресс клеймите вы
И юности, чья грудь всегда полна надежды,
Свой черный опиум подносите, невежды!
Застежки только вы у библии святой
Науки, и искусств, и совести людской,
Что человечество так длительно писало.
Вы променяли храм на мрак часовни малой!
Тюремщики ума, лазури сторожа,
Вы вкусы губите, безвкусьем дорожа.
Завесами у вас Тибулла страсть прикрыта,
Эсхила вызовы и игры Феокрита.
Вы превратили в ад цветущий рай садов».

Все больше распалясь, метал я грома слов
И щедро сыпал брань на мерзкого аббата:

«Как в Вейях высекли учителя когда-то,
Так высечь бы тебя! О тигр, штаны долой!
Эй, школьники, сюда! Сбегайтесь всей ордой!

Все Рима сорванцы, парижские гамены,
Срезайте прутья лоз на побережьях Сены
И на моих глазах лупцуйте подлеца!
Вгрызайтесь в изверга! Кусайте мудреца,
Чьи знания состоят из всяческого хлама,
В его дурной башке хранимого упрямо.
В утробе у него, как сена у осла,
Латино-греческой мякины без числа.
Беру в свидетели я авторов различных,
Что в складки я влюблен их светлых тог античных,
Но я не выношу, когда аббат-схоласт
Калечит юношу; кто сына им отдаст,
Тот муху водворит в обитель скорпиона.
Им, этим чернецам, им толковать Платона,
Лукреция трактат и — в довершение зол —
Гомера пояснять в сырых темницах школ!
О, эти педели с пустыми черепами,
С сопливым хрюкалом, с длиннющими когтями,
Довольные собой, хотя — я слово дам! —
Не могут выучить и чтению по складам!
Им детской жизнь души увидеть неохота;
В их классах бродит тень Лагарпа и Нонотта;
Простых и светлых чувств им непонятна речь;
Они — Вчерашний день — хотят Грядущий сжечь
И воспитать орлят на сводах рачьих правил.
К тому ж еще порок их тайный обесславил:
Снедает жажда их, и старые горшки
Так рвутся умножать позорные грешки,
Что мирные козлы способны возмутиться;
А услышав: «любовь», ханжи спешат креститься.
Горящие сердца педантам не нужны, —
Влюбленный и поэт им кажутся смешны.
Им ненавистен свет, что ищет воплощенья
То в форме женщины, то в форме размышленья.
Увидев музы взор, что светится, лучась,
Орут: «Откуда здесь безумная взялась?»
Пред этой красотой, пред этим морем блеска
Лепечут: «Краски здесь грубы, кричащи, резки!
Все это сны, мираж, рассадник чепухи.
Как радугу вмещать вы смеете в стихи?»
Глумясь и над детьми и над певцами разом,
Они хотят убить и радость зорь и разум

И вставить соловьям совиные зрачки.
Когда высоких чувств им встретятся ростки,
Они их выполоть спешат как варваризмы.
О, стекла тусклые, что губят ясность призмы!»

Так глотку я трудил. Подобный монолог
На протяженьи дней и изменяться мог.
Я чувствовал, что я по стилю не безгрешен,
Хоть прав по существу; но был так безутешен,
Что проклинал Безу, Тютюта и других.
Ведь, кроме бремени заданий их штрафных,
Я математики был жертвой постоянной.
Ребенок, рвавшийся к поэзии желанной,
О твердолобую жестокость палачей
Я бился птицею в наивности своей.
Меня цифирью жгли и алгеброй пытали,
В застенки мрачные Буабертрана брали,
На дыбе мучили, ломая перья крыл,
Чтоб тайны иксов я и игреков открыл.
Совали в челюсти насильно теоремы
И короллории; к страданьям глухи, немые,
Когда в тоске дрожал и корчился я весь,
Вливали из дробей губительную смесь.
Отсюда — ненависть.

Когда на пышных ветках
Птиц будут обучать, а не в давящих клетках,
И общество, поняв, что от судьбы детей
Зависит и судьба его грядущих дней,
Возьмется изучать парения законы,
Чтоб воспитать орлов достойных легионы,
Когда повсюду день сиянье разольет, —
Оценит молодежь познания сладкий мед.
Венцом занятий их сочтя неоспоримо,
Все книги славные и Греции и Рима,
Где море светится, где слышен смех светил,
Где разума разлив и свежесть юных сил,
Так будут разъяснять любовно и толково,
Что дети, полюбив, постигнут их до слова.
Течением своим — свободен и широк —
Пленит Гомер юнца, учащего урок;

Не будет ученик к Вергилию припряжен;
Не будет склад ума его обезображен
Аббатом-ментором; не будет школьник наш,
Как кляча, издыхать под тяжестью поклаж.
В любом селе тогда храм встанет необычный,
Где вместо темноты, для наших школ привычной,
Повсюду будет свет; и в ясном свете том —
Наставник с ласковым и дружеским лицом.
Прогресса проводник, невежества гонитель
И жрец святых идей — вот будущий учитель.
Исчезнут навсегда и прежний ученик
И мракобес-педант, что властвовать привык.
Над нами сыновья начнут тогда смеяться
И спрашивать себя: могло ли это случиться,
Чтоб воробьев учить доверили сычам?
Тогда свободный ум, как к солнечным лучам,
Вдруг устремится ввысь, в высокий мир познания.
Зубрить галиматью не будут в наказание.
Апостол вдумчивый, учитель молодой,
К ребенку наклонясь, из чаши золотой
Ему по капле даст (как этих капель много!)
Понятье вечности, гармонии и бога.
Правдивым станет все: законы, догмы, быт...
Природа! В замок твой, что тайнами обвит,
Все глубже входит свет, все меньше зал во мраке.
О, алфавит письмен, где всё доступней знаки!

31 мая 1835

Наступил июнь. Влюбленных
Дразнят стайки воробьев.
Соловей в кустах зеленых
Днем и ночью петь готов.

На полянах взрывы смеха,
Шорох, заглушенный зов,
И звучит немолчно эхо
В сонной тишине лесов.

В рощах, под защитой хрупкой
Полутемных мягких гнезд,
Голубь шепчется с голубкой,
Нежно льнет к дроздихе дрозд.

Пахнет мятой, свежим сеном,
И, слегка навеселе,
Сам Вергилий пьет с Силеном,
С Грангузье — старик Рабле.

Наливай, Рабле, полнее!
Лей, Вергилий, через край!
Лес похож на замок феи,
Грот пленителен, как рай.

Чуть рассвет забрезжит алый,
Остров речке шлет сонет,
И любезничают скалы,
Репетируя дуэт.

Ибо от любви не скрыться
Ни в лесу, ни у реки,
Ибо мы слепые птицы,
А красавицы — силки.

Незабудка расцветает
И, глядясь в речную гладь,
Говорит щеглу: «Светает!»,
А сове: «Не время ль спать?»

Урожаю кровля рада,
Он солому ей дарит.
На лугу быка громада,
Как утес в лесу, стоит.

Утку любит пруд сердечно,
Пашня и скворец — друзья,
Только тяжким возом вечно
Недовольна колея.

Пчел манит левкой пахучий.
Древний сказочный Зефир
В поднебесье гонит тучи
И дарит прохладой мир.

Океан молчит смиренно.
Джерси отдохнул от бурь
И закутался надменно,
Как Сицилия, в лазурь.

Любит Феокрита строгий
И холодный Альбион;
Ветер помнит все эклоги,
По душе ему Бион,

И твердит он стих заветный,
Что давным-давно сложил
Мосх, который возле Этны,
Как сверчок у печки, жил.

Кашляет зима натужно,
Убегая в край снегов,
И слагают волны дружно
Песни на слова кустов.

Озарились, засияли
Мира хмурые черты,
И сердца тревожной стали,
Стали радостней цветы.

Васильков и кашек стайки
Слушают, скрывая страх,
Как судачат на лужайке
Ароматы о выюнках.

На дороги, на овины,
На цветной ковер лугов
Мчатся белые лавины
Хлопьев снежных — мотыльков.

Океан струит сиянье.
Спешно вереск шьет убор —
Пастырское одеянье —
Старцу, патриарху гор,

Чтобы в мантии лиловой
Дряхлый, сгорбленный утес
Всепрощающее слово
Темной бездне произнес.

Гранвиль, июнь 1836

На кладбище большом, пустынном грезил я;
Внимала тишине могил душа моя
Среди травы, крестов, покоя гробового...
По воле божьей смерть — источник жизни новой.
Грусть овладела мной.

А рядом, весела,
Чужда смятению поникшего чела,
Шумела воробьев бесчисленная стая,
Над ложем роковым глухого сна взлетая.
То вечность строгую дразнил короткий миг...
Порхая, прыгая, сквозь гомон, щебет, крик
Тревожа дерзко смерть своими коготками
И клювики точка о мрачных статуй камень,
Как жизни семена, они клевали прах.
Крылатым крикунам внушить я вздумал страх:
«Мир — мертвым! — я сказал. — Вы гарпиями
стали!» —
«О нет, мы воробьи!» — безбожные вскричали.
«Молчать, летите прочь!» — я был неумолим.
Они взлетели ввысь — со мной ли спорить им?
Но среди них один отстал и, полон жара,
Чирикнул, хвост задрал: «Кто этот классик старый?»
Едва исчезли все, неистово сердясь,
Крича и на меня, гиганта, зло косясь,
Как черный остролист, мудрец кладбища строгий,
Внезапно в мой рукав вцепился у дороги
И мне сказал: «Поверь, за ними нет вины.

Оставь их — нам они, как солнца луч, нужны.
Их шлет сюда господь, чтоб оживить гробницы.
Природы радость в них, о человек, таится.
Свой щебет у ручья берут они, а свет —
У ярких звезд, а смех дарит им дня расцвет.
Улыбку мудреца они, взмахнув крылами,
Приносят нам, и тьма при них светла, как пламя.
В их лепете слышны забавы школяров.
Летая меж людей, среди полей, лесов,
Они воруют смех и счастье в мире шумном —
И правы; не зови веселье их безумным.
Мы вянем здесь без них — они жалеют нас
И, обновив весной свой песенный запас,
Набравшись болтовни и поцелуев в гнездах,
Куда приносит их апреля свежий воздух,
Прелестны и легки, шумливы, веселы,
Бросают это все нам в страшные углы,
Из хижин, из дворцов, из-за морей, из чащи
Несут в наш скорбный мрак весь этот свет
блестящий.

Мечтатель, знай — едва слетятся птицы, мы
Ликуем: «Вот они!» И камни и холмы,
Деревья и цветы — все веселы, счастливы,
И песнь рождается в ветвях плакучей ивы,
И поверяет тис им тайны вечером.
О жизни говорят они с гробовщиком,
У пышных саванов срывая прочь застёжки;
Читают надписи насмешливые крошки.
И я, старик-ворчун, сухой чертополох,
Который слышит здесь любой притворный вздох, —
Лгать не стесняются, меня своим считая! —
Я нахожу, мой друг, что, надписи читая
О том, как был хорош усопший, добр и мил,
Недаром воробьи смеются средь могил».

Париж, май 1835

СЛЕПОМУ ПОЭТУ

Благодарю, поэт, ты лар моих почтил!
Так к земнородному нисходит гость небесный.
И в нимбе строф твоих, как бы в кругу светил,
Стою, заморожен их музыкой чудесной.

Пой! Древний пел Гомер, и старый Мильтон пел!
Туман угасших чувств прозрачен для поэта.
Очами он ослеп, но духом он прозрел,
И тьма его полна немеркнувшего света.

Париж, май 1842

Я шел по берегу и повстречался с нею.
 Она была стройна, растрепана, боса.
 «Казалось, в камыши тайком пробралась фея.
 Я у нее спросил: «Пойдешь со мной в леса?»

Она ответила мне взглядом, полным света, —
 Так смотрят женщины, свободу нам отдав.
 Я ей сказал: «К любви нас призывает лето.
 Скажи, пойдешь со мной в глухую сень дубрав?»

Неспешно о траву она отерла ноги,
 Опять в мои глаза взглянув из-под ресниц,
 Потом, бездумная, задумалась в тревоге.
 О, как звенел в тот миг согласный щебет птиц,

Как реку сонную ласкало солнце жарко!
 И вот увидел я — сквозь камыши идет
 Ко мне смущенная, счастливая дикарка,
 Волной густых волос закрыв лукавый рот.

Мон Лам, июнь 183 ..

Там, на краю небес, за темными холмами,
Шар солнца, как цветок с лучами-лепестками,
В закатной красоте склонялся над землей
А где-то средь полей, над сломанной стеной,
Где травы разрослись и плющ темнозеленый,
Ромашка белая раскинулась короной.
И маленький цветок на рухнувшей стене
Смотрел, как перед ним в лазурной вышине
Сияло вечное, прекрасное светило.
«И у меня лучи», — ромашка говорила.

Гранвиль, июль 1836

Они опять про то! Что ж, наконец открою:
Все, в чем меня корят, — мой век, любимый мною.
Никто не тронул бы, безвестного, меня,
Когда б не содержа я атома огня,
Что золотым лучом украсил наше время.

Вчера я — гражданин. Теперь поэта бремя
Несу. «Романтик» я, а после — «либерал».
Кусайте же меня, куда б я ни шагал.
Я мрачен, и мое всех отравляет слово,
Мое второе я удар принять готово.

Ты помнишь первые мои шаги... И ты
Спешишь меня облить потоком клеветы,
Когтя мои стихи резвее всех на свете!
Не мил ли я тебе, как розовые дети?
И ты коришь меня: «Ах, сударь, что за срам!
Все стансы — босиком; корсета нет у драм».
Но муза девственный покров с себя срывает,
И светлый огонь искусств все правила сжигает.
Ты, буквоед Жеронт, теперь, врагам на страх,
Все изумляешься в изношенных стихах,
Что громкий голос мой — заклятый враг порядка,
Что жив еще малыш, которого так сладко
И хлебом и водой сам Буало питал, —
Малец тяжеловат его коленям стал.
Перед тобой — стихи с крылами и с когтями.
О! Эти не пойдут вослед за образцами,

Как за учителем толпа учеников...
Сноп молний из моих взвивается стихов.
И вот ты издаешь унылый вой шакала
Из клетки своего почтенного журнала.

Премудрость ветхую ведешь навстречу мне —
Бугура самого, за ним отца Рене,
И, чтимыми давя поэта именами,
«Мятежник!» — наконец вопишь ты со слезами.

«Аминь, аминь, аминь!» — педантов хор твердит.
Я схвачен — мне теперь экзамен предстоит.
Сорбонна порет чушь, каракули марая;
С гусяного пера злость брызжет шутовская:
«Чего они хотят, новаторы? Стихов?»
Их черным книгам люб один ночной покров.
Читает в ужасе их дева молодая,
Пинд содрогается, рычанью рифм внимая.
Все ими сметено! Александрийский стих.
Цезуры разметал и прыгает без них.
Как-вепрь в густой траве иль в чаще мяты белой,
Явился перенос, строку ломая смело.
Что нам грозит, друзья! Ришле — в стране теней,
А нам авторитет теперь всего нужней.
Вернемся к правилам, бесчестие забудем.
Кастальский ключ — вода: отныне трезвы будем.
Всем здравомыслящим завет навеки дан:
Коль истинный мудрец стремленьем обуян,
В словесном мастерстве их вождь — Квинтилиан,
И Лейбниц — в алгебре, Вегеций — в деле ратном».

Слыть мудростью всегда невежеству приятно.

И неужели мне тебе сказать нельзя
То, что сказал другим, им палкой не грозя?
Довольно прикрывать лицо свое личиной, —
Долой же домино риторики рутинной!
Уже известно всем: мы гнали пред собой
И рифму, и язык, и самый разум в бой,
И на Лагарпа шла, готовая сразиться,
Неукротимая повстанцев вереница.
К старинным правилам привязан нами был

Горящий уголек, что всех объединил, —
То вольность! Нищее тогда восстало слово
В союзе с разумом, нагое, без покрова,
И мысли взор блеснул из непроглядной тьмы.
Тогда, ораторы, творцы, поэты, мы,
Бег стрелки часовой рукою ускоряя,
Твердим риторике: «Пришла пора какая,
Гляди, голубушка!» Отвагою горя,
Я побесчинствовал в стенах монастыря.
Я с факелом в руке раздвинул створки драмы;
Пираты, парус свой крепили мы упрямый,
И нами трех единств сожжен архипелаг,
Над Геликоном я победный поднял флаг.
Всё сразу — вдребезги! С стиха намордник сняли.
Долой Расина! Мы Мольера увенчали.
О, умники! Дюсис ничто перед Ротру,
Теперь Лукреция выходит поутру,
Чтоб смертный яд пролить тайком на наши розы,
Плешивым, вам страшны косматых драм угрозы.
Пусть якобинец я, ужасный человек, —
Александрийский стих растерзан мной навек.
Слова придворные и слоги все, дворяне,
Резвившиеся встарь на парковой поляне, —
Сердечком губы — вы шептались меж собой.
Другим словам кричу: «Эй, горбуны, на бой!
Подагрики, хромцы в своей одежде нищей,
Сюда, скорей ко мне в орлиное жилище!»
Я снес свои грехи в исповедальни тень,
Пусть Герострат я, пусть я Аттила, Кастень...

Ну что ж! Теперь сердись и посылай за стражей,
Приятель, грохочи, бушуй — не двинусь даже.
На мнимый наш успех обидою горя,
Ты ненавидишь век, где люди, говоря
Стихами, не должны отвесить три поклона.
Бесстыден и правдив наш век неблагосклонный,
Где может грубым быть и лирик и мудрец,
Где истины вино — отрада для сердец;
Везде мечтатели пьяны его струями...
Глаза зажмуришь ты над нашими строками;
Слов ясность чистая твой обжигает взор;
Тебе враждебен стих правдивый. «О, позор!» —

Вопишь ты, разозлен строфою обнаженной.
А нимфы чистые? Они во время оно
В невинной наготы под сению лесов
Плясали в нежной мгле июльских вечеров.
И нужно ль, приоткрыв окно перед зарею,
Задерживать ее туманной пеленою
И фиговым листком светила прятать зной?
А в наготы волны ужели вкус дурной?
Пегасовы крыла, о Пиндар, о Вергилий, —
Возможно ли, чтоб их, как непристойность, скрыли?
Конь крылья раскрывал над славною горой,
Огромной бабочкой полет свершая свой.
В бесстыдстве упрекнуть едва ли солнце можно,
Пусть платьице цветок поднимет осторожно.
И Каллиопа там, меж звездами паря,
Ужель за облаком показывает зря
Сверкающую грудь страдальцу Алигьери?
Ты весь в прошедшем дне, возвращен ты в старую

вере,

И наготой Олимп тебя бы возмутил.
Амуров-голышей ты б в юбку нарядил.
Ты хочешь видеть муз в наряде золоченом, —
Твой вкус воспитан был напыщенным Титоном.
Менад безумный пляс ты счел бы за канкан.
Сам Аполлон тебе — один из могикан,
Киприду бы назвал ты дикой и бесстыдной.

Все дело в возрасте — в нем наша мудрость, видно.
«Пойми, что ты неправ, — тихонько он ворчит. —
Раскашляется тот, кто громко закричит.
Забудь их новшества, забудь юнцов надменных,
Не нарушай покой своих мокрот почтенных.
У юных путь иной. Ты лучше их не тронь.
Для них лишь пепел там, где для тебя огонь.
Зачем на них идешь ты, как на супостата?
Так век наш либерал, как был ты паж когда-то.
Ты штору опусти и ставни все закрой,
Скорей задуй свечу — к ней повернись спиной.
Что мудрого душа? Глухонемая это...
Тебе ведь все равно, что иногда поэту,
Как птице, хочется запеть без всяких уз;
И озорной юнец, мальчишка с Пинда, муз

Питомец, искусал среди жрецов вопящих
Всю грудь иссохшую у девяти кормящих».

Но убедить тебя, как видно, не легко.
Напрасно сам Вольтер, склонившись, на ушко
Тебе сказал: «Дружок, несносен ты однако».
Ты в ярости кипишь: «Как, эти дети мрака
Войной на имена великие идут,
Что вокруг великого Людовика цветут?»
Ты уверяешь нас, что тщетны все старанья,
Что очень крут подъем и коротко дыханье,
Ты предрекаешь нам в грядущем неуспех,
Ты говоришь: «Баттё глядит на нас на всех.
Танкред из бронзы весь, а Гамлет ваш из глины,
И вечны Буало фальшивые седины».
Увенчан лаврами, косою ты бросил взгляд
На кучу, где стихи нечистые лежат.
И старый добрый вкус — старик, что подметает
На Пинде всякий сор, — в ответ тебе мигает.
И вот уж, осмелев, с отвагою в груди
Ты нам кричишь: «Смету я вас и сам!»

Мети.

Париж, ноябрь 1834

Ну да, мечтатель я, товарищ златоцветам,
 Что в трещинах стены растут нередко летом.
 Мне собеседники — деревья, ветер, вода.
 Они — друзья мои. И майским днем, когда
 Свой аромат струит налившаяся ветка,
 С желтофиолями беседую нередко,
 С плющом советуюсь и с васильком простым.
 Созданье чудное, что мнится вам немым,
 Ко мне склоняется, моим пером здесь пишет.
 Что слышал встарь Рабле, то слух мой ныне слышит;
 Я вижу смех и плач; все слышу, как Орфей.
 Пусть не дивит вас то, что в щедрости своей
 Природа говорит мне вздохом несказанным.
 Я внемлю голосам, мне родственным и странным.
 Ведь прежде, чем начать концерт священный свой,
 И куст, и воробей, и ключ в лугах живой,
 Могучий бас дубрав с оркестром вечно новым
 Всех крыльев, венчиков — меня встречают словом;
 Я — завсегдатай, свой в оркестре дивном том.
 Мечтатель я; не то б лесным был божеством.
 Благодаря во мне царящему покою,
 Тому, что тихо я беседую с листвою,
 С лучом и с каплями дождя, спустился я
 Так глубоко, достиг той бездны бытия,
 Где чуткость дикая трепещет, как от боли, —
 И даже мухе страх я не внушаю боле!
 Былинка зыблема волнением всегда,
 Но приручить ее не стоит мне труда;

В присутствии моем и розы со шмелями
Своими заняты различными делами.
Порой сквозь легкую ветвей тенистых сеть
Приближу к гнездам я лицо, чтоб подсмотреть, -
И в птичке-матери не более тревоги
Я вызову, чем бог, к нам заглянув в берлоги,
В нас вызвал бы самих; не пробуждаю гнев
Я в строгих лилиях, не в пору подоспев,
Лишь поцелуи дня заставят их раскрыться;
Меня стыдливая фиалка не дичится:
Я друг красавицам, я скромн и не строг.
Небесный ветреник, беспутный мотылек
Мнет весело цветок, с него не улетаю,
Когда я прохожу в тени ветвей, мечтая;
А если вздумает тот скрыться под травой,
Заметит мотылек: «Не бойся! Это свой».

Ле-Рош, август 1835

Поэту надлежит, любя лазурь и тень,
 Душою трепетной, сияющей как день,
 Всех за собой ведя, гоня от всех сомненье, —
 Певцу чудесному, чье жаждут слышать пенье
 Мечтатель, женщина, любовник и мудрец, —
 Быть яростным подчас и грозным наконец.
 Когда порой мечтать над книгой вам случится,
 В которой все пьянит, ласкает и лучится,
 В которой для души найдется всюду мед
 И каждый уголок сиянье неба шлет;
 Среди поэзии высокой и смиренной,
 В священной тишине, где взрос цветок бесценный,
 Где слышно, как текут ручьи воды и слез,
 Где строфы птицами с окраской пестрой грез
 Летают и поют любовь и упование, —
 Вам должно иногда познать и содроганье,
 Вдруг увидав, как, дик и страшен для живых,
 Из мрака хищником выходит грозный стих.
 Поэту надлежит, с его посевом щедрым,
 Подобным быть лесов зеленым, чудным недрам,
 Любимым птицами, лучами, ветерком,
 Прелестным, — где вы вдруг встречаетесь со львом.

Париж, май 1842

Все о любви твердит. А вот и розы мая.
 Все помыслы — о ней. Пою не умолкая.
 О май! Твоя любовь — грусть, радость, ревность. Ты
 Вздыхать заставил лес, зверей, пичуг, цветы.
 Минувшей осенью на гладком стане клена
 Я вырезал девиз, и дерево влюбленно
 Поет его теперь, качая головой,
 Забыло автора и выдает за свой.
 Пещеры шурятся, задумались старухи,
 Сложив сердечком рот, к насмешкам соек глухи.
 И воздух сладостный — иль это мнится мне? —
 Признаний полн: их вновь равнина шлет весне,
 А нежная трава — лазури ясной, чистой.
 И, щедрая в любви, в тот небосвод лучистый,
 В смятенье радостном, все больше влюблена,
 На крыльях бриза шлет зеленая страна
 Свой поцелуй весне и льет благоуханья.
 В цветах кармин, шафран, индиго. Их дыханье
 Летит все вдаль, летит — и шепчет: «Я люблю»;
 Их пятна всех цветов повсюду я ловлю —
 В овраге, на лугу; канава — что куртина.
 И, аромат отдав, хранит цветы долина,
 Как будто страстный стон, вздох нежности своей.
 Все, все, что ловит май, смеясь среди ветвей,
 Признания любви болтливой, полной жара,
 Природа занесла на гладкий лист бювара!
 Звучит в лесу рондо, звенит и триолет —
 То птицы феям шлют невнятно свой привет.

Все любит, сумеркам доверив эту тайну,
Все признается в ней. Я раз слышал случайно,
Как север, юг, восток и запад на заре —
Плющ, изгородь в цветах, ручей, весь в серебре,
Звенящий ключ, и дуб, и теплый берег моря —
Все пело с ветрами, четверостишьям вторя.

Сен-Жермен, 1 мая 18...

Мой стих вспорхнул бы над лугами,
Нашел бы он ваш сад и дом,
Когда бы мог взмахнуть крылами,
Как птица в небе голубом.

Горячий, чистый, словно пламя,
Он отыскал бы ваш очаг,
Когда бы мог взмахнуть крылами,
Как мысль, пронзающая мрак.

Летел бы всюду он за вами,
То весел, то печален вновь,
Когда бы мог взмахнуть крылами,
Как вечно юная любовь.

Париж, март 18...

ПЕСЕНКА

Вам нечего сказать мне, право, —
Зачем же встреч со мной искать?
Зачем так нежно и лукаво
Меня улыбкою смущать?
Вам нечего сказать мне, право, —
Зачем же встреч со мной искать?

Вам не в чем мне тайком признаться, —
Зачем тогда бродить со мной,
Зачем руки моей касаться,
Томясь неведомой мечтой?
Вам не в чем мне тайком признаться, —
Зачем тогда бродить со мной?

Вам, видно, скучен я? Но сами
Зачем спешите вы ко мне?
Как радостно и страшно с вами
Встречаться вновь наедине!..
Вам, видно, скучен я? Но сами
Зачем спешите вы ко мне?

Май 18...

Вчера повеяло дыханьем свежим ночи,
Дремавшие весь день запахли вновь цветы,
Звучала птичья трель все глуше, все короче,
И ярче ярких звезд твои сияли очи,
И юной красотой весну затмила ты.

И голос мой был тих. Слагает вдохновенно
Свой самый нежный гимн душа в вечерний час.
Вдыхая чистоту той ночи незабвенной,
Я для тебя у звезд просил весны нетленной,
Я у твоих очей просил любви для нас.

Май 18...

Мы в вишенник густой забрались вместе с ней.
Рукою, мрамора паросского нежней,
Она согнула ветвь, взобравшись без усилий
На дерево. И я увидел, о Вергилий,
Как солнца луч, дрожа, к девичьей груди льнет.
А пальчики ее искали алый плод,
И вишня, огоньком блестя в кустах, манила.
Взбираясь вслед за ней, я видел ножку милой...
«Молчите!» — мне в ответ на страстный взгляд шепнув,
Она запела вдруг. Но, перлами блеснув,
Диана дикая меня не испугала,
Когда из уст в уста мне вишню предлагала.
И, ртом смеющимся припав ко рту, что звал,
Я вишню упустил и поцелуй сорвал.

Триэль, июль 18...

Твоею волею то молод я, то стар.
 Как солнце, что дарит лазури блеск и жар
 И золотые дни шлет после дней ненастья,
 Ты наполняешь жизнь то тьмой, то светом счастья.
 В плаще сияющей и нежной чистоты,
 Как в белой лилии укрывшись тайно, ты
 Мой ослепляешь взор своей душою ясной
 И кажешься сама мне лилией прекрасной.
 Ты улыбнешься мне — мой бог, я весь в огне!
 Когда в кругу чужих ты вдруг бросаешь мне:
 «А, сударь, здравствуйте!» — и тихо: «Мой любимый!»
 Иль, кинув нежный взгляд, проходишь молча мимо, —
 Я оживаю, горд, и славен, и велик!
 Один твой взгляд меня преображает вмиг,
 И отблеск глаз твоих в моих глазах тaitся,
 И, как в листве лесной трепещут крылья птицы,
 Дыханье радости в моих речах живет.
 Я весел, я смеюсь, без горя, без забот,
 Пою с безоблачным лицом — я снова молод!..
 Но если, твоего почуяв сердца холод,
 Загадку странную всю ночь в душе таю —
 Зачем из рук моих ты вырвала свою? —
 Я мучаюсь: что с ней? Что сделал я, безумный?
 И как могла она в толпе, в гостинной шумной,
 Неслышно для других сказать мне все же «вы»?
 И если нежный взор твой холоден, увы,
 Как небо синее, где тучка пробежала, —
 Я чувствую, мой друг, — тоска мне сердце сжала;

Я ухожу, согбен, состарившийся вмиг,
Как будто надо мной декабрь, седой старик,
Склонившись, савана отряхивает клочья...
Как волк в нору, к себе я возвращаюсь ночью.
Да, старость и печаль по возрасту равны, —
Следами их мои черты испещрены,
И горе на лицо кладет свой отпечаток...
Мне в счастье двадцать пять, в тоске — седьмой
десяток.

Париж, июнь 18 ..

СЛУШАЯ ПТИЦ

Скажите, пташки, мне: в лесах, на лоне вод —
Когда же замолчит пернатый ваш народ?
Когда я выложу вам все мои упреки?
Клесты, малиновки, чижи, дрозды, сороки,
Я знаю ваш язык и различаю вас.
Вы не обманете меня на этот раз.
Моя желанная, — пускай разлучены мы, —
Как прежде, мысленно мне шепчет: «Мой любимый!»
Я знаю, в том, что ты поешь, о соловей,
Чаруя сонмы звезд мелодией своей,
Звучат ее слова, ее души напевы.
Вы, птицы, ловите вздох юноши и девы.
Когда мы счастливы и любим и в тиши
Несется наша песнь из глубины души,
Как часто там, в листве, незримый соглядатай
Проворно на лету хватает стих крылатый
И повторяет, слив с мелодией своей!
А чгобы гимн любви звучал еще нежней,
Он в песню двух сердец вплетает крыльев трепет.
О хитрый слушатель, как мил тогда твой лепет!
Все хвалят песнь твою, и шепчет клену ель:
«Вот славно! Он ведь сам придумал эту трель!»
И речка, слушая той песни переливы,
В слезах ласкается к корням плакучей ивы,
И дуб смягчается, и, взмыв под облака,
Орел, мечтой влеком, не видит голубка,
И льнет к волчихе волк, разнежась непривычно,
«Прекрасно!» — молвит сыч, а воробей: «Отлично!»

Амур, когда в сердцах ты основал свой дом,
Все птицы певчие проведали о том.
И песней, сорванной с румяных уст украдкой,
Склоняет соловей леса к дремоте сладкой,
Смягчает камни скал, чтоб зерна конопли
Крылатые певцы в них добывать могли.
И слушает скала, не зная, сон ей снится,
Иль ангелы поют, или щебечёт птица.

Кодебек, сентябрь 183...

Слышишь, раздаётся в роще
Дудочки незримой зов?
Что на этом свете проще
Мирной песни пастухов?

Ветерок, прохладой вея,
Клонит иву над водой.
Что на свете веселее
Щебетанья птиц весной?

Если любишь — мир чудесен,
Счастье светлое лови!..
Что на свете лучше песен
Расцветающей любви?

Ле-Мец, август 18...

СЛОВА, СКАЗАННЫЕ В ПОЛУМРАКЕ

Она сказала: «Да, мне хорошо сейчас.
Я неправа. Часы текут, неторопливы,
И я, от глаз твоих не отрывая глаз,
В них вижу смутных дум приливы и отливы.

В чем счастье? Вместе быть. Я счастлива почти
И благодарность шлю судьбе за все щедроты.
Слежу, чтоб праздный гость не мог к тебе войти, -
Не любишь прерывать ты начатой работы.

У ног твоих сижу. Кругом покой и тишь.
Ты — лев, я — горлица. Задумчиво внимаю,
Как ты страницами неспешно шелестишь,
Упавшее перо бесшумно поднимаю.

Я знаю, что ты здесь, что я сейчас с тобой,
Что мысль, как хмель, пьянит мечтателя-поэта;
Но нужно вспоминать и обо мне порой!
Когда за книгами сидишь ты до рассвета,

Безмолвный, замкнутый, забывший обо мне,
В моей душе печаль живет со счастьем рядом.
Я верю лишь тогда, что вместе мы вполне,
Когда хоть изредка меня ты ищешь взглядом».

Париж, ноябрь 18..

Вьют гнезда ласточки на старых башнях летом,
В углах, где нет людей, но полных жизни цветом;
Малиновки в лесах, поверь, душа моя,
Густую ищут сень, любовь свою тая,
И ложе мшистое, и под зеленым кровом
Скрестившихся ветвей приют утехам новым;
Подобно птицам, мы находим в городах
Убежище любви в укромных уголках,
На улицах, где нас косым не встретят взглядом,
Где ставни заперты; в лугах, гуляя рядом,
Тропинку ищем мы пастушечью в глуши,
Поляну в зарослях, где нету ни души,
Где гасит тишина дневные шумы в чаще, —
Как птицы, в тайники неся любовь и счастье!

Фонтенебло, июнь 18...

Зима. Дороги замело.
Шумит метель. Тебя печалит
Людская ненависть и зло,
И резкий ветер пальцы жалит.

«Поля под снежной пеленой,
Туманней дни, темнее ночи...»
Захлопни дверь, окно закрой, —
К тебе ворваться стужа хочет!

Но сердце настезь распахни;
Оно как светлое оконце:
Пускай темны и хмуры дни,
В него любви заглянет солнце.

Не верь о счастии словам,
Не верь попам и их святыне,
Не верь завистливым глупцам, —
Одной любви поверь отныне,

Одной любви, что на земле
Сквозь мрак, не угасая, рдеет,
Звездой горит в полночной мгле,
Под мирным кровом пламенеет.

Люби. Надежду затаи.
В душе своей простой и милой,
Где шелестят стихи мои,
Все сбереги, что прежде было,

И верность сохранить умей,
К высоким помыслам стремленье.
Не торопись судить людей
За их грехи и заблужденья,

Не отступай, не трепещи
Пред злобой и враждой людскою, —
Горящим факелом в ночи
Любовь да будет над тобою.

Пусть демоны вражды и зла
Тебе грозят, — а ты их встретишь
Чиста, спокойна и светла
И на вражду добром ответишь.

Ведь злоба сердце леденит.
Что толку в гордой укоризне?
Пускай, как радуга, горит
Твоя улыбка в этой жизни.

Зима сурова и страшна,
Но не потушит солнца мглою!
И вечной быть любовь должна,
Как вечны звезды над землею.

31 декабря 18...

Он часто говорил: «Послушай, если б нам
Воспрянуть вновь душой, поверить небесам,
Восторгом сладостным и грустью опьяниться,
И путы города порвать, и с ним проститься,
Безрадостный Париж покинуть навсегда,
Уехать, убежать неведомо куда
От шумной суеты, от зависти ревнивой
И уголок найти с лужайкой, с дряхлой ивой!
Там будет домик наш, цветы, поля и лес,
И одиночество, и синева небес,
И птицы будут петь так ласково и дружно
Над нашей головой... А что еще нам нужно?»

Июль 18...

ЗИМЕ КОНЕЦ

Все оживает, дорогая!
Яснеет небо, тает снег,
Цветет земля, благоухая,
И стал добрее человек.

Любовью небеса трепещут,
Земля счастливей с каждым днем.
Цветы и звезды мягко блещут,
Единым зажжены огнем.

Конец зиме и зимним бедам!
Нагой, таинственный апрель
Торопится за ними следом,
Роняя светлых слез капель.

Мы отвыкаем от сомненья,
От мыслей горестных и мук.
Здесь, в тишине уединенья,
Нам хорошо с тобой, мой друг!

На солнце ветка золотится,
Бросает тень, и близок срок,
Когда на ней засвищет птица,
Из почки выглянет листок.

Рассвет торжественно встречаем, —
Он словно заново рожден, —
И мы полны с тобою маем,
Как маем полон небосклон.

Повсюду слышен гул веселый,
Везде сияют нам лучи.
Звенят, проснувшись утром, пчелы,
А звездный рой звенит в ночи.

Нам шепчут еле слышно травы
И ласково листва поет,
Что только любящие правы, —
Пускай не ведают забот!

Пьянит нас ветер, тихо вея...
Мы, взявшись за руки, стоим.
Как много роз таит аллея,
Как много вздохов мы таим!

Я с утренней зарей прекрасной
Могу твое лицо сравнить:
Такой же блеск улыбки ясной,
Таких же слез росистых нить.

Извечно юная природа,
Адама, Евы верный друг,
Нас, под лазурью небосвода,
В свой сокровенный вводит круг.

Ты лишь появишься — встречают
Тебя восторгом небеса;
На наши ласки отвечают
Приветным шелестом леса,

И, озаренные сияньем,
Струясь, как ароматы, ввысь,
Со всем влюбленным мирозданьем
Сердца счастливые слились.

С ревнивой мукой я простился,
Ты тихой радости полна;
Я со звездой обручился,
И с солнцем ты обручена.

В молчанье жадными губами
Мы прижимаемся к цветам,
Целуем их — и словно пламя
В ответ сжигает губы нам.

Июнь 18...

Величие души храните в испытаниях,
 И будет благостным ваш день!
 Да не коснется вас, прелестное создание,
 Ни безнадежной скорби тень,
 Ни горе двух сердец, познавших охлаждение,
 Ни холод мертвенный, что веет с темных крыл
 Оцепенелого забвенья
 На тех, кто голову склонил..

К вам песнь моя летит, вас утешать готова,
 Из сердца, полного огня.
 Скорбели много вы, — любви поверьте снова,
 Любите небо, мир, меня!
 Пусть приласкает вас, смягчив души страданье,
 Заря — дочь сумрака, любовь — скорбей дитя,
 Все, что во мраке льет сиянье,
 Улыбкой в дымке слез светя!

Октябрь 18...

Лишь там, где светишь ты и дышишь,
И я живу... Погибну я,
Коль просьб моих ты не услышишь
И оторвешься от меня!

Зачем мне жить печальной тенью
Той радости, ушедшей прочь,
Скорбеть под сумрачною сенью
Небес, что охватила ночь?

Я как живой цветок ограды:
Весна — вся радость у него,
Исчезнешь ты, как луч из сада, —
Кругом все пусто и мертво!

Ловить сиянье глаз любимой —
Вот все, что в жизни я хочу;
Ты упорхнешь... Тоской томимый,
И я из мира улечу

К небесной синеве безбрежной,
Что колыбелью мне была...
Лишь ты своей рукою нежной
Удерживаешь здесь орла.

О, как поникну я в печали,
Когда умолкнет легкий шаг!
Твоя ль уходит жизнь, моя ли —
Увы, я не пойму никак.

В твоей душе я не однажды
Вновь черпал силы в трудный миг;
Так птицу, что припала в жажде,
Поит живительный родник.

Нам открывает жизнь вселенной
Святая, страстная любовь,
Ее лишь пламя неизменно
Мир озаряет вновь и вновь.

Да, без любимой вся природа —
Пустая, скучная тюрьма,
Где горькие влачатся годы,
Где не мила и жизнь сама.

Куда ни взглянешь — все уныло;
Тьма нависает надо мной,
И праздник мрачен, как могила,
И как изгнание — край родной.

Не будь глуха к моим мольбам
И в скорби не покинь меня,
Но радуй сладкозвучным пеньем
Наш сад, малиновка моя!

Чему обрадуюсь душою,
Что отпугнет мои мечты,
Что делать с жизнью мне самой,
Когда уйдешь отсюда ты?

В сени ветвей, в дневном сиянье
Порхая, ты несешь с собой
Мои молитвы, и желанья,
И песнопений дар живой.

Что делать с полем, где туманом
Ложится скорбь — росой седой?
Что делать мне с цветком медвяным?
Что делать мне с ночной звездой?

Что делать мне с угрюмой чашей,
Где кроткий взор сиял вчера,
И с розой, чашечку клонящей
С вопросом: «Где моя сестра?»

Уйди, коль ты над сердцем властна, —
И я умру, лишась всего.
Лишь тень бывшего — мир прекрасный,
Когда не видишь ты его.

На что мне благодатная лира,
Душевных доблестей расцвет,
И утра блеск синей сапфира,
Коль в нем твоей улыбки нет?

В лучистых днях, в ночах туманных
Что буду делать — бледен, тих,
С лобзаниями без губ желанных,
С росой слез без глаз твоих?

Август 18...

Как саван, бледный пруд лежит в чащобе леса;
Полянка тихая в кустах укрылась там;
Все глубже, все темней густой листвы завеса.
В сплетении ветвей видна ль Венера вам?

Видна ль Венера вам над дальнею грядою,
Вам, кто в вечерней мгле и счастлив и влюблен?
Туман на дно ложбин лег белой пеленою,
Трава, зашелестев, могил тревожит сон.

О чем шуршит трава? Что говорит могила?
«Пусть любит, кто живет! А нам под тисом спать...
Целуйтесь горячей: мир сумраком покрыло.
Вам наслаждаться, жить, а нам — лишь вспоминать.

Любите пламенно! Любовь угодна богу.
О вы, бредущие по дремлющим лесам!
Частица той любви, что в дальнюю дорогу
Мы взяли, в мир иной, в молитве светит нам».

Те, кто мертвы теперь, блистали в днях минувших.
Светляк, таясь во мгле, фонарик засветил.
Колышет ветерок траву в полях уснувших,
Дыханье господа тревожит сон могил.

Укромной хижины чернеют очертанья;
Доносится с лугов шаг мерный косарей;
Звезда — цветок небес — льет тихое сиянье
Огнистым венчиком мерцающих лучей.

Пришла пора любви, и расцветают вишни;
И ангел вечера на крыльях голубых
Сливает, унося, зов мертвых еле слышный
С любовью страстною, с лобзаниями живых.

Шель, август 18...

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ, КОГДА Я СМОТРЕЛ НА НЕБО

Раз вечером сказала мне она
С улыбкой: «Друг, что смотришь неустанно,
Как меркнет день, сменяясь мглой туманной,
Как первая звезда встает, ясна?
Что ищет взор твой в вышней той пустыне?
Оставь ее; взгляни мне в душу ныне.

В безбрежности прохладной темноты,
Читая в ней узор созвездий зыбкий,
Что ты найдешь взамен моей улыбки?
Наш поцелуй чем там заменишь ты?
Скинь сердце мне облекшие покровы.
Знай, звезды в нем бесчисленны и новы!

В нем столько солнц! Коль любим мы с тобой,
Все дивной в нас является усладой;
И свет любви, встающей над преградой,
Затмит и блеск Венеры над горой.
Лазурь ничто, как ни была б бескрайна;
В моей душе небесней неба тайна!

Нас вспыхнувшей звезды пленяет жар,
И много вокруг чудесного таится.
Так сладостны и розы и денница,
Но слаще нет для нас любовных чар!
Свет истинный, огонь животворящий —
Луч, от одной души к другой летящий!

Любовь в глуши пещер ценней светил,
Неведомых иль познанных от века.
Приблизил бог, на благо человека,
К вам женщину, а небо отдалил.
«Любить и жить! — вот смысл его завета
Смотрящим ввысь. — Все призрак, что не это!»

Любить! Всё в том. И бог нам так велит.
Оставь же высь с ее холодным светом!
Мой взор, тебя ласкающий приветом,
И лучший свет и красоту дарит.
Любовь — мир чувств, мечты и пониманья;
В ней — сердца жен с умом мужей слиянье.

Любимый! Ты, деля восторг со мной,
Не слышишь ли гармонии чудесной?
То голоса природы всей окрестной
Поют любовь, став лирою одной.
Так будем же любить! В просторах луга
Забудь про высь! Я к ней ревную друга!»

Любимая так говорила мне,
Чело рукой поддерживая стройной,
С мечтой в глазах, пленительно-спокойно;
И голосом, чуть слышным в темноте,
Мне, радуясь, прекрасна, безмятежна,
Любимая так говорила нежно.

Восторг сердец дыханье прерывал.
Ночных цветов приоткрывались чаши...
Деревья, где, скажите, вздохи наши?
Где речи те, скажите, выси скал?
Да, жалок наш удел, когда такие
Исчезнуть дни должны, как все другие!

Клад памяти, что приумножен тьмой!
То давних дум ночные кругозоры!
То отсветы вещей померкших! Взоры
Минувшего в их прелести былой!
Как бы извне, с порога, те святыни
Задумчиво я созерцаю ныне.

Беда ль придет к нам после ясных дней, -
Отныне нам забыть о счастье надо;
Надежды ли исчерпана отрада, —
Уроним чашу в глубину морей.
Забвение — волна, что все схоронит,
И кубок в ней, что брошен нами, тонет.

Монф., сентябрь 18... — Брюс., январь 18...

**НАДПИСЬ НА ТОМЕ
«БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ**

Однажды, в сумерках вечерних, на дороге
Я встретил путника в широкой римской тоге.
Он был похож на тень в закатном свете дня.
Замедлив гордый шаг, прохожий на меня
Взглянул, и молнией его сверкнуло око.
Он тихо вымолвил: «Я был горой высокой
И небо затмевал в дни древности седой.
Оковы сна сорвав с души своей слепой,
По лестнице существ я на ступень поднялся
И превратился в дуб. Народ мне поклонялся,
И шелестом глухим я тишину будил.
Потом в песках пустынь я долго львом бродил,
И мне внимала ночь, и мне внимали звери.
Теперь я — человек, я — Данте Алигьери».

Июль 1843

Смотрите! Женщина с лицом костлявым, тонким,
Обремененная испуганным ребенком,
Кричит на улице и жалуется вслух,
А любопытные собираются вокруг.
Кого она честит? Соседку? Или мужа?
Детишки просят есть, нет денег, в доме стужа.
Все их имущество — соломенный тюфяк.
Она работает, муж тащит все в кабак.
Внезапно, зарыдав, она, как привиденье,
Скрывается из глаз. Срежь шумного стечения
Собравшихся зевак, скажите мне, о вы,
Мыслители, — ужель для вас совсем мертвы
Ее слова и боль? Насмешливое эхо
Доносит до меня одни раскаты смеха.

Вот девушка. Она нежна и, может быть,
Мечтала иногда о счастье любить;
Но бедная одна, совсем одна; владеет
Лишь мужеством она, да шить еще умеет.
Она работает. Ценой своих трудов
Оплачивает хлеб, и одинокий кров
Под самой крышею, и платице льняное,
И смотрит из окна на небо голубое
И весело поет, пока кругом тепло.
Но время зимнее нежданно подошло,
И очень холодны зимой в мансарде ночи,
И дороги дрова, и дни, увы, короче,

¹ Печальные мысли (лат.).

И масла в лампе нет. И далека весна.
О юность! В жертву ты зиме принесена!
Ведь голод, протянув свой коготь в щель,
не спросит, —

Снимает с вешалки накидку и уносит
Стол и часы. Увы, заветное кольцо, —
Ты продано! Она глядит нужде в лицо
И борется еще, но в полночь, за работой,
Злой демон ей порой нашептывает что-то.
Работа кончилась, и думам нет конца.
Бедняжка продает Почетный крест отца,
Реликвию свою. А кашель грудь терзает.
Ей лишь семнадцать лет. Ужели угрожает
Ей смерть от голода? И в черный день она
В ту пропасть бросилась, что не имеет дна...
И на челе ее отныне видит око
Не розы чистоты, но алый цвет порока.
Теперь все кончено. Ее расплата ждет.
И дети улицы, безжалостный народ,
Ее преследуют своей насмешкой острой,
Когда она идет бульваром в кофте пестрой,
Идет и говорит, смеясь, сама с собой
И плачет, бедная. А голос громовой
Народной совести, который гнет мужчину
И ломит женщину, кричит ей: «Прочь! В пучину!»

Купец обвешивал — и стал он богачом.
Теперь он член суда. Холодным зимним днем
Бедняк похитил хлеб, чтоб дать семье голодной.
Взгляните! Зал суда кишит толпой народной.
Там судит бедняка богач, — таков закон:
Один владеет всем, другой всего лишен.
Богач торопится, ему пора на дачу.
Взглянул на бедняка, его не внемля плачу,
И вынес приговор: «На каторгу!» Затем
Он удаляется. Народ доволен всем,
И все расходятся. Лишь в опустелом зале
Взывает к небу тот, кого давно распяли.

Является у нас могучий гений. Он
Приносит пользу всем. Бесстрашен, добр, умен
И всем дарит свой свет, — заря над океаном

Так волны золотит сиянием багряным.
Он мысль великую столетию несет,
И ослепителен во тьме его приход.
У гения есть цель — всем людям в этом мире
Уменьшить тяготы, сознание сделать шире.
Он рад, что труд его оставит в мире след,
Что люди думают и терпят меньше бед.
Вот он явился. Честь ему? О нет, бесчестье!
Писаки, мудрецы, и знать, и чернь, все вместе,
Кто ловит всякий слух и кто всегда ворчит,
Кто королю холоп и кто подонкам льстит,
Вся свора на него накинется со свистом, —
И если он трибун иль состоит министром,
Ошикают его, а если он поэт,
Все хором закричат: «Ни капли смысла нет
В его творениях! Всё ложь! И все ужасно!»
Но он, подняв чело, глядит спокойно, ясно
Прекрасный идеал его глазам открыт.
Мечтаньям предан он. В его руке горит
Светильник пламенный — он души озаряет
И в бездны черные свой яркий свет бросает.
Когда же он трибун или министр, тогда
Он борется еще дни, месяцы, года
И тратит пыл души. Но клевета людская
Преследует его везде, не отставая,
И нет убежища. Будь он народу враг,
Будь он чудовище, дракон иль вурдалак,
Его не стали бы грязнить насмешек ядом
И камни на него не сыпались бы градом.
Такой бы злобы он не видел. Для людей
Он сеет доброе. Ему кричат: «Злодей!»
Прогресс — вот цель его, и благо — компас верный.
Кормило в руки взяв, прямой, нелицемерный,
Он правит кораблем. Известно морякам,
Что, отдавая дань теченьям и ветрам,
Приходится порой лавировать, чтоб цели
Верней достиг корабль, минуя злые мели.
Так делает и он. Невежды вслед орут:
«Зачем на север плыть? Погрешность в курсе тут!»
Он повернул на юг — они кричат: «Ошибка!»
А если грянет шторм, злорадная улыбка
На лицах их видна. И он в конце концов

Склоняет голову. Усталость, груз годов...
Его томит недуг, неумолимый, странный...
Он умер. Зависть, враг упорный, неустанный,
Приходит первая глаза ему закрыть
И гроб его своей рукой заколотить,
Склоняется к нему и слушает угрюмо:
Да вправду ли он мертв? И нет ли снова шума?
И не узнал ли он, что свой прославил век?..
Потом смахнет слезу: «Да, он был человек!»

Куда спешат они так рано на рассвете,
Худые, тихие, безрадостные дети,
С отчаяньем в глазах? Куда чуть свет одни —
Плетутся девочки годов семи-восьми?
Их путь ведет туда, где жернова кружатся
С утра и до ночи, чтоб там, трудясь пятнадцать
Томительных часов, не смея глаз поднять,
Одно движение покорно повторять,
Согнувшись на полу, среди машин зубастых,
Жующих день и ночь гребнями зубьев частых.
На этой каторге, невинные ни в чем,
Они работают. Грохочет ад кругом.
Они не знают игр. Они не отдыхают,
И тень свинцовая их лица покрывает.
День только начался, а каждый так устал!
Бедняжкам не понять, кто детство их украл.
И только их глаза зывают к небу сами
«Отец наш, погляди, что сотворили с нами!»
И этот рабский труд возложен на детей!
А результат его? Один, всего верней:
Что вырастет у нас Вольтер придурковатым
В таких условиях, а Аполлон — горбатым.
Тлетворный, вредный труд! Он губит красоту
В угоду богачам, он множит нищету,
Ребенка делает орудием наживы.
«Прогресс!» — вы скажете? Прогресс преступный,
лживый!

Машину мертвую он одарил душой,
Но за людьми души не признает живой.
Да будет проклят труд, ведущий к вырождению,
Труд маленьких детей, подобный преступленью!
Да будет проклят он навеки, навсегда —

Во имя светлого, здорового труда,
Могучего труда, который щедрой властью
Народам вольность даст, а человеку — счастье!

Телега, а на ней гранитная плита —
И конь уже в поту от гривы до хвоста.
Он тянет. Возчик бьет. Дорога вверх стремится.
Конь поскользнулся. Кровь под хомутом сочится.
Конь прѣбует налечь. Напрасно! Вот он стал —
И кнут над головой понурой засвистал.
День послепраздничный. Клопочет хмель вчерашний
В мозгу у возчика. Он полон злобы страшной.
Чудовищный закон: живое существо
Пропойце отдано на произвол его.
Конь замер. На него нашло оцепененье.
Темно в его глазах. Он — весь недоуменье.
Груз давит на него, а кнут его мертвит.
Что камню надобно? Что человек велит?
Удары сыплются, как вихри молний злобных,
А бедный каторжник стоит в своих оглоблях
И молча терпит все. Но возчик не сдает:
Веревка лопнула — он кнутовищем бьет;
А палка треснула — он хлещет чем попало.
И конь, истерзанный, измученный, усталый,
Склоняет голову под грузом стольких мук,
И слышно, как звенит подкованный каблук,
По брюху конскому с размаху ударяя.
Конь захрипел. Он жил еще, дышал, страдая,
Он двигался еще. Прошел один лишь час —
Теперь он недвижим. Как будто сил запас
Внезапно кончился. Палач удвоил пытку.
Конь делает еще последнюю попытку.
Рывок! Он падает, и вот под колесом
Уже лежит плашмя со сломанным хребтом.
Мутнеющий зрачок сквозь смертную дремоту
Взирает издали без смысла на кого-то...
И гаснет медленно его последний взгляд.
Увы!

За все дела берется адвокат.
Он издевается над тем, кто справедливо
Расследовать привык, что истинно, что лживо.

На этот счет он слеп, хоть и весьма глазасть:
Отлично видит он, кто больше денег даст;
А совесть у него в покое достохвальном.
Вот журналист. Засел в журнале клерикальном
И клеветой живет. Ну чем он не бандит?
Вот эту пару свет безжалостно травит,
А в чем же их вина? Любовь — их преступленье!
Не терпит слабого общественное мнение,
К богатым ластится, на нищего плюет.
Изобретатель мертв, а паразит живет!
Все разглагольствуют и врут, врут и клянутся,
Доверчивым глупцам насмешки достаются.
Имущий преуспел, он в жизни властелин, —
Выпячивая грудь, шагает как павлин,
И собственных льстецов его рождает окверна.
Вот карлики. Они глядят высокомерно.
О гряда мусора, которую порой
Тряпичник осветит коптилкой роговой!
Ты чище во сто крат, чем все людишки эти.
Что постояннее людского сердца? Ветер.
Вот некто; он презрел и совесть и закон.
Так светел взор его, так мил его поклон!
Он на колени вас поставит, без сомненья.

В пыли дорожной ты, старик, дробишь каменья.
Твой войлочный колпак на воздухе истлел,
От солнца и дождя твой череп побурел,
И холод — твой палач, и зной — тебе обуза,
И тело жалкое не защищает блуза.
Землянка бедная твоя в дорожном рву,
И козы, проходя, щипнут с нее траву.
А заработок твой — к обеду корка хлеба;
Ведь ужина тебе не посылает небо!
А с наступлением вечерней темноты
Порой невольный страх внушаешь людям ты,
И косо на тебя оглянется прохожий,
О мрачный, тихий брат деревьев, полных дрожи!
Как листья осенью, летят твои года.
Давно, — ты молод был и полон сил тогда, —
Когда на Францию пошли войной народы,
Чтоб задушить Париж и с ним зарю свободы,
И тысячи людей, как море, потекли

К священным рубежам твоей родной земли, —
Как гунны некогда иль полчища Аттилы, —
Ты грудью встретил их, схвативши в руки вилы.
Ты был тогда велик! Ты защищал Шампань
От своры королей, поднявшихся на брань, —
Ты славно поступил тогда! — Но что же это?
Какая пышная несется к нам карета!
Ты пылью ослеплен из-под ее колес,
Невольно руку ты к глазам своим поднес.
В карете человек раскинулся привольно.
Склонись пред ним, старик! Пока ты добровольно
Нес жертвы, он себе составил капитал, —
На понижение валюты он играл.
Катились в бездну мы. Его дела шли в гору.
Стервятник нужен был для трупов — без разбору
Он мертвецов клевал и пил кровавый сок.
Он ренту и дворцы из наших бед извлек.
Душистые стога с московского похода
Собрал в своих лугах. Бушующие воды
Березины ему воздвигли особняк,
А Лейпциг оплатил лакеев и собак.
Чтоб этот человек в Париже жил, имея
Парк с золочеными решетками, аллеи
Из бука белого и лебедей в пруду,
Он с поля Ватерло взял золотую мзду,
И наше бедствие его победой стало,
И саблей Блюхера, не устыдясь нимало,
Из тела Франции он вырезал кусок,
И выжал для себя, и съел, и выпил сок.
Ты нищий, старина, — он стал миллионером;
Тобой гнушаются, — он служит всем примером.
Он честный человек! Отвесь ему поклон.

Бои на улицах. Текут со всех сторон
Людские множества; приходят и уходят.
О, толпы! Борозды глубокие проводят
Ночь, горе, скорбь утрат. Печальные поля!
Какою жатвою вознаградит земля
Бросающих зерно в глубины этих пашен,
Чей колос, может быть, покажется им страшен?
Ты, жизнь, и ты, о смерть, вы — волн круговорот.
Народ — что океан, а чернь — что накупь вод.

Здесь хаос — царь, и здесь — величие людское.
Здесь, хищная, как зверь, и страшная собою,
С кортежем призраков, где смутно видишь ты
Желанья, ненависть, отчаянье, мечты,
С животной жадностью, опаснее магнита,
С продажностью людей, с униженностью скрытой
И в неизменности обычаев проста —
Все разновидности являет Нищета.
И бедняки живут, в своем замкнувшись горе.
Но Нищета растет, вздымается как море,
И, преступленьями развалины покрыв,
В неведение вершит обратный свой отлив.
Бедняк не хочет зла, но голод искушает.
Он ищет помощи... А сумрак наступает.
Вот дети нищие с протянутой рукой.
Во тьме зажглись огни. Открыт притон ночной.
А ветер гонит их, кружа в своих объятьях;
Разбитые сердца дрожат в дырявых платьях.
Здесь о несбыточном назначено мечтать.
Кто стиснул зубы? Муж. Кто тихо плачет? Мать.
Кто зябнет? Старики. Кому рыдать? Невесте.
Кто голодает? Все, все голодают вместе.
Внизу — мир ужаса,верху — веселья мир;
Там — голод властвует, а здесь — сверкает пир;
Там — бездна нищеты, откуда слышны стоны,
Здесь — смех и песенки, цветочные короны.
Счастливы здесь живут, и думают они,
Как веселей прожечь свои часы и дни.
Собаки, лошади, кареты золотые...
Бенгальские огни слепят глаза пустые.
Жизнь — удовольствия без цели, без конца.
Лишь надо позабыть средь роскоши дворца
Подвалов ад внизу и небо, там, высоко.
Кто Лазаря забыл, забыл господне око!
На тени бедняков счастливы не глядят:
Им нужен только роз волшебный аромат,
Да нега страстная, да взгляд высокомерный,
Да опьянение. Им нужно, чтобы верный
Лакей всегда стоял за ними на пирах,
Как символ нищеты в блестящих галунах.
Цветы на женщинах прекрасных, обнаженных;
Цветы сплетаются гирляндами в вазонах.

Сияет пышный бал, где тьма и свет слились,
Все чувства опьянив и одурманив мысль.
Там люстры с потолка свое бросают пламя,
Подобно деревьям с блестящими корнями,
Чьи кроны наравне с небесной высотой.
Танцующий эдем над мрачною тюрьмой!
Они блаженствуют. Их блеском ослепили
Красавицы, полет бесчисленных кадрилией,
Сиянье в пламенных и голубых глазах.
То отразится вальс в высоких зеркалах,
То, будто кобылиц среди лесов скаканье,
Галоп ворвется в зал. Переводя дыханье,
Бал прерывается. Все растеклись, ушли
И бродят парами в садах, в тиши, вдали.
Но вдруг, безумная, взывая к дальним теням,
Бросая горсти нот по мраморным ступеням,
Вернулась музыка. Глаза зажглись. Смычок
Подпрыгнул и опять толпу вослед увлек.
Так, ароматами и звуками пьянея,
Летит за часом час быстрее и быстрее.
Лист за листом, с небес слетая, мчится прочь.
Те в кости звонкие сражаются всю ночь,
Те алчною рукой, тасуя, гладят карты,
И ломбер, фараон, ландскнехт в пылу азарта
Их держат за столом зеленого сукна,
Пока сквозь ставни свет не озарит окна.
И в те часы, когда от холода трепещут
И стонут чердаки, а волны грозно плещут,
Швыряя льдинками в гранитный парапет,
А во дворцах ночной не кончился банкет, —
Тогда над головой счастливых и довольных
Два роковых столба, несущих треугольник,
Встают из-под земли на грязной мостовой...

О, рощи! О, леса! Убежище! Покой!

Париж, июль 1838

Лев жил вблизи ключа, вверху высоко
Парил орел.
И двух монархов бог — и рок жестокий! —
Сюда привел.
Цари у пальм, для путника отрадных,
Вступили в бой
И пали там, на берегах прохладных,
Тот и другой.
Орел им молвил с вышины небесной
В их смертный час:
«Вселенную вы находили тесной?
Нет больше вас!
О короли, где вы легли костями,
Ваш прах земной
Смешается с дорожными камнями,
С песком, с травой!
К чему война, безумцы, ярость мести,
Раздор и спесь?
Со львом в согласии и в мире вместе
Живем мы здесь.
И нас обоих ключ поит единый.
Теперь, как встарь,
Лев властвует над лесом, над равниной;
Я — в небе царь».

Октябрь 1846

Когда клонился Рим к закату своему,
Готовясь отойти в небытие, во тьму,
 Вослед за царствами Востока;
Когда он цезарей устал сажать на трон,
Когда, пресыщенный, стал равнодушен он
 Ко всем неистовствам порока;

Когда, как древний Тир, он стал богат и слаб
И, гордый некогда, склонился, словно раб,
 Перед распутным властелином;
Когда на склоне дней стал евнухом титан,
Когда он, золотом, вином и кровью пьян,
 Сменил Катона Тигеллином, —

Тогда в сердца людей вселился черный страх,
А указующий на небеса монах
 В пустыню звал сестер и братьев.
И шли столетия, а обреченный мир
Безрадостно справлял свой нечестивый пир
 Среди стенаний и проклятий.

И Похоть, Зависть, Гнев, Гордыня, Алчность, Лень,
Чревоугодие, как траурная тень,
 Окутали земные дали;
Семь черных демонов во тьме глухой ночи
Парили над землей, и в тучах их мечи
 Подобно молниям сверкали.

Один лишь Ювенал, суров, неумолим,
Восстал как судия и на развратный Рим
Обрушил свой глагол железный.
Вот статуя его. Взглянул он на Содом —
И в ужасе застыл, встав соляным столпом
Над разверзающеюся бездной.

Февраль 1843

Земли иссохшая, неласковая грудь,
 Где люди трудятся, не смея отдохнуть,
 Чтобы потом за труд, безрадостный до боли,
 Хлеб получить взамен, насущный хлеб, не боле...
 Питомец скудных нив — жестокий человек;
 Мир, братство и любовь покинули навек
 Его селения, чтобы уйти в пустыни;
 Гордыня богачей, отверженных гордыня;
 Тупая ненависть в сердцах людей царит;
 Безглазый призрак — смерть — все лучшее разит;
 Вершины гордых гор туманной мглой повиты;
 Честь, правосудие поруганы, забыты;
 Бушует в мире зло — дитя слепых страстей;
 Скрывают хищников леса в глуши своей;
 Здесь — льды бесплодные, там — выжженные
страны;

Неодолимый гнев колеблет океаны,
 И гибнут корабли в бездонной глубине;
 На всех материках, — в крови, в дыму, в огне, —
 Вздыхая факелы, война, как зверь, ярится,
 И вечно чей-то кров пылает и дымится,
 И всюду бой кипит — в полях, в горах, в лесах...

И все это слывет светилом в небесах!

Октябрь 1840,

Он жил смеясь, резвясь, и рос он год от года.
Зачем же унесла ты мальчика, природа?
Не все ль твое: лазурь, леса и волны рек,
Мирьяды пестрых птиц, что распевают звонко?
Зачем же отнимать у матери ребенка,
Под грудями цветов сокрыв его навек?

Иль мало звезд тебе? Ты их считать устала.
Богаче, радостней ты, взяв дитя, не стала,
А сердце матери, добыча стольких мук,
Что проблеск счастья в нем рождает только стоны,—
Разверзлось пропастью, как ты сама — бездонной:
Нет утешения, и пусто все вокруг.

Май 1843

Не издевайтесь вы над ним! Он тот, к кому
Еще ни разу луч не заглянул сквозь тьму.
Учитель он — не раб и не слуга наемный!
Когда он в класс войдет и сядет, тихий, скромный,
В ладонях сжав виски и голову склонив, —
А между тем в нем дух великих римлян жив,
Чьи образы он вам рисует неустанно, —
Вы, дети милые, друзья зари румяной,
Не издевайтесь вы над ним! Мы все несем
Нелегкий жизни груз, и все мы спину гнем;
Но этот юноша, дня пасынок несчастный,
Он жжет себя в ночи, как факел неугасный.
Он брат ваш, старший брат! Как вы, в затворе он,
Но тяжелее вас цепями отягчен.
Утрачен жизни путь в тумане, еле начат;
Лишь скука в сумрачной его дали маячит.
Ни птицы в небе, ни любви. Бредет, нетверд,
Бедняк из бедняков! А все, победно горд,
Он в полдень ждет зари, он грезит о рассвете.
К печальной юности добрее будьте, дети!

Поймите: в жизни, там, где ждет вас путь борьбы,
Нет равенства души, нет равенства судьбы.
Трудней для нищего большие достижения.
Он вашего вдвойне достоин уваженья:
Средь вас он всех бедней — и всех вас больше он.
Поймите: горем и заботой удручен,
Сын бедной хижины дает вам свет и разум;

Без хлеба сам сидит, а дарит вас алмазом!
Свет лампы, длинный зал, еловые столы
И вечный этот гам... Сердцами вы не злы, —
Потише, мальчики! От гложащей тревоги
И так без времени седеют педагоги.
Вам — шалости, а он — он изнемог вконец;
Его душа — трава, и жадный зуб овец
Ее грызет. Ваш смех ему — как пламя смерти;
Он задыхается без воздуха, поверьте!
Бессильный гнев кричит: «Пощады!» — а слеза
Не смеет вылиться и втайне жжет глаза.
Его в часы труда изложет ваша скука,
А ваш час отдыха ему двойная мука.
Истерзанную мысль всю отдает он вам.
Она, как белый лист, что ходит по рукам,
Становится, глядишь, черней, мертвее, суше:
Опустошили вы и память в нем и душу...
Кто выпустил словцо, а кто смешок и свист —
И мысль замарана; подай вам новый лист!
А если вдруг мечта зажглась и озарила
Его склоненный лоб, — уже текут чернила,
Чтоб захлестнуть лазурь, чтоб загасить ее;
И перья, налетев как злое воронье,
Терзают и клюют, и рвут ее на части —
И скука прежняя вернулась, как ненастье.
Днем помечтать нельзя, а ночью сон не в сон.
На крепкой ниточке привязан сердцем он
К ученику. Уйти? Лететь крылатой думой
От этой душной тьмы, от мелочного шума
В чертоги замыслов? Нельзя! Ученики,
Все эти мальчики, что так резвы, легки,
Оцепят — и с высот он падает в бессилье:
Рой легких мотыльков свинцом осел на крылья.
Он — мученик, а вы — вы пыткой каждый час
Его терзаете, распятого за вас!
На нем сорвете вы, как повелся обычай,
И горечь и успех. В законную добычу
Вам отдан день его и на забаву — ночь.
Вы — буря; спорить с ней несчастному невмочь, —
Его сметет ваш смех и буйное веселье;
Вы — беззаботный пир, он — на пиру похмелье;
Вы — хор, он — горький крик, врезающийся в хор.

Кто знает? Может быть, он, хоронясь как вор,
Стесняясь доброго поступка, как дурного,
Задумчивый аскет, голодный и суровый,
В одежде латаной, средь нищих — нищий брат,
Готовый старикам всегда помочь, он рад,
Что может превратить бессонницу, лишения,
И голод, и веков высокие творенья,
Которые детей он учит понимать, —
В вязанку топлива, чтоб отогрелась мать,
В обнову для сестры, кисейную косынку;
Свой пот, свою слезу — в жемчужную росинку,
Чтоб тихим вечером продрогший голубок
Бесшумно прилететь и выпить каплю мого.
Поймите, мальчики: подвижник незаметный,
Как долгу своему он предан беззаветно,
Глаза и душу сжег на нем! Полумертвец,
Он вертит жернова — и станет, наконец,
Для скованной его души, простой, безгневной,
Пожизненной тюрьмой затвор ваш однодневный.
Поймите: как траву, его ваш топот мнет,
Он не смеется, он — поймите — не живет!
Вас будущее ждет, зовет апрель веселый,
Вам завтра — улететь в широкий мир из школы,
Ему — остаться здесь, и завтра для него,
Как настоящее, и глухо и мертво.
Ему всегда декабрь, хоть май свети в окошко,
Всегда мощный двор, и эта комнатешка,
И непогодь, и дождь, и снег. Когда ж потом
Войдете вы в лета, он будет стариком.
И, если не умчит его волной счастливой,
Всегда он будет здесь, печальник молчаливый,
Делить с учеником во мраке этих стен
Не радость буйную, а тяготы и плен.
Так преклонитесь же пред ним с хвалой

любовной,

Пред ним, колодником, казнимым невинно,
Пред подвигом его. Что дал он? Что берет?
Пусть он предстанет вам таким, как есть: он тот,
Кто просветил ваш ум, кто дал клинок вам в руки
С двояким лезвием — искусства и науки,
Чтоб, истину любя, могли вы жизнь пройти
И за прекрасное сражались бы в пути!

Святым представится он вам в своем призванье —
Вести к высокому, и к пользе, и к познанию
Орду смятенных душ под утренним лучом.
Где паствою сердца, там разум пастухом.

Пока он здесь и звук скандовки однотонной
Его баюкает — и вот он никнет сонно, —
Пусть в гулких сумерках из приоткрытых книг
Забьет поэзии живительный родник;
Пусть от Овидия, Софокла и Платона,
Пусть от крылатого и ясного Марона,
От драматических Эсхиловых химер,
От вас, полубогов, Гораций и Гомер,
К нему, ревнителю далекого величья,
К нему, оратаю смиренного обличья, —
Пусть низойдет к нему, трудившемуся век
На ниве, названной «грядущий человек»,
От гармонических возвышенных творений
Пусть низойдет к нему, благословляя, гений!

Июнь 1842

ТО, ЧТО Я УВИДЕЛ ОДНАЖДЫ ВЕСНОЙ

Услышав чей-то плач, я в дверь вошел поспешно.

Там четверо детей рыдали безутешно,
А мать была мертва. Нет слов, чтоб описать
Окостеневший труп и жалкую кровать.
Я словно заглянул в раскрытую могилу...
Очаг давно остыл, солома крыши сгнила,
В глазах детей была недетская тоска;
Улыбкой, как лучом, пробившим облака,
Лицо покойницы зловеще озарялось,
И мальчик лет шести мне говорил, казалось:
«Взгляни, в какую тьму мы свергнуты судьбой!»

Да, преступление здесь было предо мной.
Какое? Женщина с душой невинной, ясной
Трудилась на земле, цветущей и прекрасной.
Небесный промысел любовно сотворил
Ее для радости. Простым рабочим был
Муж этой женщины. Без зависти, без злобы
Шагами мерными брели по жизни оба.
Холерой заболел и умер муж, а ей
Достались нищета и четверо детей.
Она работала упорно, терпеливо,
Была внимательна, опрятна, бережлива.
Без простыней кровать, нет в очаге огня...
Не жалуясь, судьбу напрасно не кляня,
Она бралась за все: чинила, вышивала,
Цыновки делала, ночей недосыпала,

Чтоб накормить детей. Она честна была,
И вот — от голода беззвучно умерла.
А птицы весело в лесу порхали дальнем,
Стучали молоты по звонким наковальням,
Кишели масками нарядные балы,
Где пары прятались в укромные углы, —
Везде кипела жизнь. Купец считал монеты,
Катились с грохотом по улицам кареты,
Мужчины у кафе смеялись без забот,
Над морем встряхивал султаном пароход...
И среди радости, веселья, шума, света,
Скрываясь от людей, тайком в лачугу эту
К несчастной женщине вполз голод, как удав,
И тело бедное стальным объятьем сжав,
Он задушил ее, безжалостный и жуткий.

О, голод — это взгляд бездомной проститутки,
Кастет грабителя, дрожащая рука
Ребенка, жадно хлеб крадущего с лотка,
Горячка бедняка на ложе одиноком,
Последний хрип того, кто был раздавлен роком...
Господь, господь! Богатств земли не сосчитать;
И злаки и плоды дарует наша мать...
Вот дерево в цвету, вот нива золотая...
Все сущее живет, забот и бед не зная;
У мошки в бузине есть пища и приют,
Малиновку поит прозрачной влагой пруд,
Терзает ягуар добычу кровожадно,
Угрюмый, гнусный гриф живет могилой смрадной,
И только человек на голод обречен!
О, голод обществом преступно порожден!
Оно из недр своих убийцу выпускает.

Скажите, почему от голода страдает
Ребенок на заре своих печальных дней
И почему птенцы счастливее детей?

Апрель 1840

Лев! Пленный богатырь! Я замер, молчаливый,
Перед величием твоей тяжелой гривы:
Она — как балдахин под потолком тюрьмы.
Ты на меня глядел, я на тебя — и мы
Задумались, и был твой взор глубок. Нам, людям, —
Чем мельче мы душой, чем мы ничтожней будем,
Тем больше свойственно самодовольство нам,
И глаз наш отразит с тревогой пополам
Тщеславье замысла, потуги жалкой страсти
Иль упоение самовлюбленной власти.
Пускай невежды мы и злобны, как змея, —
А глаз, блестя, кричит: «Я! Этот карлик — я!»
У нас укрыт в зрачке лишь наш убогий разум.
А зверь, прикрывшийся под кленом или вязом,
Бегущий вглубь лесов иль в заросли у рек,
В тех дебрях, где дышать не может человек,
Живет отшельником, собрат звезде и розам;
Спокойный, сумрачный дикарь, он с верболозом
И с камнем вековым заводит разговор;
Под рокот родника в лощине древних гор
К нетоптаной траве он жмет рыжей мордой
И к звездной высоте свой рык возносит гордо.
Он спит и видит сны; он походя сметет
Бесчинной лапою вертепа черный свод.
Себя не знает он; под бровью горделивой
Укрыл он цепь холмов у мглистого залива

И тени длинные, звезду, сплетенье трав
И тайну темную задумчивых дубрав.
Из этих мудрых глаз глядит спокойным взором
Природа вечная со всем ее простором.

Июнь 1842

Когда чуть брезжит день, с ночной сражаясь тенью,
И сквозь окно зари, подобное виденью,
Льет бледные лучи на мгlistый небосвод, —
Так на порог тюрьмы лучи надежда льет, —
Тогда легко вставать и радостно трудиться.
В часы, когда рассвет поет свой гимн, как птица,
В него вплетается торжественной строфой
Людской привычный труд, священный и простой.
Слагает плуг псалмы; чудесным звукам вторя,
В уключине весло поет над бездной моря;
Вонзаясь в дерево, отточенный топор
Напевом радостным безмолвный будит бор.

Но как таинственно средь ночи пробужденье,
Когда земля молчит, погружена в забвенье,
И люди крепко спят, и в окнах нет огней,
И с неба вниз бегут семь золотых коней
В конюшню, к полюсу!.. О, как необычайно
Проснуться в этот час, услышав голос тайный,
Прикосновение почувствовав к плечу:
«Я здесь. Работа ждет». Плоть стонет:
«Не хочу!»
Я сплю. Я утомлен вчерашнею ходьбою.
Оцепененье сна еще владеет мною.
Помилосердствуй, дух, дай отдохнуть и мне!
Едва прилягу я, забудусь в тишине, —

Упрямый, ты ко мне приходишь. Мир бесшумен,
Кругом глухая ночь... Так будь благоразумен!
Ну что ж, открыть глаза принудил ты меня.
Темно... Еще далек рассветный проблеск дня.
Уйди! Мне так тепло, я грежу о любимой,
О пряди шелковой, во мраке еле зримой,
На грудь мне сыплются и звезды и цветы...
Уйди! Придет заря — тогда вернешься ты.
Я отвернусь к стене, ты слышишь? Убирайся!
Рукою огненной ко мне не прикасайся!
Я приручил мечту, она робка как лань,
А ты вспугнул ее... Оставь меня, отстань!
Я спал мертвецким сном, храпел что было мочи...
О, боги! Мысль моя во тьме безмолвной ночи
Намотана, как нить на злом веретене.
Ты стих трепещущий протягиваешь мне, —
Он прежде в облаках порхал, подобно птице...
Я не хочу его! Свирепый ветер злится
И дверь мою крушит, как сказочный дракон,
И ревом полнится туманный небосклон.
Уйди, палач! Твой стих я выпущу на волю,
И глаз не разомкну, и нынче выплюсь вволю.
Ну, сжался надо мной; дружны мы столько лет!
Я не могу, я мертв, я сном окован...»

«Нет!

Ведь я не сплю! — твердит мне замысел-мучитель. —
Влачи оковы, раб! Исполни долг, мыслитель!
Как, ждет охапки сна бесстыдный этот скот?
Нет, мне заря всегда свой луч румяный шлет.
Пусть плоть, покорствуя, несет страданий бремя.
Колодник, не ленись! Мое настало время».

И плоть побеждена, и властвует душа,
Я покоряюсь ей, и вот ко мне, спеша,
Бегут наброски драм, рой замыслов дрожащий,
Рюи, и Марион, и Сильвы рог звенящий;
Во тьме я чувствую романа скорбный взгляд,
И оду вижу я, что с Дантом сходит в ад
Иль поднимается с Горацием к светилам, —
И должен я писать со страстью, с гневным пылом.

Неведомой тропой, что в дальний край ведет,
Я должен двигаться без устали вперед,
Стих за стихом слагать и слово вслед за словом.
Ночной одетый мглой, в молчании суровом
Преследуя мечту, я должен вдаль идти
По вдохновения скалистому пути,
И должен посетить леса, поля, дубравы,
Кладбища сонные, где пахнут смертью травы,
Озера, что таят чудовищ в глубине, —
Я, всадник сумрачный на сумрачном коне.

1843. Ночью

Есть музыка во всем — сокрытый гимн природы.
 Всплеск влажного весла и шепчущие воды,
 Шум людных городов и нежность двух сестер,
 Страсть молодых сердец и кроткий разговор
 Четы, прошедшей путь извилистый и длинный,
 Фанфара блещущей и радостной долины,
 Беседы братские в молчанье вечеров,
 Шуршанье вековых нахмуренных дубов —
 Вы воплощаете гармонию вселенной,
 Вы — вздохи музыки простой и совершенной!
 Для нас течение дней, годов круговорот,
 Мечтанья тайные, туманный небосвод,
 Заря в слезах росы, закат кроваво-красный —
 Слагаются в напев симфонии неясной.
 По-разному звучат природы голоса:
 Звенят луга, поют зеленые леса,
 Гудят колокола, бредет с мычаньем стадо...
 Когда слетит на холм вечерняя прохлада,
 Повсюду — в блеске звезд, в мерцании зарниц,
 И в стрекоте цикад, и в щебетанье птиц —
 Сверкает звуков рой, причудлив и чудесен.
 Навек слился с душой мир затаенных песен.
 Природа говорит нам: «Пой!» — и ей в ответ
 На камне вырезал ваятель древних лет
 Фигуру пастуха недвижимого, который
 Склоняет к дудочке задумчивые взоры.

Июль 1883

За прялкой увидав прабабушку-старушку,
Решила девочка такую же игрушку,
Как и у бабушки, для куклы смастерить.
Заснула бабушка, а внучка тянет нить, —
Тихонько вертится при этом веретенце, —
И вот с шерстинкою, сверкающей как солнце,
Шафраном крашенной, бежит она, горда!
Так птичка прочь летит с былинкой для гнезда.

Котре, 25 августа 1843

Шекспир, задумавшись, безмолвно смотрит вдаль.
 Он видит не сады, не чопорный Версаль,
 Где многословная трагедия стенает, —
 Огромная толпа пред взором возникает,
 И лес, угрюмый лес трепещет и шумит.
 Поэта внутренний горячий свет слепит.
 Бледнея, он встает, шагает торопливо;
 Над грозной головой сиянье — точно грива,
 Неукротимый мозг прозрачнее стекла,
 Мерцают образы в нем, души и тела.
 Просеивает он весь мир как бы сквозь сито.
 В ладонях стиснутых вся жизнь людей сокрыта.
 Умеет извлекать из человека он
 Сверхчеловеческий, неповторимый стон.
 Шекспир, как океан, порой непроницаем.
 Его творения мы с дрожью созерцаем
 И чувствуем, как он вскрывает нашу грудь,
 Чтоб в тайники души бесстрашно заглянуть.
 Не отступает он ни перед чем: покорны
 Ему и Калибан и Ричард — хищник черный.
 Он откровеньями поит нас, как вином.
 Гиганты-замыслы раскиданы кругом, —
 В его руках они податливее глины.
 Лир, Гамлет, Цезарь, Брут — созданья-исполины,
 И всех объемлет он. Средь тишины ночной
 Вампиры, призраки проходят чередой.
 Как некогда Эсхил, он Мельпомене страшен.
 Он кровью душ людских, разъятых им, окрашен.

Рок Макбета настиг, Отелло жертвой пал...
Он драмы азбуку жестокою создал
И вот — покоится в своих твореньях ныне,
Как в логове своем кровавый лев пустыни.

Париж, апрель 1835

«Стал мрамором ручей. Земля в гранит оделась.
 Зима. Нам холодно. Тебе бы не хотелось,
 О дерево, гореть и согревать мой дом?» —
 «Расту я из земли и возношусь огнем, —
 Руби, мой дровосек! Пускай семья дружнее
 Сойдется к очагу, сердца и руки грея,
 Любя и радуясь». — «А хочешь дышлом стать
 Для плуга?» — «Да, хочу я лемех погружать,
 Чтоб колос выходил из земляной неволи,
 Чтобы за плугом вслед зазолотилось поле
 И ясноокий мир, как солнце засияв,
 Вставал над нивами». — «А хочешь из дубрав,
 Тенистых и густых, где лань прохлады ищет,
 Уйти и для людей стать кровлею жилища?» —
 «Для гнезд в моих ветвях всегда приют готов, —
 И твой, о человек, хочу хранить я кров!
 Здесь отдыхаешь ты. И детский смех звенящий
 Похож на шум листвы в лесной зеленой чаще». -
 «А мачтой корабля ты будешь ли, ответь?» —
 «О да! Как птица, я могу тогда взлететь.
 Корабль умчит меня вдаль от моей отчизны,
 Как человека смерть уносит прочь из жизни;
 И, трепеща в волнах, свой бег направим мы
 К далеким небесам, не знающим зимы.
 Как часто мне о них рассказывали птицы!
 Нет, мудрый никогда могилы не страшится,
 И мрачный океан в величии своем
 Не устрасит меня». — «А хочешь быть столбом

Для виселицы»? — «Прочь! Молчи! Долой секиру!
Я прославляю жизнь, — сулишь ты гибель миру!
Прочь от меня, судья! Палач, твой путь кровав!
Я — дерево холмов, я — дерево дубрав,
Я приношу плоды и осеняю травы, —
Не тронь моих ветвей для мерзостной расправы!
Губи, уничтожай, иди стезей своей,
Будь гнусен, и жесток, и злобен, но не смей,
Пугая пытками и тяжкими цепями,
Не смей себе искать сообщников меж нами!
Нет, замыслам таким служить мы не должны.
Мы с ветром говорим, мы светлых тайн полны.
Законы ваши мрак простерли над землею.
Я солнцем рождено, а вы кромешной тьмою.
Ступайте прочь! Зачем смущать покой лесов?
Средь шумных праздников, и зрелищ, и пиров
У вас потеха есть: казните и пытайте,
Позорной гибели и мукам предавайте
Несчастных, что вокруг всегда найдете вы, —
Не место призракам среди моей листвы!»

Январь 1843

Кем так любима ты, люби того. — Прости. —
Как ты была для нас, будь для него отрадой!
Тебе одну семью сменить другою надо;
Оставив нам тоску, все счастье унести.

Удерживают здесь, там ждут тебя согласно.
Жена и дочь, свой долг двойной ты исполняй.
Нам — сожаление, надежду им подай.
Уйди, пролив слезу! Войди с улыбкой ясной!

В церкви, 15 февраля 1843

Привычку милую имела с юных лет
 Малютка дочь моя в мой тихий кабинет,
 Чуть утро, приходить, все озаряя светом,
 И «здравствуй, папочка» звучало мне приветом.
 Бумаги трогала она, касалась книг,
 Садилась на постель, перо брала на миг.
 Потом, скользнув как луч, внезапно уходила.
 И принимался я, исполнен новой силы,
 Опять за рукопись, но, взявшись за перо,
 Встречал я то узор, запутанный хитро,
 То между строчками чертеж витиеватый,
 То находил листок, рукой ее измятый,
 И нежные слова ложились на листы.
 Она любила свет, зеленый луг, цветы.
 Еще не женщиной была она, но взгляды
 Светились мыслию, и знать ей было надо
 Мое суждение о каждом пустяке.
 А возле камелька зимой о языке
 И о грамматике часы веселых прений!
 Вот четверо детей мне влезли на колени,
 Вот мать их юная, вот милые друзья!
 Да, мог я говорить, что счастлив малым я!
 Но умерла она! Увы! Где взять мне силы?
 Я весел быть не мог, когда она грустила,
 И тосковал в гостях, когда ее глаза
 При расставании туманила слеза.

Ноябрь 1846, в День всех усопших

Когда еще мы обитали
Там, на холмах, в краю родном,
Где льются воды, блещут дали,
Где возле леса был наш дом,

Ей десять минуло, мне — тридцать;
Я заменял ей мир в те дни.
Как свежий запах трав струится,
Там, под деревьями, в тени!

Она мне счастье приносила, —
Все удавалось, день блистал.
«Отец!» — она мне говорила,
И я всем сердцем отвечал.

Я слушал сквозь полет мечтаний
Ее бесхитростный рассказ,
И мысль мою вело в тумане
Сиянье этих детских глаз.

Она так гордо выступала,
Когда я руку ей давал,
Она в лугах цветы срывала,
И нищих взор ее искал.

Их одаряла торопливо,
Чтоб не обидеть никого.
Она была такой красивой
В том платье, — помните его?

Любила поболтать немножко
Под вечер при огне свечи,
И бились бабочки в окошко,
На свет слетаясь к нам в ночи.

Слова приветствия так мило
Звучали у нее всегда!
А взгляд ей небо подарило
Прямой, не лгущий никогда.

Дитя, в мои молодые лета
Ниспосланное мне судьбой,
Она была цветком рассвета,
Моею утренней звездой.

В спокойный, теплый вечер летний,
Когда луна светила нам,
Как мы сбежали в дол соседний,
Как мы бродили по лесам!

Потом на свет уединенный,
Домой зовущий с вышины,
Мы возвращались вверх по склону
Вдоль старой каменной стены.

Мы словно чувствовали крылья,
Дивились звездам без числа,
И душу юную лепил я,
Как чистый мед творит пчела.

О ангел мой чистосердечный!
Ты весела была в тот день...
И это все прошло навечно,
Как ветер, как ночная тень!

Вилькье, 4 сентября 1844

Весна! Заря! О, память, в тонком
 Луче печали и тепла!
 — Когда она была ребенком,
 Сестричка ж крошкою была... —

На том холме, что с Монлиньоном
 Соединил Сен-Лё собой,
 Террасу знаете ль с наклоном
 Меж стен — небесной и лесной?

Мы жили там. — Побудь с мечтами,
 О сердце, в милом нам былом! —
 Я слышал, как она утрами
 Играла тихо под окном.

Бесшумно по росе бежала,
 Чтоб не будить меня, она;
 Моя рука не открывала,
 Чтоб не вспугнуть ее, окна.

Смеялись маленькие братцы...
 Все в свежей пело там тени:
 С природой — наши домочадцы,
 А дети — с птицами в те дни!

Я кашлял — и она отважно
 Ко мне входила, семеня,
 И сообщала мне преважно:
 «А дети ждут внизу меня».

И грустно ль, весело ль мне было,
В порядке ль был ее пробор, —
Волшебницей пленялся милой,
Звездой очей моих, мой взор!

Весь день играли мы, бывало.
О, прелесть игр! Чудесный смех!
По вечерам мне заявляла
Она, как старшая из всех:

«Теперь рассказывай нам сказки!
Сейчас мы стул несем, отец».
И эти ангельские глазки
Сияли радостью сердец.

Я измышлял им тьму сражений,
В них жизни вражьей не щадя,
На потолке средь смутных теней
Героев сказки находя.

Четыре милые головки
Смеялись смехом молодым,
Когда брал верх мой карлик ловкий
Над великаном глупым, злым.

Я сочинял поэму смело, —
Гомер и Ариост зараз;
Мать на детей своих смотрела
И грезила под мой рассказ.

Читая в стороне, порою
Дед поднимал глаза от строк;
А я в окне, залитом тьмою,
Кусочек неба видеть мог.

Вилькье, 4 сентября 1846

Жить под безоблачным иль хмурым небосводом;
 Учиться мудрости у древних год за годом;
 Читать Вергилия и Данте в час ночной;
 Беспечно уезжать из города весной
 И над причудами трактирщика смеяться;
 Чертами женщины мелькнувшей опьяняться;
 Любить, любимым быть, знать счастье без границ;
 Задумчиво внимать веселым трелям птиц;
 В кругу своей семьи, открыв глаза с рассветом,
 Мать, дочь, сестру встречать улыбкой и приветом;
 Газетные статьи за завтраком читать;
 Трудиться, верить, чего-то ожидать,
 Пока нам жизнь несет и страсти и страданья;
 Речами волновать угрюмые собрания;
 Сравнив с достигнутым высокий идеал,
 Понять, как ты велик и как ничтожно мал;
 Волною быть в толпе, душой — в бурлящем море;
 Все в жизни испытать — и радости и горе;
 Бороться яростно, любить земную твердь...
 Потом, в конце пути, — безмолвие и смерть!

11 июля 1846, по возвращении с кладбища

Едва займется день, я с утренней зарею
К тебе направлю путь. Ты, знаю, ждешь меня...
Пойду через холмы, пойду лесной тропою,
В разлуке горестной мне не прожить и дня.

Безмолвно побреду к тебе дорогой дальней,
Не слыша ничего, не видя ничего,
Один, чужой для всех, задумчивый, печальный, -
И станет ночью день для взора моего.

Ни разу не взгляну на запад золотистый,
На паруса вдали, на пенистый прибой...
И, наконец, дойду. И ветви остролиста
И вереск положу на холм могильный твой.

3 сентября 1847

«Я видел вас ребенком, сударь, у вашей уважаемой матушки, и мы даже, мне кажется, немного родственники. Я приветствовал ваши первые оды — «Вандею», «Людовика XVII»... В 1827 г. в вашей оде «К Колонне» вы отошли от священных доктрин, вы отреклись от легитимизма; либеральная партия рукоплескала вашему отступничеству. Я страдал от этого... Сегодня вы, сударь, погрузились в чистейшую демагогию, в настоящее якобинство. Ваша анархистская речь о событиях в Галиции более достойна подмостков Конвента, чем трибуны палаты пэров. Вы докатились до «Карманьолы»... Вы губите себя, говорю я вам. К чему вы стремитесь? После прекрасных дней вашей монархической юности что вы делали, куда идете вы?..»

(Маркиз де К. д'Э. Письмо к Виктору Гюго. Париж, 1846)

1

Я помню вас, маркиз, у матушки в гостиной. Порой грамматику я отвечал вам чинно; Вы приносили мне конфеты, и в те дни Вы были нам, маркиз, как будто бы сродни. Вы были стариком, я — мальчиком. При встрече,

Позвав меня к себе и прерывая речи
Во славу Кобленца, во славу королей,
Переходили вы на сказки для детей,
Где был и людоед, и волк, и якобинцы.
Я слушал вашу речь, я ваши ел гостинцы,
И ваши сладости и сказки я любил,
Когда ребенком я и роялистом был.

Я обещал тогда стать добрым, честным малым,
Когда, душою прост и предан идеалам,
Ярмой, доверчивый, отдавшийся мечтам,
Я первые стихи читал наивно вам.
Питомец граций, вы в моей наивной силе
Вкус дикий видели, но все же говорили:
«Неплохо! Хорошо! Ты можешь создавать!»
И — незабвенный миг! — сияла счастьем мать.

Я помню радость ту, с которой говорила
Она вам: «Здравствуйте». О, детства образ милый!
Но где ж улыбка та, где голос дорогой?
Умчались, как листья осеннею порой.
О, материнские святые поцелуй!
Склонив, как прежде, лоб, сегодня я тоскую,
Но поцелуев нет, а сеть морщин растет!
Вы не глупы, маркиз. Прилива ль был черед,
Иль наступал отлив, вас не смущало это.
Шталмейстер при дворе Мари-Антуанетты
Иль бедный эмигрант, но скорбною порой
Встречали с гордостью и холод вы и зной.
Руссо ругали вы, Вольтеру пели славу,
Пиго-Лебрена стиль вполне вам был по нраву,
Позорного столба достоин был Дидро,
И ненавидели вы Дюбарри остро,
Пред Габриэль д'Эстре склоняясь в восхищенье.
Мадам де Севинье, цвет лучший просвещения,
Маркиза нежная, в невинности своей
Не удивилась, нет, увидев меж ветвей,
На фоне лунного холодного простора,
Крестьян, повешенных по милости сеньера.
Так точно вы, маркиз, не думали о том,
Как надрывается крестьянин под ярмом.
До революции — с отвагой озорною

Держали шпагу вы всегда готовой к бою;
Вам пудра сыпалась на бархатный камзол,
И для народа был ваш легкий шаг тяжел.

Пусть это не укор за то, что было ране,
Но в пору юности, о знатные дворяне —
Монморанси, Шуазель, Ноайль, — милы, резвы,
Как с Береникой Тит, с монаршьей властью вы
То были ласковы, то ссорились. Сначала
Вас Революция-дитя очаровала.

За Талейраном вслед пошли вы по пятам;
Сперва чудовище ручным казалось вам;
Как крестный, вы его держали у купели
И с умилением на малыша глядели,
Но Фронда, Лига ли, спасенье иль разор
Идут за ним вослед, не различал ваш взор.
И Лафайету вы рукоплескали рьяно,
Когда в свивальник он облек Левиафана
Но взвился пламенник, вас светом ослепив,
И Мирабо, как тигр, казался вам красив
Порою вечерком, присев к огню поближе,
Вы говорили нам о подвигах Парижа —
Как он Бастилию из сердца вырвал вон,
Как сент-антуанский люд ярмо былых времен
Страхнул и поднялся, смятением объятый;
Как наступил июнь, день августа десятый,
Шестое октября; и как Буфлер потом
В четверостишиях прославил этот гром.

Да, были вы из тех, которые вначале
Ни Франции, ни тьмы, ни волн не понимали,
Смеясь, считали их невинным озорством.
Вы в жалобах веков, в их вое громовом
В грозящей вам толпе псов увидали свору.
Вы думали — мятеж, шатающий опоры,
И голод, и толпа решат салонный спор.
Когда полнощный вихрь захватывал простор
И Революция богинею суровой
Вставала, грозная, у двери тайны новой, —
Не видя ни когтей, ни блеска страшных глаз,
На тьму, готовую обрушиться на вас,
Бросая гордые, насмешливые взгляды,
Со флинксом молодым играли вы в шарады.

«Увы, — твердили вы, — восстание бедноты
В безумье перешло заветные черты.
Ужель немислимо добиться было мира,
Народу вольность дав, а королю — порфиру?
Народ, не тронувший венчанной головы,
Великим мог бы быть». Потом вздыхали вы:
«Мудрейшие спасти нам не сумели трона,
Нет больше королей, Парижа-Вавилона!
Где Монтеспан, Марли? Где Ментенон, Сен-Сир?
Мертвы!» Но, боже мой, могли ли дать нам мир
Слепцы, мечтавшие все нравы, все режимы,
Свободу нации, закон ненарушимый
И кодекс прежних лет — все склеить как-нибудь
И Революцию в монархию обусть?
Но туфля лопнула на мощной лапе львиной!

2

Потом для вас, маркиз, я канул как в пучину,
И ветры буйные во все концы земли
И судьбы, и сердца, и мысли разнесли.
Так каждому в ночи блесит заря другая,
Так прививается к душе душа вторая.
Пусть это та же ветвь, другой цветок на ней.
Я знал борьбу, и труд, и горе, и людей,
Чья дружба ложная — как змеи, как тенета;
Встречал за скорбью скорбь и умножал заботы —
И вас, маркиз, забыл, сознаюсь прямо в том.
Вдруг, слышу я, шаги, вот входят, слышу, в дом.
И кто-то мне кричит: «Отступник!» Как же это?
Я до сих пор считал, что я глашатай света!
Да, это голос ваш. Как старенький Фронзак,
К Террору в пасть попав, вы испугались так,
Что, уж проглочены почти наполовину,
Вы все же спорите. Да, разность лет причина
Тому, что я для вас все тот же мальчуган.
И вот, хотя глаза окутал вам туман,
Кричите грубо вы, с лицом, налитым кровью:
«Эй, что там за бандит? И что за пустословье?»
На предков указав не пальцем, кулаком,
Вы мне о матери твердите, о былом...
Целую ноги я ее священной тени.

А вы: «Позор и стыд! — кричите в исступленье. —
В ужасный этот век ни в ком смиренья нет!»
Зачем и почему, на все вам дай ответ.
«Ламбеск, Марат, Шаретт и Робеспьер!» — со
злбой

Взываете вы к тем, что скрыты тенью гроба.
Но как изысканный ваш изменился тон!
Я — «либералишка», я в «зверя» превращен,
Я, песни улицы горланя до упаду,
Охрип и подсмотреть влезаю на ограду.
«Откуда ты, куда? Что задираешь нос?
Где был ты до сих пор? Что делал ты?» —
«Я рос».

Как, оттого, что я рожден под кровлей дома,
Где призрак видели Гоморры и Содома
Во всем, ломающем заветы старины,
Как, оттого, что мать когда-то, в дни войны,
Спасла в Вандее жизнь двенадцати аббатам;
Что я, родясь в кругу старинном и богатом,
Глазами прадедов научен был смотреть;
Что птицей малою, попавшеюся в сеть,
Чтоб улететь в леса, чтоб сбросить с плеч насилье,
Я в клетке вырастить себе был должен крылья;
Что, видя мальчика невинного удел,
Я смерть Людовика Семнадцатого пел;
Что, с детства восприяв неправую идею,
Не видя Франции, я видел лишь Вандею;
Что был в моих стихах героем возглашен
Шуан, а не Марсо, Стофле, а не Дантон;
Что за вандейцем я не видел человека;
Что полуграмотно читал я книгу века;
За то, что королей я прославлял тогда, —
Я должен в глупости погрязнуть навсегда?
Я должен времени: «Назад!» кричать, идее:
«Стой!», светлой истине: «Проваливай скорее!»
Кусты кропилами считать обязан я?
Средь бесконечного живого бытия
Я должен выставить невежество как знамя?
С Лагарпом, с Лорике сидеть под их замками?
Быть, но не жить? Смотреть, но только не вперед?
Не в звездах, в лилиях небесный видеть свод,
Не подымая глаз, итти одной дорогой?

О, короли затмить умеют даже бога
В лазури.

Слушайте. Да, жил и мыслил я;
И я прозрел, узнав всю горечь бытия.
Вы руку на моей держали колыбели
И пропитать мой ум своей мечтой сумели.
Я был колесиком, а осью вы, маркиз.
О праве, истине, о том, где верх, где низ,
Вы очень ложные внушили мне понятия;
Но я давно простил и вам и вашей братье.
Вися над пустотой, я рос и вкривь и вкось,
Но спину выпрямить мне все же удалось.
Мысль — это строгий суд над властью произвола.
И за руку меня жизнь привела в ту школу,
Где учится в тиши вся юная земля:
В леса тенистые, в широкие поля.
Я мыслил, я мечтал в лугах, где пели воды,
И первые мои неопытные оды
Остались позади, затеряны в полях.
И видел радость я, и видел также страх.
Пока вы мне, маркиз, расстраивали лиру,
Я вырвался от вас и дивной книги мира
Старался одолеть мудреную печать,
И научился я простор полей листать,
И в этой библии читал я, слог за слогом,
О горе с радостью, бредущих по дорогам.
Там звезды я узрел в лазурных небесах,
И воды, и цветы, и свиток тот в руках
У холодной статуи безглазой, у вселенной.
В той книге ночь темней от молнии мгновенной,
И к бесконечности стремится океан.
Под дубом, милым мне, среди родных полян,
Я стал сильней, добрей, дышала грудь свободой,
И в равновесии я был со всей природой.
Бледнея и дрожа, я понял, что всегда
Мрак заявляет: «нет», а звезды шепчут: «да»
Я смысла темных фраз искал, я видел груды

Различных чисел, форм, и я нашел повсюду
Любовь, свободу, жизнь! Они — закон земли!
А извращение природы — короли.

Жизнь — это зрелище, трагедия живая,
И в ней я начал жить, сначала изучая
Птиц, воды, лилии, полуночный покой,
А там и азбуку другую: род людской.

И зло увидел я в триумфе горделивом
И жаждал одного: быть в жизни справедливым.
Так, возмущившийся и строгий судия,
Как вора мелкого, людскую совесть я
Схватил за шиворот и вывернул карманы
У жизни, но нашел, что в них полно обмана,
Печали, горестей, несчастий и обид.
С ягненком в пасти волк: «Он мне вредил!» —

кричит.

Ошибки видел я, что ста локтей длиннее,
И целый град камней, разящих все идеи.
Я видел царство тьмы, я слышал, как Сократ,
Христос, Ян Гус, Колумб оковами гремят.
О, предрассудков лес подобен веткам чащи:
Сломайте лишь одну — другие только чаще
Сомкнутся, жалея вас, хватая, словно вьюн.
О, горе, горе вам, апостол и трибун!
Я в юности не знал истории столетий;
Я понял их теперь. Год Девяносто Третий
С Варфоломеевскою ночью я сравнил.
Ужасный этот год, который вас сразил,
Был неизбежностью, но не вернется снова;
В нем алый блеск зари, в нем крови блеск

багровый.

О, Революция за миг короткий зла
Бессмертное добро народам принесла.
Она — возмездие за горы преступлений,
Что двадцать царственных скопило поколений.
Когда мучения — сверх силы для людей;
Когда властители двойную сеть цепей —
Власть византийскую и власть средневековья —
Слагают на плечи бесправного сословья;
Когда история — лишь мертвый ряд равнин

Росбаха и Креси, где ворон господин;
Когда пята князей склоняет лбы и спины
Тех, что питаются в кормушках для скотины;
Коль при Людовиках, создавших Вавилон,
Свиристествовал Тристан, Лебель порочил трон,
Когда гарем и казнь вершат в стране расправу;
Когда при месячном сиянье, словно травы,
К земле склоненные, лежат ряды людей,
И возле виселиц белеет тьма костей,
И тщетно капает Христова кровь святая,
Тьмы восемнадцати веков не разгоняя;
Когда невежество слепит грядущий век,
И за идею казнь приемлет человек,
Схватиться не за что и сдерживать, как прежде,
Не удастся уж слабеющей надежде;
Когда война страшна, а ненависть остра, —
Тогда однажды вдруг: «Пора, народ, пора!»
И крик: «Мы требуем!» — рождается в мире темном
Неисчислимых мук и призраком огромным
Встает из пропасти, летит по гребням гор,
И страшный мир галер выходит на простор.
Две части общества, как две планеты в небе,
Столкнулись. Свист кнута, лязг цепи, плач о хлебе,
Резня, рыдания, и вой, и звон мечей,
Все звуки прошлого — в разгуле этих дней.
Жизнь говорит: «Вставай!» Набат, гудя о сборе,
Шатает старый Лувр и башни на соборе,
И папа Лютером с престола совлечен,
И рушит Мирабо Бурбонов древний трон,
И все покончено. Так мир уходит старый.
Сначала слышатся глухие волн удары,
Потом, влача тела, круша любой оплот,
Вершины гордые скрывая в бездне вод,
Летят столетия, гоня перед собою
Вал Революции, гигантский вал прибоя,
Огромный океан из горьких слез земли.

Б

Ту бездну создали когда-то короли;
Но пахарь жать нейдет, хоть сеял он прилежно.
Мечи разят, но кровь струей забьет мятежной.

Вот что в истории я понял. Разум мой
И роялизм сошлись. Стал поединком бой,
И разум победил в кровавом этом споре.
Вы обожаете портрет на луидоре,
Меня же сторона обратная гнетет.
Да, понимаю я: тем, что иду вперед,
Все оскорбляю в вас — ваш род, идеи, цели,
Богов, религию, жилет ваш из фланели
И в скованных костях упорный ревматизм —
Так называю я ваш старый монархизм.
Что короли должны царить над целым светом,
Не верю больше я, и говорю об этом.
А Марк Аврелий так (позвольте привести
Его слова) сказал: «Да, я грешил в пути,
Но не даю, стремясь к высокой цели правой,
Ошибкам прежних лет быть на пути заставой».
Крупинка малая, я делаю как он;
Вот двадцать лет, маркиз, как я одушевлен
Одним стремлением: служить на пользу людям.
Жизнь — это зал суда, где заодно мы судим,
По тем же правилам, и слабость и порок.
Я в драмах, прозою и в звуках мерных строк
Свой голос отдавал отверженным, забитым,
Взывая к богачам безжалостным и сытым.
Я поднял тех, кто был толпою осужден:
Фигляра Трибуле, блудницу Марион,
Бежавшего с галер, лакея, проститутку,
И к погибающим душой склонился чуткой.
Так, над букашкою раздавленной грустя,
Дыханьем пробует согреть ее дитя.
Ко всем отверженным мне также было надо
Склониться, и для всех я требовал пощады.
И так как многим был мой зов невыносим,
Хоть снизу, может быть, неслось: «Благодарим», —
То часто слышал я, летя под облаками,
Как славили меня шипеньем и свистками.
Я прав потребовал для женщин и детей;
Я, согревая их, хотел учить людей.
Я знаний требовал и вольного глагола;
Я сумрак каторги хотел рассеять школой
И у преступников не видел зла в сердцах.
Люблю прогресс любой. Париж в моих глазах

Сияющим челом затмил тиару Рима.
Свободен дух людской, но сжаты нестерпимо
Сердца. Свободу им! И вот я вновь и вновь
Пытался из оков освободить любовь.
Я с Гревской площадью боролся мощным словом
И, вызвав смерть на бой, стал Геркулесом новым.
И все иду вперед. Я знал победы час,
И поражение, и горе. — А сейчас
Еще прибавлю я, пока одни мы с вами,
Что и отступники двумя идут путями:
Назад, к язычеству, иль ко Христу, вперед.
Неправда вежливо беседу поведет,
Но лишь покинь ее, сейчас же руки в боки...
А *Правды* ласковой еще страшней упреки:
К тем, кто сменял ее на золото, пурпур, трон,
Она в полночный час придет как страшный сон.
Одна — кабатчица, другая — Эменида.
А ваша жизнь, маркиз, лишь сон Эпименида.

Но старое, маркиз, не хочет отступать.
Оно приходит вновь, цепляется опять
И, когти обломав, безумием объято,
Шлет волны старые, шлет старых гроз раскаты,
Шлет прежний мрак, крича: «Долой, на эшафот!»
Рыдает, буйствует, и воеет, и грызет.
А новое ему: «Ступай, милейший, мимо!»

Так май, потрянув уздой, перегоняет зиму;
Так отрицание огромного *Вчера*
Зовется *Завтра*; так, когда придет пора,
Изменник, старые бросаю я ботинки;
Так каждый мотылек — лишь ренегат личинки;
Так отрицанье зла — любовь; когда она
Из плена вырвалась, лучей, огней полна,
Чтоб в небе засиять меж знаков Зодиака,
То солнце в мир вошло как отрицанье мрака.

Нет, вы не волк, маркиз, что скрыться в чаще рад,
Но вы француз. Итак, вы кельтов ренегат, —
Так дайте руку мне, не будьте так суровы.

Ничто в моей душе, я повторяю снова,
 Не изменилось, нет. Я и доныне тот,
 Кто к долгу светлому прямым путем идет,
 Кто жаждет истины, добра, величья, права,
 Как Иов трепеща, дрожа как в поле травы.
 Все тот же человек, все тот же мальчик я,
 Но как-то на заре умчалась мысль моя
 В широкие края, в простор, зовущий к бою;
 Встал новый горизонт над прежнею душою,
 И изменилось все, но не внутри — вовне.
 Я внял истории, и вот открылось мне,
 Как по ступеням вверх, неся ковчег завета,
 Шли поколения в упорной жажде света.
 И прежние глаза иначе смотрят в мир.
 И я ли виноват, что солнечный эфир
 Просторней и синей, чем потолки Версаля?
 При пламенных словах «Свобода», «Братство» я ли
 Виновен, что в груди огнем они горят?
 Так, если на заре зажегся чей-то взгляд,
 Вините не его, а яркий луч рассвета, —
 Да, солнце, а не глаз вините вы за это.
 Вы вопрошаете: «Куда ведет твой путь?»
 Не знаю. Путь прямой не может обмануть.
 Раз сумрак — позади, а свет — передо мною,
 То прочь тогда с пути препятствие любое.
 Смотрю и верю я и так иду вперед,
 О будущем своем не ведая забот.
 Вы, люди прошлого, вы, паладины мрака,
 Ведете на меня атаку за атакой,
 Но сдерживаю я ваш сумрачный отряд,
 Лонгвуд и Горица без спора подтвердят,
 Что я не оскорблял священного изгнания.
 Несчастье — это ночь. Но в бездне той — сиянье:
 Венчают сонмы звезд людей и небосклон, —
 То знали короли, когда теряли трон.
 О, я не устаю в часы вечерней тени
 Грустить с изгнанником и, преклонив колени
 У гроба, утешать ушедших навсегда;
 И из могил своих они мне шепчут: «Да».
 И это знает мать и рада цели новой,

К которой я иду по жизненному зову,
Из гроба темного ей виден правды свет, —
Ведь жалкой плотью дух лишь временно одет.
О, нам любить, страдать, жалеть, бороться надо!
Мать знает, что обман я превозмог, что взгляды
Мои открытые направлены вперед,
Что не боюсь труда, опасностей, невзгод,
Что *Завтра* тороплю, жду будущего века
С великим подвигом: возвысить человека!
Веселье, грусть, успех, провал, паденье, взлет —
От высшей цели той ничто не отвлечет
Моей мечты, любви, шагов, горенья, силы!
И это видишь ты, священная могила!

Пусть оскорблениям, утратам нет числа,
Но я не преклоню высокого чела,
Душа моя горда, чиста и непреклонна
И знает, что всегда, как светоч отдаленный,
Куда бы ни был я судьбою увлечен,
Сквозь грохотанье гроз, сквозь ветра буйный стон,
Сквозь вечер и рассвет, сквозь радость и страданье,
Мне материнских глаз благовестит сиянье.

Париж, июнь 1846

Приписку делаю я через девять лет.
 Насторожил я слух. Вас, вероятно, нет
 В числе живых, маркиз! Ну что ж, я научился
 Общаться с мертвыми. Ага, ваш гроб

раскрылся...

«Ты где?» На воле я, как вы. «Ты мертв?»

Во мгле,

Водою окружен, живу я на скале.

Лишь изредка моряк, измученный волнами,
 Находит здесь приют, обняв утес руками.

«А дальше?» — слышу я. — Отныне суждено
 Мне одиночество. Лицо его одно.

И вижу я всегда: пучину, волн извивы

Да в небе стаи туч, плывущих молчаливо;

А ночью ураган трясет мой ветхий дом,

Слив тучи с волнами в неистовстве одном;

И горизонт покрыт кругом завесой черной,

И злоба издали клеймит меня упорно...

Ступлю ли на гранит — он превратится в прах,

И ветер — даже тот, как будто чуя страх,

Мне лишь вполголоса передает прощальный

Привет таинственный от друга, робкий, дальний.

Все тише жизнь моя. Я чужд теперь живым,

И все мои мечты развеялись как дым.

Слежу беспомощно, как дней моих течение

Скрывает саваном холодное забвенье.
Я выбрал место сам: над морем, под скалой,
Откуда даль видна. Там гроб зароят мой.
Гром океана там всех голосов сильнее.
И там провал во мрак. «Ну что ж?»
Я не жалею.

Джерси, январь 1855

Источник падал со скалы
По капле в океан кипучий.
Сердитый вал спросил из мглы:
«О чем лепечешь ты, плакучий?»

Вселяю трепет я в сердца,
Во мне все гибельно и жутко.
Мне краю нет и нет конца,
И ты не нужен мне, малютка!»

«Тебе, — ответила струя, —
О бездна горькая, несу я,
Высоких слов не говоря,
В подарок воду питьевую».

Апрель 1854

Мрак светом озарив, измену мы свершим, —
 Так мыслит мгла. Наш день — вчерашним днем
 гоним.

Неблагодарной ночь зарю провозглашает.
 «Сократ — изменник, смерть ему!» — судья
 вызывает.

«Исус — отступник, смерть ему!» — судья изрек.
 Земле недвижимой изменник, под плевков
 Склонился Галилей и чует телом тленным —
 Колеблется она под старческим коленом.
 Судьба! Зловещий смех! Поистине, вполне
 Веленье божие непостижимо мне,
 Вменяющее в долг живущим в мире этом
 Все отдавать другим — свой труд и мысль с их
 светом,

Любовь и пот, часы всех дней и всех ночей,
 И сон и бдение, и взор своих очей,
 Души и сердца жар со всем, что в них таимо,
 Не отступая вспять пред мукой нестерпимой,
 И расточать себя и все, чем ты богат, —
 Чтоб, ввергнув в ад, тебя назвали — ренегат!

Марин-Террас, ноябрь 1854

Сейчас, когда свечой мой догорает век
И кончены труды и силы;
Когда утратами, годами жизни бег
Меня привел на край могилы

И в глубине небес, где я парить мечтал,
Я вижу столько уносимых —
Как бы прошедшего летящий шквал —
Часов, вовек невозвратимых;

Когда я говорю: «Что мнится торжеством,
То завтра станет заблуждением!» —
Печальный, берегом бреду, клонясь челом,
Как тот, кто предан размышленьям.

Смотрю — над долами, вершинами холмов,
Над сменой волн морского лона
Уносится руно густое облаков
Под хищным клювом аквилона;

Я слышу всплески волн, на рифах ветра шум,
В руках жнеца колосьев трепег;
И с говором людей мой сравнивает ум
Невнятный этот ропот, лепет.

На редких травах дюн я остаюсь подчас
Лежать подолгу, не вставая,
До той поры, когда луна зловещий глаз
Покажет вдалеке, мечтая.

Вставая, сонный луч она бросает свой
Пространству, тайне, вод пучине,
И друг на друга мы глядим вдвоем с луной,
Она — в сиянье, я — в кручине.

Куда же отошла гряда минувших дней?
Есть кто-нибудь, кто знал меня бы?
В померкнувших глазах от юности моей
Остался ли хоть отблеск слабый?

Ужели все ушло? Я одинок, устал;
Зову — ответом мне молчанье.
О, ветры! О, валы! И я не тот же ль вал?
Не то же ль ветра я дыханье?

Мне больше не видать того, что я любил!
Уж меркнет день во мне уныло.
Земля, чьих гор верхи туман от взоров скрыл,
Я призрак разве, ты — могила?

До дна ль исчерпаны надежда, жизнь, любовь?
Я вопрошаю, мучим жаждой;
Вновь наклоняю я все урны, чтобы вновь
Хоть каплю получить от каждой.

Воспоминанье, как раскаянье, язвит!
Во всем — лишь слезы и потери!
Коснувшихся тебя твой холод леденит,
О смерть, запор последней двери!

И, размышляя так, я слышу, как кругом
Стенают ветер и буруны;
Смеется летний день; на берегу морском
Цветет волчец песчаной дюны.

*5 августа 1854,
в годовщину прибытия моего на Джерси*

**ПОЭТУ, ПРИСЛАВШЕМУ МНЕ
ОРЛИНОЕ ПЕРО**

Да, это ль час не величавый!
Днем этим светлым верит ум,
Что ныне доля вечной славы
Вмешалась в злободневный шум.

Ведь в столь укромном месте этом
Я поднял, не склонясь челом,
Что брошено сюда поэтом
И что обронено орлом!

Ведь кинуть в грудь единове́рца
Чете победной мысль пришла —
Строфу из собственного сердца,
Перо из своего крыла!

Привет вам, присланным из дали
Перу, строфе! Вы в облаках,
О гости славные, витали,
Парили оба в небесах!

11 декабря

1

В долине, где брожу я каждый божий день,
Царят безмолвие, спокойствие и лень.
В ней словно светится улыбка примиренья.
Я забываю там тревоги и волненья,
И, если б звон серпов не оглашал поля,
Мне показалось бы, что вымерла земля.
Создать идиллию природа тут стремится:
На ветке ссорится со снегирем синица;
Мелькает зяблика задорный хохолок;
Цветет боярышник, цветет лиловый дрок;
Здесь — мхи веселые, там — черные граниты..
В поэме у творца противоречья слиты.
Порою, как Гомер, он повторять не прочь,
Но только лес, цветы, моря, зарю и ночь!
Вот лужа морщится, букашек устрашая,
Стараясь сделать вид, что и она большая.
О, суета! Увы, не ведает она,
Что океана ширь с любой скалы видна.
Порой встречаюсь я с пастушкой у дороги:
Лазурные глаза, в росе босые ноги,
На вид совсем дитя. Она пасет овец.
В убогой хижине живет ее отец,
А сестры целый день прядут неугомимо.
Уже смеркается. Когда иду я мимо,
Пугает девочку мой скорбно сжатый рот,

Но все-таки она улыбку робко шлет,
А я приветствую невинность молчаливо.
Благоухает луг. Барашки шаловливо
Резвятся у кустов, цепляясь за сучки,
И белого руна пушистые клочки,
Как пена легкая, над головой взлетают.
Я дальше прохожу. Барашки в дымке тают.
Над серую землей вечерняя заря
Бесшумно стелется крылом нетопыря.

2

Там, позади меня, где тьма долину скрыла,
Звенит в тиши полей напев пастушки милой;
А пред моим лицом, как сторож вековой
Подводных рифов, скал, медуз, травы морской,
Неугомонных волн и пены их летучей,
Стоит пастух-утес, на лоб надвинув тучи,
И, гулу вечности внимая, смотрит он,
Как в нимбе призрачном на темный небосклон
Луна торжественно и важно выплывает;
А ветер между тем сердито завывает
И гонит грозную, высокую волну,
Барашков белых шерсть вздымая в вышину.

Джерси, Грувиль, апрель 1855

Я для тебя цветок сорвал на дикой круче,
 Нависшей над волной соленой и кипучей.
 Он мирно расцветал в расщелине скалы,
 Куда находят путь лишь горные орлы.
 Во мгле купался мыс. Как поле битвы жаркой,
 Победу одержав, мы украшаем аркой,
 Так сумрачная ночь из медно-красных туч,
 В том месте, где тускнел прощальный солнца луч,
 Воздвигла гордый храм. На горизонте тая,
 Испуганно неслась по морю лодок стая,
 А кровли прятались в лощине между гор,
 Как бы боясь привлечь сверканьем чей-то взор.
 Я для тебя цветок сорвал, о дорогая!
 Его вскормила грудь недобрая, сухая.
 Как бледен он! Похож на терпкий запах мхов
 Чуть слышный аромат неярких лепестков.
 «О бедный мой цветок! — подумал я. — С вершины
 Низвергнешься ты вглубь таинственной пучины.
 Там тонут корабли и тают облака...
 Как океан, душа людская глубока.
 Умри же на груди, где целый мир таится!
 Ты небом создан был, чтоб в океане скрыться,
 А я, как дар, отдам тебя любви земной».
 Бежал за валом вал. Последний луч дневной
 Тихонько угасал, и мгла ползла угрюмо.
 Какие мрачные во мне теснились думы,
 Когда я вниз глядел, в чернеющий провал,
 И трепет вечера душой овладевал!

Остров Серк, август 1855

Певучая строфа! В былые времена
 Летела ты к цветам, воздушна и нежна,
 Кошницу полную весны опустошая;
 То золотой пчелой, то мотыльком порхая,
 Любовь ты сеяла, в полях сбирала мед
 И к синим небесам стремилась свой полет;
 Рядилась ты в лазурь, глаза твои сияли,
 И песни, как друзья, на зов твой поспешали:
 «Ко мне! Поют холмы и доли! День встает!»
 И, светлая, смеясь, резвилась ты. Но тот,
 Кто в сумраке пещер зловещих обитает,
 Где скудно светит день, где ад во мгле пылает, —
 Поэт, стареющий до срока, чей удел —
 И муки творчества и скорбь житейских дел,
 Искатель черных бездн, преследующий тени, —
 Он руки вдруг простер из-под пещерной сени
 И, на лету тебя стремительно схватив,
 Глухой к твоим мольбам, унес от милых нив,
 Похитил, всю в слезах, у сладостных идиллий,
 У рощи и ручья, у пчел и нежных лилий,
 У всех, кому несла восторг, любовь, мечты...
 Царицей-узницей отныне стала ты
 Во тьме его души, как в сумраке темницы.
 Проходят пред тобой видений вереницы;
 В них свет небес и мрак подземной глубины.
 На троне бронзовом сидишь ты. Точно сны,
 Неуловимые текут воспоминанья
 О долах, что полны веселья и сиянья...

Суровый страж теперь твой бережет покой.
И в час, когда вокруг трагедий черный рой
Листает перечень страстей во мгле угрюмой, -
Как Прозерпина, ты полна зловещей думой.

Джерси, ноябрь 1854

Вещают, спорят, лгут — и вольно и невольно.
Что ни религия — большая колокольная.
Один жрец утвердит, другой — отбросит прочь,
И каждый храм, будя колоколами ночь,
В унылой, мрачной тьме, торжественной и вечной,
По-разному свой звон разносит бесконечный.
И суть для всех темна, и не достичь высот.
Безумен экипаж. Тот, кто корабль ведет,
Слеп от рождения. Руль держит однорукий.
Едва окончились пещерной ночи муки,
Едва мы выбрались из самой страшной тьмы,
Едва от худшего освободились мы,
Едва лишь человек, подняв с надеждой очи,
Покинул область зла, невыносимой ночи,
Как время старое за пятки нас берет
И нам кричит: «Назад!» Сократ гласит: «Вперед!»
Исус: «Все дальше!» Но философ и учитель,
Переселясь с земли в небесную обитель,
Принуждены решать: что хуже — желчь иль яд?
Порой нам Сатана, людским мученьям рад,
В ночи из-под плаща протягивает руку.
Блужданьем в темноте мы любим звать науку.
А пропасть возле нас, лишь недра задрожат,
Раскрыв, смыкает пасть. Равно пугают взгляд
И гибель навсегда и новое рожденье.
Прогресс, без устали вертя колес сцепленье,
То движет что-нибудь, то давит под собой.
Зло может счастьем стать, яд — свежеею росой.

Всегда в борьбе Закон с Виною, полной страха,
Заговорит кинжал — и отвечает плаха.

Не видя, слышит дух, тяжелой мглой томим,
За ночью чувств своих, за голодом своим,
И смех Невежества и Нищеты стенанья.

У лилий разум есть? Умно ли звезд сиянье?

Я «да» скажу, ты — «нет». Равно знакомы нам
И свет и темнота. Так усомнись, Адам!

Все в детях, в женщине для нас сокрыто тьмою,

О будущем всегда мы спор ведем с душою,

И через град, хаос, грозу, самум и снег

Вселенной климаты проходит человек.

В тумане мы плывем. Слепит нам буря очи.

Водоворот страстей нас рвет, как тучу, в клочья.

Де Местр назад смотрел, Руссо смотрел вперед.

Но, боже, наш корабль, скрипя средь бурных вод,

Без парусов, снастей кружась в открытом море, —

Огромный черный шар на мировом просторе, —

Неся страдающий наш муравьиный рой,

Блуждая, катится дорогой круговой.

А небо темное с просветами у края

Объемлет этот шар, зарею согревая,

И берег близится, где нет грозы и бурь,

Где нам откроются и солнце и лазурь.

Марин-Террас, октябрь 1855

ИЗ КНИГИ

**«ПЕСНИ
УЛИЦ И ЛЕСОВ»**

1865

ПРЕДИСЛОВИЕ

В какой-то момент нашей жизни, как бы мы ни были поглощены будущим, стремление оглянуться становится непреодолимым. Наша юность, эта прелестная исчезающая тень, вновь является нам и призывает нас думать о ней. Да, это печальное и назидательное зрелище — столкновение в одном человеке двух возрастов — того, которым начинается бытие, с тем, которым оно завершается; первый верит в жизнь, второй — в смерть.

Поучительно сравнить начало пути с его концом, свежий гомон утра с мирной тишиной вечера, ранние иллюзии с поздним опытом жизни.

Человеческое сердце, подобно медали, имеет две стороны; на лицевой начертано: «Молодость», на оборотной: «Мудрость». Обе эти стороны вы найдете в моей книге.

В ней отразилась действительность, преображенная всем тем, что в человеке стремится за грань его повседневной жизни. Почти все в этой книге создано мечтой, и лишь немного — воспоминаниями.

Побежденным дозволено мечтать, одиноким — предаваться воспоминаниям.

Отвиль-Хауз, октябрь 1865

О друзья, победа с нами!
Рано, лишь забрезжил день,
Составляю я стихами
Самый свежий бюллетень.

Гору сделаю ступенью,
Чтобы песнь была слышна.
Забросала всех сиренью
Победившая весна.

Туфельки надела Жанна,
Не боится стужи злой.
Голубой, благоуханный,
Ходит ветер надо мной.

Птиц, ягнят полна долина.
Я же, дерзкий, с высоты
Шлю зиме бегущей в спину
Залп за залпами цветы!

Раз Платона я читал,
Вдруг в дверях, в потоках света,
Ликориду увидал...
Ах, простите, Тюрлюрету.
Перед нею до сих пор
Я молчал, как трус завзятый,
В золотой небес простор
Уносясь мечтой крылатой.
Шла по лестнице она
В юбке цвета перламутра.
Ясных глаз голубизна
Отражала свежесть утра.
Те, что улица поет,
Пела и она куплеты,
Но ее прелестный рот
Превращал их в волны света.
И померк философ мой
От прелестных глаз плутовки.
Связан ленточкой простой
Ореол вокруг головки.
Не в атласе дорогом,
В скромном ситчике цветами...
В пальцах — кружка с молоком,
В озорной улыбке — пламя.
И тогда (Федон, как хмель,
Видно, быть велел смелее)
Я сказал: «Мадемуазель,
Извините, вы не фея?»

Когда мы с ней все вишни съели,
 Подружка рассердилась вдруг:
 «Приятней были б карамели!
 Сен-Клу несносен, милый друг!»

Хотелось пить. Уже не любви
 Нам эти вишни в зное дня.
 «Смотри, измазала я губы
 И руки... Ах, оставь меня!»

Потом пошли упреки, слезы,
 Меня ударила всердцах.
 Какой июнь! Лучи и розы.
 Поет лазурь. Тепло в полях.

И вытер я — судите сами:
 Скорей ли гнев ее пройдет? —
 Сердитый кулачок — цветами
 И поцелуем — милый рот.

О чудный гений, ты, который
Встаешь из недр моей души!
Светлы безбрежные просторы...
Сорвать оковы поспеши!

Все стили слей, смешай все краски,
Те Деум с дифирамбом сплавь,
В церквах устрой в честь Вакха пляски
И всех богов равно прославь;

Будь древним греком и французом;
Труби в рожок, чтоб встал с колен
Пегас, согнувшийся под грузом,
Что на него взвалил Беркен.

С акантом сопряги лиану;
Пусть жрец с аббатом пьют крюшон;
Пусть любит царь Давид Диану,
Вирсавию же — Актеон.

Пусть свяжут нити паутины,
Где рифм трепещет мошкара,
И нос разгневанной Афины
И плешь апостола Петра.

Как Марион смеется звонко
И фавна дразнит, подгляди;

¹ Генню этой книги (лат.).

Пентезилею-амазонку
В кафе поужинать своди.

Все охвати мечтою шалой,
Будь жаден, по свету кружи...
Дружи с Горацием, пожалуй, —
Лишь с Кампистроном не дружи.

Эллады красоту живую,
Библейских нравов простоту
В искусстве воскреси, рисуя
Сверкающую наготу.

Вглядись в поток страстей горячий;
Все предписания забудь
И школьных правил пруд стоячий
До дна бесстрашно взбаламуть!

Лагарп и Буало надутый
Нагородили чепухи...
Так сокрушай же их редуты —
Александрийские стихи!

Пчелиной полон будь заботы:
Лети в душистые луга,
Имей для друга мед и соты
И злое жало для врага.

Воюй с риторикой пустою,
Но здравомыслие цени.
Осла оседлывай порою
И Санчо-Пансе будь сродни.

Не хуже Дельф античных, право,
Парижский пригород Медан,
И, как Аякс, достоин славы
Лихой солдат Фанфан-Тюльпан;

А пастухам эклог уместно
Вблизи Сен-Клу пасти свой скот;
Тут ритм стиха тяжеловесный
В зазорный танец перейдет.

Ворону, Ветошь, Хрюшку, Тряпку
В Версале встретив летним днем,
Протягивай галантно лапку
Монаршим дочкам четверем.

Не отвергай любовь царицы,
Живи с блистательной Нинон,
Не бойся даже опуститься
До замарашки Марготон.

Веселый, озорной, мятежный,
Пой обо всем, соединив
Мелодию кифары нежной
И бойкий плясовой мотив.

Пусть в книге, словно в роще пышной,
Вскипает соловьиный пыл;
Пусть в ней нигде не будет слышно
Биения стесненных крыл.

Ты можешь делать что угодно,
Лишь с правдой не вступай в разлад:
И пусть твои стихи свободно,
Как стаи ласточек, летят.

Стремись к тому, чтобы в гостиных
Природе ты не изменял,
Чтоб сонм богов в твоих картинах
Небесный отсвет сохранял;

И чтоб в лугах твоей эклоги
По сочной и густой траве
Уверенно ступали боги
С босой Венерой во главе;

Чтоб запах свежего салата
Обрадовал в твоих стихах
Того, кто сочинил когда-то
Для гастрономов альманах;

И чтоб в поэме отражались,
Как в озере, скопления звезд;
И чтоб травинки в ней казались
Пригодными для птичьих гнезд;

Чтоб лик Психеи был овеян
Дыханьем пламенным твоим;
И чтоб твой стих, знаток кофеен,
Навек избыл их чад и дым.

Другу

И впрямь хочу я на мгновенье
От дум глубоких отойти;
На колеснице вдохновенья
Устали в облаках нести

Меня чудовища-грифоны...
Спускаюсь, чтоб по земле пройтись.
Пусть завтра стих мой окрыленный
Летит в таинственную высь, —

Я вновь вскочу на колесницу,
Легко догнав тебя, грифон.
Сегодня ж будут стансы литься;
Из Дендера пушусь в Медон.

Я в пляске волн, в цветенье сада,
В полете лебединых стай,
В лиловых гроздьях винограда,
В улыбке, озарившей май.

Я оставляю эти тени —
Смерть, сны, загадки естества
И в бездну страшные ступени,
Во тьму, в обитель божества;

¹ Будем петь помаленьку о малых делах (*лат*).

Прерву скитанья по долине,
Где, обступив меня кругом,
Витают призраки Эриний,
И вечную борьбу со злом.

Хочу на время о плененье
Евреев и рабов забыть,
Забыть нагорные виденья,
Ночные бденья... Жить так жить!

Прочь, лик Медузы, Сфинкса тайны!
Прочь, говорю я Сатане!..
Сегодня запах роз случайно
Из сада долетел ко мне.

Мой друг, ты сердишься, я знаю.
Как быть? Все в зелени вокруг.
Антракт недолгий объявляю, —
Меня уже заждался луг.

Спущусь в привратническую лета
С консьержем Маем поболтать.
Так что ж? От василька ответа
О судьбах мирозданья ждать?

Зачем же ручеек журчащий,
Шмеля, что к лилии приник,
Иль бабочку в зеленой чаще
Смущать, явив им ночи лик?

Зачем тревожить тополь стройный,
Осоку, вяза, лебеду
И дух сомнений беспокойный
Внушать поющему дрозду?

Что бездну смешивать с кустами,
Скорбь — и Авроры ясный взор?
Ужели должен я с цветами
Вести ожесточенный спор?

Расспрашивать ли мне о вечной
Двойной субстанции вещей
У жаворонка, что беспечно
Над крышей пролетел моей?

Не окажусь ли в странном клире
Безумцев, если заставлять
Синичку буду «Dies irae»¹
Во славу божью распевать?

Сейчас окно мое открыто,
И вот я вижу с чердака,
Как прачка, выставив корыто,
Взбивает пены облака.

И, право, хочется нежданно
В огромность этих вечных сфер,
Где взор святого Иоанна
Блуждал средь страхов, тайн, химер,

На этот мир, где все в смятенье,
Где все вокруг полно чудес,
Где тонут молнии прозренья
В бездонной черноте небес,

На тайны древние вселенной,
Которыми наш ум пленен, —
Плеснуть лохматой мыльной пеной
Мне из лохани Жаннетон.

¹ «День гнева» (католический гимн, повествующий о дне «страшного суда») (лат.).

ПОКИДАЯ КОЛЛЕЖ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Нам — шестнадцать лет... Пора!
Аттестат у нас — на зрелость.
Прочь, наивность школяра,
Можно жить, как нам хотелось!

Жизнь — в любви, мой друг. Узнай,
Что два глаза — два светила —
Озарили мне тот край,
Где душа во тьме бродила.

Это счастье знаешь ты?
Грезить днем, и ночью тоже.
О, жестокие мечты!
То завидовать вельможе,

То в горячечном бреду
(Сердце все — сплошная рана)
Представлять себя в аду
Иль невольником тирана;

Не вкусивши Евин плод
И жуя одни лишь корки,
Все ж изведать наперед
Вкус семян его прегорький;

До предела поглупеть,
Быть влюбленным, быть поэтом,
И безумствовать, и петь —
Мне знакомо счастье это!

Очарован, милый друг,
Я гризеткою прелестной
И страдаю... Но недуг
Исцелим, как мне известно.

Ведь недаром я люблю!
И, любви искусство зная,
По ночам совсем не сплю,
До рассвета — у окна я.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Расскажу тебе теперь,
Что она — моя соседка.
Мы живем с ней дверь о дверь
И встречаемся нередко.

По осанке — из принцесс...
Впрочем, это, может статься,
Ангел, посланный с небес,
Чтоб шитьем здесь заниматься.

Утро, вечер ли — все дни
Я в мечтах о ней доныне.
Чепчик шлемом замени —
Чем не мудрости богиня?

Ситец — вот ее броня;
И Медуза есть: ведь ходит
С нею ведьма, что меня
В содрогание приводит.

Становлюсь я сам не свой,
Увидав, как эта фея
Гордо на два су порой
Покупает сельдерея, —

Хоть пристало больше ей
Не работать до мозолей,
А гулять среди лилей,
Олеандров и магнолий.

Взор прозрачен и глубок,
Стан — как стебель строен, гибок,
И мерещится поток
Поцелуев и улыбок.

Под ее окном — юнец...
От гитары нет покою.
Или думает глупец
С неба снять звезду рукою?

Все теперь мне трын-трава.
Ведь меня при встрече первой
Назвала она: «Сова!»
Я откликнулся: «Минерва!»

HILARITAS

(Веселье)

Давайте петь! Со страстью жгучей,
С огнем, хоть чорта поминай!
Ведь песня— как стакан кипучий,
Где «чорт возьми» плеснет за край!

Блажен, кто, преданный веселью,
Под сенью виноградных лоз
Свой ревматизм прикрыл фланелью,
А в мудрость смех веселый внес.

Смех—это крылья в час паденья;
Они поддержат наш полет.
Философ, полный снисхожденья,
Веселых добрыми зовет.

Катон, ты строгого был нрава,
Но шуткой был и ты сражен.
О Генрихе Четвертом слава
Гремит, что был веселым он.

Так станем же весельчаками,
Счастливый заключим союз.
Веселье ж нам сверкнет зубами:
«И укусило б, да смеюсь!»

Колоколен ли перепевы,
От набата ль гудит земля...
Нет мне дела до королевы,
Нет мне дела до короля.

Позабыл я, покаюсь ныне,
Горделив ли сеньера вид,
И кюре наш — он по-латыни
Иль по-гречески говорит.

Слез иль смеха пора настала,
Или гнездам пришел сезон,
Только вот что верно, пожалуй, —
Только верно, что я влюблен.

Ах, о чем я, Жанна, мечтаю?
О прелестной ножке твоей,
Что, как птичка, легко мелькая,
Перепрыгнуть спешит ручей.

Ах, о чем я вздыхаю, Жанна?
Да о том, что, как приворот,
Незаметная нить неустанно
К вам в усадьбу меня влечет.

Что пугает меня ужасно?
То, что в сердце бедном моем
Создаешь ты и полдень ясный
И ненастную ночь с дождем.

И еще мне забавным стало —
Что на юбке пестрой твоей
Незаметный цветочек малый
Мне небесных светил милей.

Вот Жанна запела. Кокетка!
 Смотри, улетаешь!.. Но нет:
 Порхает, как с ветки на ветку,
 С куплета она на куплет.

О чем она? Трели... пассажи...
 Во взоре заря горит,
 Цветок у нее в корсаже...
 О чем она мне говорит?

О небе? О знамени старом?
 О подвиге славном в бою?
 О том ли, что нужно муаром
 Отделать ей шляпку свою?

Иль дух она мой сокровенный
 Смущает, который господь
 Вдохнул в мой трепетный, бренный
 Сосуд, называемый *плоть*?

Не знаю. Забыл все на свете.
 Псалом или вздор? Не поймешь.
 Так славочка на рассвете
 Поет, вызывая дрожь.

Я слушал как замороженный,
 Я крылья в плечах ощущал.
 Себя золотою короной
 Я в смутном виденье венчал.

Во всей наготе ее мне бы,
Во всей красоте лицезреть,
Все звезды похитить бы с неба,
На помощь позвать, умереть!

Был женщиной пьян я. Смертельный,
Высокий недуг! Не дыша,
Я слушал — и в мир запредельный
Моя исходила душа.

Чтоб мозгу в бреду испариться
И, череп взорвав, улететь, —
Такой обольстительной птице
Крылом его стоит задеть.

Полна любви природа, Жанна,
 К нам, к нашим радостям простым,
 И кажется, цветы нежданно
 Встают, прося склониться к ним.

Ждем Анжелику! Прочь Оргона!
 Пугает зиму этот крик —
 И, пятясь, в тучах небосклона
 Она скрывает хмурый лик.

У нас в сердцах победа мая
 Звучит на сотни голосов,
 Счастливой песней прогоняя
 Мглы цепенеющей покров.

Признаний дарит май немало,
 Цветы бросая на откос,
 Но разве сетовать пристало
 На болтовню весенних роз?

И ласточка так близко реет
 У глаз твоих, блестя крылом,
 Что взор твой, кажется, успеет
 Пересчитать все перья в нем.

Ты, Жанна, юностью прелестной,
 Полурастцветшей красотой
 Мир озаряешь поднебесный
 И споришь с утренней зарей!

И лилия горда без меры,
Что чистотой тебе равна;
Твоя душа — та чаша веры,
Где лишь голубка пить вольна.

Друзья, покончил я с пирами.
 Меня вполголоса зовут
 От суеты, где был я с вами,
 Леса в тенистый свой приют.

Прочь от чертогов горделивых
 Пойду куда глаза глядят,
 Дружить с малиновкою, с ивой,
 С холмом, где скалы встали в ряд.

Покину город, не жалея.
 Бог, милосердный искони,
 Помазал благостным елеем
 Мои колени и ступни.

Но думать вам, друзья, не надо,
 Что для буколки моей
 Нужна мне древняя Эллада
 Иль римский домик средь полей.

Не думайте, что я, лелея
 Мечту, согревшую мне грудь,
 Не знаю, где найти Алкея,
 И повернул к д'Юрфе свой путь.

Нет, как Вергилий, не хочу я
 Ни южных гор, ни теплых вод.
 Свою Нормандию люблю я,
 И в ней эклога расцветет.

Довольно яблони с цветами,
Чтоб ею вдохновился я.
Классическими пастухами
Крестьяне будут мне, друзья.

Мила идиллия мне эта.
Она свободна. Разве ей
Для меда нужен склон Гимета,
Аркадия — для трав полей?

Все песня в ней, очарованье,
Когда вечернею порой
В лугах я слушаю дыханье
Быка, бредущего домой.

Ей счастье кажется законом,
И в ней никто не удивлен,
Когда Ален под старым кленом
Платок снимает с Туанон.

В ней к Феокриту сердце чутко,
Но разве будет странно ей,
Что и цветок — лишь незабудка,
Что птица — только воробей?

Люблю я этот плющ зеленый,
Ползущий в трещинах оград,
И мушек рой неутомный,
Что так торжественно трубят.

Люблю я церковь и кладбище,
У входа нищего с сумой;
Люблю, — как голубок, что ищет,
Кому рассказ поведать свой

Про древние метемпсихозы
На Лесбосе, у волн морских, —
Я девушек свежее розы,
В сабо и платяцах простых.

Милы Мари и Жанны лица
Мне столько же, как и Орфей.
Цветут поля, щебечут птицы,
А ширь небес все голубей.

Мой стих, беги в лесок живе́й ты,
 Попойка ждет, — не будь ленив!
 Тебе подсунут фавны флейту,
 Под кустик лиру схоронив.

Спеши. Уж начат пир веселый:
 Зерном полны зобы у птах,
 Перепились рососою пчелы,
 Какие лакомства в цветах!

Возьми товарищей с собою:
 Дух галльский и латинский дух, —
 В тимьян свалиться с перепоею
 Ты не стыдись при этих двух.

Входя в долину изобилий,
 Будь весел, смел, но не лукав.
 Прибавит шагу пусть Вергилий,
 Держи Вийона за рукав.

Упейся! Пан так хочет. Благо,
 Фиал твой той доверил он,
 Что по Горацию — Лалага,
 По Лафонтену — Жаннетон.

В доисторические гроты
 Тебя зовут, склоняясь, цветы.
 И пьет Силен, да без охоты:
 Хлебнет и ждет — нейдешь ли ты.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПАРИЖА

Бряцают тамбурины где-то,
И зноем пышет от земли;
Расплывчатые силуэты
Неспешно движутся вдали.

Сверкают вихри легкой пыли
Вкруг древней башни короля;
Лучи полудня ослепили
И обессилили поля.

Дыханием горячим веют
Трепещущие ветерки;
В горниле луга маки рдеют,
Как огненные языки.

Овечье стадо бродит сонно;
Прекрасен этот жгучий день!
Трещат цикады монотонно;
Прохлады не приносит тень.

Недавно убрана пшеница, —
Теперь и отдохнуть не грех!
Из полной бочки в жбан струится
Божественно веселый смех.

Нетвердый на ногах пьянчужка
К столу треногому приник.
Ему дарует храбрость кружка,
И забывает он на миг

Прямую линию, нехватки,
Законы, страх, жандарма власть...
И вот напиток Вакха сладкий
Над податью смеется всласть!

Жует осел, мудрец хвостатый;
Вполне доволен он собой:
Конечно, уши длинноваты,
Зато луга полны травой.

Несутся по тропинке узкой
Веселой стайкой малыши.
Исчерчена картечью прусской
Высокая стена Кклиши.

Поскрипывает воз негромко;
Париж бормочет все слышней —
Старьевщик черный, чья котомка
Хранит охапку королей.

Вдали, за дымкой светлосиней,
Мерцают шпили и кресты.
Венчают девушек в долине
Улыбки, радость и цветы.

Меня, — промолвил дуб косматый, —
От жалости уволь.
Да, был из мрамора когда-то
Дворец и сам король.

Я видел на фронтоне лица
Надменных королей,
Стремительные колесницы
И каменных коней.

Я видел, как из-под завесы
Раскидистых ветвей
Поглядывали Геркулесы
На Геб и на Психей.

Охотничий рожок тревожный
Я различал вдали,
И, дуб могучий и вельможный,
Своим я был в Марли.

Супругов царственных объятя
Я наблюдал подчас
И замечал под их кроватью
Лозена много раз.

Версалью я дарил прохладу,
Густую тень свою,
У ног моих бродил по саду
Лашез, как чорт в раю.

Меня чугунная дуэнья —
Решетка — стерегла
От неприличного вторженья
Теленка иль осла.

«Ничтожны и презренны нивы,
А луг нечист и груб.
Их должен избегать брезгливо
Почтенный, старый дуб», —

Так под моим зеленым сводом
Хороший вкус ворчал,
И незнаком я был с народом
И все сильней скучал.

Искусство окружив оградой,
Вкус продолжал твердить,
Что под замок, в теплицу надо
Природу посадить.

2

Я видел тех, что стыд забыли,
От чести отреклись,
Тех, что красавицами слыли,
Героями звались.

Встречал я ропотом невольно
Ничтожеств этих рой
И ветками умел пребольно
Их отхлестать порой.

Красавицы толпою пестрой
Бродили по лугам,
И де Рео с насмешкой острой
Следил за ними там.

Герой был очень храбр, однако
Со смертью не шутил
И на цепочке, как собаку,
Свой героизм водил.

Король устроился отменно:
Когда он рвался в бой,
Его просили все смиренно
Не жертвовать собой.

И, бранное смиряя рвенье,
Народ свой возлюбя,
Приказывал сей муж к сиденью
Привязывать себя.

3

Я видел в славном этом веке,
Как надо поступать,
Чтоб, побывав женой калеки,
Супругой солнца стать.

Я видел, как, сбежав от шуток,
Поэт-лакей гулял
И рифмы, словно диких уток,
В тиши подстерегал.

Их было там немало — разных
Кропателей стихов,
Надутых спесью, безобразных,
Напыщенных шутов.

Привольно им жилось в Версале:
Одевшись напоказ,
Они собою украшали
Сусальный свой Парнас,

Высокомерно рты кривили,
Сжимали кулаки
И с видом гениев строчили
Бездарные стишки.

В Марли терпели нрав их грубый.
Блуждая меж стволов,
Они цедили, стиснув зубы,
Обрывки пышных слов,

Хромую Лавальер любили
Кипридой называть...
И лживые слова их были
Вставным зубам под стать.

4

Неслись приветственные клики,
Старался кто как мог:
«Светило — наш Луи великий,
Луи великий — бог!»

Сгибался Боссюэ понуро,
Стихами льстил Расин,
Глядеть порой на бога хмуро
Умел Корнель один.

Наш мир устроен очень странно:
В восторге род людской,
Олимп, хотя бы деревянный,
Увидев над собой.

Нередко Лафонтен в аллее
Свои стихи читал.
С улыбкой басням чародея
Придворный сброд внимал:

И царедворец искушенный,
Умело гнуший стан,
И герцог, сумрачный и сонный,
Бавиль, Френез, Таванн,

И Лувуа, палач кровавый,
И Шамильяр-лакей...
Всех рассмешить умел на славу
Сей чарователь змей!

Была природа в парке этом
 Как будто неживой;
 Как будто с выпрененным сонетом,
 Возились там с травой.

Все было чинно, тихо, гладко.
 Ленотр и Жан Люлли
 В садах и танцах беспорядка
 Стерпеть бы не могли.

Застыли тисы, точно в трансе,
 Равняли строй кусты,
 И приседали в реверансе
 Заученном цветы.

Дубам нещадно обкорнали
 Густые ветки их,
 Чтоб королям напоминали
 Александрийский стих.

Вид обездоленный и хилый
 Собою сад являл:
 Казалось, что Баттё унылый
 Его продиктовал.



«Вельможи, грабьте без стесненья!» —
 Кричали короли.
 С улыбкой муза Просвещенья
 Склонялась до земли.

Проныра муза вдохновенно
 Умела льстить и лгать
 И у прохожих откровенно
 Подачи вымогать;

Храм Аполлона величавый
Усердно стерегла
И у дверей торговлю славой
По мелочам вела.

На кальвинистов шло гоненье,
Везде царило зло, —
Меня же стригли без стеснения
Под гребень Буало.

У Ментенон кривились губки
В улыбке неземной.
Был чортом этот ангел в юбке, —
И вот уж кровь рекой

Из Нантского эдикта хлещет,
Тревожа предков сон,
И д'Обинье в гробу трепещет,
И тяжко стонет он.

Все мог купить король без спора.
Сердца, и честь, и кровь,
У судей — совести укоры,
У женщины — любовь.

Очерчен едким Сен-Симоном,
Двор как живой возник:
На троне — призрак, а за троном —
Всесильный духовник.

7

Мне ненавистно это время
Злодеев и тупиц.
Не по плечу нигмеям бремя
Величья без границ.

Грозит и правым и неправым
Владыка эшафот.
На смену парикам кудрявым
Век пудры настает.

Спустился на народ голодный
Слой пудры, как туман.
В чести уже не плут безродный,
А важный шарлатан.

Искусство тащится за модой.
Всем подданным в пример,
Луи Пятнадцатого одой
Дарит хитрец Вольтер.

Власть короля глупа на диво.
У мысли заткнут рот.
В шуршащих юбках горделиво
Монархия плывет.

Но грозные слышны удары,
Земля дрожит — и вот
Бежит от справедливой кары,
Как вор, весь этот сброд.

Пока кружились мошки в танце
Над головой моей,
Не стало шума, блеска, глянца,
Не стало королей.

8

Мне хорошо: ушла тревога,
Нестройный шум умолк,
Украсила мой парк берлога,
И стал монархом волк.

В лучах полуденных расту я,
Откинув прежний страх,
И революция, ликуя,
Цветет в моих ветвях.

От Трианона пахнет тленьем.
Он мертв, но я живу
И глушь вокруг не запустеньем,
А вольностью зову.

Хромал наследник, и с изъязном
Был королевны стан.
Теперь я подружился с Жаном:
Проворен, ловок Жан!

Мне поцелуй крестьянки звучный
Милее во сто крат,
Чем ловкого Данжо докучный,
Обдуманный разврат.

Приятней лес, и ветер свежий,
И луг, и блеск зари,
Чем туфельки (ах я, невежа!)
Графини Дюбарри.

Меня не окружает боле
Бесчестье прежних дней.
Приятней мне цветок на воле,
Чем во дворце — лакей.

Весна, мне нрав твой своевольны
Приятней и милей,
Чем их позор самодовольный
И золото цепей.

Не слышно шуток Рокелора
И праздной болтовни,
Но больше воздуха, простора,
Ясней и чище дни.

Теперь я нунциев не вижу,
Саяновых нет господ,
Зато мне с каждым часом ближе
Лазурный небосвод.

В тени ветвей моих маркиза
Вела собою торг,
А ныне знает здесь Дениза
Простой любви восторг.

Конец оград, рвам, заборам.
Присев на мягкий склон,
Сюзон ласкает персик взором,
Как Матюрен — Сюзон.

Есть у меня и развлеченья:
Веселой чередой
Повесы-ветра приключенья
Проходят предо мной.

А иногда, порой весенней,
Придет девчурка в сад.
Моей угрюмой, старой тени
Приятен детский взгляд.

На свете ничего светлее
И трогательней нет,
Чем чистой девочки в аллее
Неясный силуэт.

Она беседует с травой,
С цветами у ручья.
Беседе юности с весною
Внимаю тихо я.

Я вижу сев и прорастанье,
Я вижу жизнь в зерне
И тайну бракосочетанья
В глубокой тишине.

Я вижу под ночным покровом,
Как торжествует вновь
Над целомудрием суровым
Прекрасная любовь.

Я вижу пары, поцелуй,
Объятья без конца.
Желанием томятся струи,
У ветров есть сердца.

Природой это ликование
Освящено навек:
Начало скрыто в окончанье,
И семя даст побег.

За мной ухаживает буря,
Поит дождя струя.
Росу полотенцем лазури
С листов стираю я.

Зима приносит сон глубокий,
Но лишь придет апрель,
Опять весны розовощекой
Я ощущаю хмель.

Я, вольный, стал своим в природе,
И мне сладка весна.
Для нас гармония в свободе,
Мой друг, заключена.

Под небом, дышащим отрадой,
Хочу, чтоб сгинул гнет,
Чтоб не стеснен был лес оградой
И королем — народ.

Чтоб райский сад, густой, прохладный,
Вновь распуститься мог,
Бутоны земли рукой громадной
Слегка сжимает бог.

Исчез король, исчезла клика
Всех временных владык,
И бога — вечного владыку —
Я, наконец, постиг.

Он многолик, как мирозданье,
Он благ — и потому,
Даруя миру упование,
Рассеивает тьму.

Исчезли касты. По дорожке
Червяк ползет ко мне.
Я равным стал и малой мошке
И солнцу в вышине.

Иллюминаций пышных боле
Не видно в тьме ночной.
Я ими жертвую без боли:
Мне нужен свет иной.

Пылали фейерверка знаки
На небе, и земля
Не бога видела во мраке,
А имя короля.

Перебегали по поляне
Слепящие огни.
От них стремглав спасались лани
И прятались в тени.

Свод неба, тихий и огромный,
Тонул во мгле всегда:
Фонариков на ветке темной
Пугается звезда.

Бенгальские лучи огнями
Пронзали глушь лесов,
Надменно затмевая пламя
Крестьянских очагов.

В те дни мы все — осины, вязы,
Суровые дубы —
Маркизов и ракет проказы
Сносили, как рабы.

Казалось, что в Версальском парке,
Гоня дремоту прочь,
Рубиново-сапфирный, яркий
Пожар гудит всю ночь.

Король, надменный и суровый,
Любил игру лучей,
А я в них видел блеск багровый
Костров, где жгут людей.

Неисчислимые ракеты
С шипением рвались.
Взлетали кверху самоцветы,
А пепел падал вниз.

Порою луч зелено-синий,
Внушая людям страх,
В честь короля, как хвост павлиний,
Сверкал на небесах.

Теперь ничто здесь не дышит,
Свечей и плошек нет, —
Как всем крестьянам, посылает
Мне только небо свет.

Под кров листвы, сквозной и темной,
Прийти ко мне не прочь
Созвездия толпою скромной
И блещущая ночь.

Я тень планеты неизвестной
Над головой ловлю;
Приветы страннице небесной
Шуршаньем веток шлю.

Мои окутывает ветки,
Мой одевает ствол
Не серый дым, густой и едкий,
А звездный ореол.

Мне молодость дарит свобода,
Я опьянен — и вот
В объятья приняла природа
Меня и небосвод.

Но все, что ныне уделело
От века королей
В саду, где ослик бродит смело
В невинности своей, —

Зола былых иллюминаций,
Богини и божки,
Великолепных декораций
Картонные клочки,

Лежащие меж трав-крестьянок,
В пыли и без огней,
Осколки плошек-куртизанок,
Любимцев-фонарей,

Когда-то пестрых погремушек,
Поверженных столбов,
Ракет — сиятельных старушек,
Подсвечников-попов, —

Весь хлам в своей тупой гордыне
Глумится надо мной
За то, что снизошел я ныне
До дружбы со звездой.

1

Я на людей гляжу с тоскою.
Фальшь отравляет душу им.
Париж полузатоплен мглою,
Когда-то поглотившей Рим.

От лихорадки революций
Леча народы, короли
Пилюли клятв и конституций
Для них тайком изобрели.

Наш мрамор сходен с углем грязным,
С вампиром — каждый наш святой.
Тот, кто нам кажется прекрасным,
Уродом был бы в век иной.

Плутует честный, лжет правдивый.
Мы кроткими стремимся быть
Лишь потому, что мы ленивы,
А гнев нас может утомить.

Меж нами больше невозможны
Ни Гемпден, ни Дантон, ни Брут.
Бок о бок в нас софизм безбожный
И добродетели живут.

Смывает честь прилив позора,
А там, где всемогущ разврат,
Илотом делается скоро
Упавший духом спартиат.

Бледнеет день; слабеют силы;
На черный хлеб и потный лоб
Людей труда, подняв кропило,
Бесстыдно брызжет грязью поп.

Накладывает ночь глухая
На разум и зарю запрет,
И, только зренье напрягая,
Сквозь тьму годов мы видим свет.

Былое властвует над нами.
Опять ему опора — трон.
Опять наш дух его когтями
Придавлен, схвачен, ущемлен.

Монарх — добряк, но мостовые
Поит кровавая волна.
Уселась шлюха-тирания
На шее короля-бревна.

У нас сердца — сродни клоакам,
Дела — зловонней сточных ям.
Кто продает страну казакам,
Кто совесть продает попам.

Чтоб войны, казни и страданья
Господним словом оправдать,
Зловещий, адский смысл Писанью
Религия спешит придать.

Молва покорно, как машина,
Хвалу преступникам поет,
И мочат слюни Аретина
Ее отвисший жадно рот.

Париж одежа, как лакея,
Фортуна, властвуя над ним,
В такую страшную ливрею,
Что с ней и саван несравним.

Победа, словно потаскуха,
Дает любому наглецу
Шептать ей комплименты в ухо
Иль бить с размаху по лицу.

Не принц Конде, не Лафейады,
А солдафон спесивый с ней
Вкушает пьяные улады,
Как с Афродитою Арей.

Повсюду деньги, разложение,
Цинизм, насмешки над мечтой,
Подобострастные движенья,
А в душах — только мрак ночной.

2

О мысль моя, покинь столицу!
Беги в румяные леса,
В поля, где на цветы ложится
И шепчет о тебе роса.

Лети к густым прохладным чащам.
Предутренний туман исчез.
Над миром, радостью кипящим,
Смеется светлый лик небес.

Войди под лиственные своды,
Где так отрадно быть вдвоем,
Где феи водят хороводы
Ночами, а крестьянки — днем.

Все ждет тебя нетерпеливо.
Стрижи вернулись, и река
Тебе расскажет шаловливо
О первой ножке без чулка.

Смотри: вокруг ликуют бурно
И ключ, и птицы, и трава,
И юный луч зари пурпурной,
Узнав от роз, что ты жива.

Покинь Париж. В лазури чистой
Февральских бурь растаял след.
Весна в одно рукой душистой
Апрель бросает, как букет.

Согреты солнцем все тропинки,
По лугу пробегает дрожь,
И жук на кончике былинки
С матросом на грот-мачте схож.

Так что тебе до Галейрана,
Фуше и нантских нуайад!
Ты слышишь? Мухи непрестанно
В прозрачном воздухе гудят.

Оставь заботы и печали,
Довольна будь и весела,
Раз из пруда ирисы встали
И земляника зацвела.

В

Любимая, беги со мною!
Париж мертвит сердца. Скорей!
Вкусим забвение хмельное
Листвы и солнечных лучей.

Священен лес. Его вершины
Сверкают летнею порой.
Его зеленые пучины —
Жилище вольности святой.

Едва лишь в эти бездны глянет
Ожесточеннейший из нас,
Как мир ему казаться станет
Милей и краше во сто раз.

Алеет утро. Все сияет.
В овраге плещется волна.
И радость бытия вскипает,
Как пена свежего вина.

Шиповник ласков, как влюбленный.
Трепещут нежно лепестки.
Все речи так непринужденны,
Все взрывы смеха так легки!

О, тайны умиротворенья!
Прозрачно тающая тень!
Душа немеет в ослепленье,
Впивая лучезарный день.

Забудем все, сотрем бесследно
Печаль и горести с чела!
Пусть жизнь, как полночь, беспросветна —
Природа, как восход, светла.

Пусть люди мерзостны и страшны,
Пусть нравы низости полны, —
Что мне до них, когда на пашне
Бубенчики быков слышны!

Не может быть иной отрады
Для нас, насельников земных,
Чем ширь полей, и сумрак сада,
И смутный шум ветвей лесных.

Уйдя в просторы без границы,
Мы мудрость мира познаем.
Довольно пенья малой птицы,
Чтоб доказать, что бог — во всем.

БЕГСТВО В СОЛОНЬ

Поэту Меранту

1

Последуй, друг, за мною.
Как свеж покров лесов!
С крестьянскою зарею
Встают здесь в пять часов.

Париж — он дышит смрадом,
Рычит он, дик и хмур,
И корчится под градом
Злодейств и авантюр.

Какой закон зловещий,
Чудовищный закон!
Все опошляет вещи
Новейший Вавилон.

2

Спеши. В таком я месте,
Где сумрак и мечты.
Здесь отдохнем мы вместе
Вдали от суеты.

Креста изображения,
Легенд старинных вязь...
Игра воображенья
С природою слилась.

Почти под каждой дверью
Здесь вымыслы сидят,
И духи, по поверью,
Все очаги хранят.

Здесь эльфы льнут к нимфеям;
В сплетеньях небылиц
Здесь счет потерян феям.
Их больше здесь, чем птиц.

Любимица хибарок,
Им сказка на порог
Приносит, как подарок,
Гнездо, где гном прилег.

Склонившись над заливом,
Здесь леший-весельчак
Бросает в ноги ивам
Сверканья полный мрак.

Здесь фавн в зеленой сени
Шершавою рукой
Любовников колени
Сближает в час хмельной.

И домовый в загоне
Скребется у стены
Пруды ночной Солони,
Как зеркала, бледны.

Кувшинки в легкой дрожи
Под сенью камыша
На девственниц похожи:
Их светится душа.

3

Здесь все по воле бога
Живет, растет, цветет...
И вереска так много,
И ясен небосвод.

В краю дубов тенистых
Живу теперь один;
И воздух — весь лучистый,
И блещет даль равнин.

Убежище себе я
Нашел в лесной тиши,
Где только ветер, вея,
Льнет к листьям. Ни души.

Еще в беседке сплю я —
А, золотом горя,
Румяная, ликуя,
Является заря.

Мне хмель щекочет ухо:
«Вставай! С приходом дня!»
Назойливая муха
Жужжит, будя меня.

4

Взываю: стань свободным,
Беги от катастроф, —
И здесь, в дрожанье водном,
Родится трепет строф.

В любом пруду случайно
Найдешь поэму тут.
Даны озерам тайны,
А в нас мечты живут.

Стиху порой охота,
Как ласточке, крыло
Вдруг обмакнуть с разлета
В озерное стекло.

Шла муза в час чудесный
К Вергилию во мгле,
И слезы куп древесных
Лежали на челе.

Криницы, шпажник, буки,
Травы пахучий мир
Влагать в идиллий звуки
Учил еще Титир.

Сонет слагая Пану,
Всю в росном серебре
С лягушками поляну
В катрене дал Сегре.

Когда Ракан Бабетте
Пел славу, с челнока
Подслушал на рассвете
Он рифмы у чирка.

И я — даю в том слово! —
Вступлю на путь эклог:
Мартына-рыболова
Гюго прославит слог.

Ведь даже в строгой оде
Та зелень разрослась,
Где бродит на свободе
Титания, смеясь.

Проснулись, друг, озера,
И вот, по зову их,
Другая входит флора
В александрийский стих.

И, выплыв из затона,
Где некий дух живет,
Накал иного тона
Наш стиль приобретет.

Приди. Отдайся чарам,
Чтоб в снах твоих возник
Склоненный к неньюфарам
Задумчивый тростник.

1

Этот голубой малыш,
Что по воздуху несется
И всегда, когда ты спишь,
Ногтем в дверь твою скребется,

Он — мечта моя. В мольбе
У порога ждет, робея,
Хочет он войти к тебе,
Быть хоть прихотью твоею,

Быть твоим слугой. Кого ж
Ты найдешь еще примерней?
Он в лучах зари вечерней
Так на ангела похож:

Крылья — с именем твоим,
А с моим — его колени.
О прекрасная, ты с ним
Сговоришься без размышлений.

Он проворен и смышлен,
Весел, нежен чрезвычайно,
Но меня поранил он
Ногтем розовым случайно.

Пусть к тебе без промедленья
 Входит бедная мечта;
 Бедность ведь не преступленье.
 В сердце дверь не заперта,

И твое не на запоре.
 Так мечте, летящей к вам,
 Открывайте же, не споря;
 Отворите дверь, мадам.

Я страдаю. Равен году
 Миг короткий для меня.
 Мой гонец, обет храня,
 Все свершит тебе в угоду.

Твой прелестный лоб едва
 Тронув легкими крылами,
 Он огонь зажжет сперва,
 А потом раздует пламя.

Твой оберегать покой
 Полон рвением единым,
 Будет он пока слугой —
 После станет господином.

Любить ты не желаешь, злая?
Весна в печали слезы льет;
Послушай, что в расцвете мая
Влюбленный соловей поет.

Знай, без любви ни обаянья,
Ни прелести у женщин нет.
Без солнца в небе нет сиянья;
Оно зайдет — погаснет свет.

В уroda можешь превратиться,
Когда любить не будешь впредь.
Поет об этом песню птица, —
Другой она не может петь.

Любовь — смятенье,
Но страсти дрожь
В одно мгновенье
Передаешь.

Пока, вздыхая,
Гляжу с мольбой,
Ты, дорогая,
Шути и пой.

Не верь признаньям,
Пока, любя,
Я с упованьем
Молю тебя,

Пока, рыдая,
Клянусь недуг...
Страшись, когда я
Дрожу, мой друг.

СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Бал. Сельский бал. Войдем в палатку,
Усмешку прочь стерев с лица.
А голос музыки украдкой
Уже волнует нам сердца.

О ужас! День еще в разгаре,
А здесь — галоп во весь карьер.
С Мадлон — отнюдь не робкой — в паре
Отнюдь не сонный пляшет Пьер.

Глядим, как жарятся каштаны,
Как пиво пенное течет,
Как пирожки горой румяной
Веселый соблазняют рот.

Приходит вечер. Прочь заботы!
Обед на травке полевой...
И каждый нежен отчего-то,
И каждый — молодец лихой!

Тенист зеленый свод дубравы,
Белеют скатерти под ним.
Честны невинные забавы,
А небосклон необозрим.

Что с вами случилось? Вы в ссоре?
Влюбленные все таковы!
Желанное «ты» в разговоре
Внезапным сменяется «вы»;

И тягостны сердцу оковы,
День меркнет, и в чувствах разброд,
И небо любви так сурово
Влюбленных дождем обдает!

Вот так-то беспечно порою
Идем мы в зеленую сень,
Обрадованные зарею,
Сулившей безоблачный день, —

А в полдень лазурный и жгучий
Застигнуты мы невзначай
Свинцовой подкравшейся тучей...
Не прочь позабавиться май!

Мы поем, восхищены
Светлым маем,
Щедрые дары весны
Собираем!

Шутим и смеемся мы
Без смущенья
Там, где слышались псалмы
И моления.

Ново мне тебя женой
Звать, родная,
На веселый оклик твой
Отвечая!..

Сколько ласковых затей,
Сколько смеха!
Нам из гулких галлерей
Вторит эхо.

Рвем жасмин в тени густой
И нарциссы
За надгробною плитой
Аббатисы.

Игры в прятки по кустам
Шаловливы,
Хоть и достается нам
От крапивы.

В древней мгле монастыря
Ярче, краше
Разгорается заря —
Счастье наше.

Мы резвимся без забот
И ликуем,
И давно потерян счет
Поцелуям

Меж аркад, колонн, гробниц
И ступеней...
Это — жизнь веселых птиц
В день весенний!

ЧРЕЗМЕРНО СЧАСТЛИВЫЕ

Когда с похищенной, с любимой
Найти убежище ты смог
На высоте недостижимой,
Где вам свидетель только бог;

Когда ее под пышной сенью
Цветов ты соблазнишь упасть
В ту бездну, что клубится тенью,
Где тишины и страсти власть;

Когда на дне той дикой чащи,
Во тьме лучистой — вновь и вновь
Целующим губам все слаще
Твой вкус божественный, любовь;

Когда до головокруженья
Близка любовников чета,
Когда в душе изнеможенье,
И немота, и слепота;

То в этом счастье не эдем ли?
Не небо ли? И тем сильней
Оно и раздражает землю,
Что горний свет несносен ей.

Такому счастью дуб огромный
Завидует; смятенье чувств
Оно несет лилее скромной:
Ей розан стар, и луг ей пуст.

Такое счастье, всем на зависть,
Волнует старца и юнца;
В цветах — и звездчатая завязь
По нем тоскует и пыльца;

И никнет гордый пестик долу
(А он и есть душа плода);
Оно за медом гонит пчелок
И ветерки туда-сюда

И птицам снится и стрекозам,
Которых осенью так жаль, —
Всему, что, в страхе пред морозом,
Уносится куда-то вдаль.

ГОСТИЮ ИЗ ПАРИЖА

Чтобы я был роялистом!
Разве может длиться мгла,
Раз заря на небе чистом
Заявила: «Я пришла»?

Вот, под номером и датой,
Короли несутся вскачь...
И даны им аттестаты:
Вот король, читай — палач.

Нет, я больше в них не верю.
Кто ж преступным назовет,
Что открыл я солнцу двери,
Видел разума восход!

Был я в школе, где былое
Обучало нас, как встарь,
Но, сломив его устои,
Я иной учу букварь.

В нем, узнай, о гость веселый,
В нем природы голоса,
Лилии не для престола,
Не для виселиц леса.

Нынче верю я, что право
Всем чудесное дано
На любовь и на забавы,
На веселье и вино.

В Домреми, в жилье простое,
Эллин, ты пришел ко мне,
Но, как скиф, перед тобою
Я откроюсь не вполне,

Не совсем... лесные тропки
Пусть теряются в ветвях;
Пусть стоит любовник робкий
В приотворенных дверях.

Я люблю здесь час рассвета.
Здесь, в лесистой тишине,
Есть отшельник, друг поэта,
Есть и сын — он недруг мне.

В Домреми пленила сердце
Мне волшебница моя.
В вешних листьях, как Проперций,
Звуки флейты слышу я.

Мой восторг — стихов тетрадка,
Пытка — женский силуэт.
О, китайская загадка,
Ревность! Худшей муки нет.

Парижанкой молодою
Я опутан и пленен.
Каждый тополь над рекою
В милую, как я, влюблен.

В Вокулер, в Солонь ли мчится —
Я за нею впопыхах.
Сердце радо, разум злится,
Словом, жизнь моя в цветах.

Поплатился я душою,
Аппетит я потерял,
Оправданье ж есть большое:
Башмачок ее так мал.

Вот моя, брат, авантюра,
А теперь давай решим
Все забыть с тобой: цензуру,
И священников, и Рим.

Всюду ярмарки и пляски.
А красавицы честны:
Мне обещанные ласки
Подарить тебе должны.

Пей же и люби, счастливый!
А король, шепну тайком, —
Это бога нос фальшивый,
Грубо склеенный попом.

По лесу я бродил весною...
Шел дождь, и я промок насквозь.
Зато мне чудное, не скрою,
Найти местечко удалось.

Лесная церковь — загляденье!
Зеленый храм... В том уголке
Услышит синей птицы пенье
Любитель странствий налегке.

Не из камней, однако, стены
Той церковки в лесу глухом.
Построили порой весенней
Ее боярышник с плющом.

Две ветки вход образовали,
Их обвивает дикий хмель.
Из листьев выложил спирали
Искусный каменщик Апрель.

Здесь архитектором природа,
Но ей, наверное, совет,
Как лучше выгнуть арку свода
(Что выкрашен в зеленый цвет),

Давали жаворонки, сойки
И коноплянки, — ведь они
Из гибких прутьев постройки
Свивать умеют искони.

Вот колоколенка — штокроза,
Чьи чашечки таят елей.
Из них с весны вплоть до мороза
Несется благовест шмелей.

Аккомпанировать готовый,
Шумит листвою старый клен,
И колокольчиков лиловых
Не молкнет радостный трезвон.

Здесь для крестин вполне годится
Из белой лилии купель.
Живет отшельница-мокрица
Под камнем, где большая щель.

Посередине — обомшелый
Валун, что служит алтарем.
Улитки вышили умело
Его поверхность серебром.

По стеблям дрока повилика
Поднялась лесенкой витой.
Жучки от мала до велика
Дорожкой пользуются той.

Кудрявый плющ спешит украдкой
Взобраться вверх — такой бунтарь!
Его фестоны в беспорядке
Уже завесили алтарь.

Не ладан — роз благоуханье,
Взамен святой воды — роса;
И видно — всякое дыханье
Здесь восхваляет небеса.

И солнцу, видно, не в новинку
И непоседе-ветерку
Ласкать здесь каждую травинку,
Склоняться к каждому цветку.

Зари сиянием объятый,
Весь храм в восторге трепетал...
«Дружок! — сказал паук мохнатый, -
Розетку эту я соткал».

2

Какие дни нам подарила
Весна-колдунья! Тишь да гладь...
Везде спокойствие царило;
В лесу и в поле — благодать.

Цветы в объятиях сплетались,
Как все живые существа,
А овцы на лугу шептались:
«Какая вкусная трава!»

Жужжали пчелы-попрошайки.
С утра до вечера их рой
Весна кормила на лужайке
Нектаром сладким и пылью.

И сочетался в церкви браком
Один цветок с другим цветком:
Гвоздика — с яркокрасным маком,
А маргаритка — с васильком.

Старуха-яблоня беспечно
Роняла наземь лепестки.
По-детски так простосердечно
Порой смеются старики!

В церковном хоре вместе пели
Кузнечик, тощий музыкант,
Со снегирем, — всегда он в теле
И разодет, как истый франт.

А воробей на ветке гибкой
Все время прыгал. Я следил
За ним с невольною улыбкой:
Крылатый гаер походил

На танцовщицу, для которой
Натянута тугая нить
Была меж башнями собора,
Чтоб всех бездельников пленить.

В парчовой ризе под березой
Служил обедню мотылек,
А в стороне пыталась роза
Скрыть непочтительный зевок.

За ней ухаживал галантно
Всеобщий баловень, шалун,
Повеса-шершень элегантый,
Чей золотой блестит галун.

И млели, на красавца глядя,
Поденки, жужелицы, тли,
Стрекозы в кружевном наряде,
Что хоровод свой завели.

А дрозд с овсянкой из кувшинки, —
Здесь чаша на двоих одна! —
По капле выпили росинки,
Опорожнив ее до дна.

Украдкой это наблюдая,
Уже не удивлялся я
Родству любви с расцветом мая...
Кто сам любил — поймет меня.

3

И вновь к вечерне прямо в чаще
Звон колокольчиков сзывал,
Мне храм лесной, как настоящий,
О вечности напоминал.

«Осанна» слышалась романше,
«Те Деум» пела и пчела.
От птиц и трав, цветов, букашек
Неслась всевышнему хвала.

Кидал шиповник тень густую...
В той церковке в лесном краю
Узнал я церковку родную,
Увидел милую свою.

У алтаря она склонилась,
Там, где жасмин и резеда.
Надежда вместе с ней молилась
И сны, что сгибли навсегда.

Я увидал былые грезы,
Былое счастье юных дней...
Мою любовь венчали розы,
И птицы пели мне о ней.

4

На незнакомца, озадачен,
Взирал высокий остролист.
Я был на вид весьма невзрачен,
А он, дождем омытый, чист.

Я был в грязи чуть не по пояс,
Дождь промочить меня успел;
А он, ничуть не беспокоясь,
Листою мокрою блестел.

Светляк зажег мерцавший слабо
Фонарик, осветив притвор.
Сердитая большая жаба
Уставилась на мухомор.

Но вовсе не была надутой
Гризетка в платице простом,
Что в городе звалась Анютой,
А здесь — анютиным глазком.

Малиновка воды искала...
Листок аронника любой
Служил подобием бокала,
Наполнен утренней росой.

Прекрасней нет нигде жемчужин!
Они скатились в птичий клюв.
«Вот для чего бывает нужен
Листок!» — подумал я, взглянув.

На паперти без остановки,
Меж лютиков и медуниц,
Старушки-гусеницы ловко
Вязали коконы без спиц.

Амвроном здесь — цветок тюльпана,
А рядом, в речке, камыши
Служили трубами органа
Для ветерка в лесной тиши.

Невдалеке, в часовне черной,
Живет могильщик-скарабей,
Внушая ужас непритворный
Большой лопатой своей.

Услышав голос мой, шиповник
Спросил: «То не Орфей идет?» —
«Нет, — отвечал ему терновник, —
Обыкновенный стихоплет!»

ВРЕМЯ СЕВА. ВЕЧЕР

Смеркается. Закат играет.
Сижу, любуясь, как всегда,
Остатком дня, что озаряет
Последний этот час труда.

А сумрак над полями — гуще.
Старик в отрепьях, мудр и прост,
Бросает урожай грядущий
Рукою щедрой вглубь борозд.

Над пашней силуэтом черным
Он высится... О, как же он
Уверен, видно, в плодотворном
Круговращении времен!

Так по равнине безграничной
Шагает он. Его рука
Швыряет семена привычно,
А я — все думаю, пока,

Свои покровы простирая,
Ночь воцаряется окрест,
До звезд как будто расширяя
Державный сеятеля жест.

Вот дети стайкой белокурой
 Читают вслух, склады твердят,
 На них ворчит учитель хмурый
 И не глядит из класса в сад,

Хоть приоткрыта дверь. К дубраве
 Я прохожу окрай болот,
 Туда, где в трепете и славе
 Разбуженный апрель встает.

Поет о вечном хор согласный:
 Ликует дрозд, гремит ручей.
 Цветы сотворены из ясной
 И чистой красоты лучей.

По букварю, всех книг чудесней,
 И я учить склады готов:
 Барвинок в поле — стих из песни,
 Орел под небом — пенье строф.

Но вот загадка: всюду пятна;
 Где лилия, там и репей —
 Дурной, колючий. Непонятна
 Их близость разуму людей.

Пока свистел скворец, гляжу я,
 Чирок трудился — и не зря:
 Он в клюве держит, торжествуя,
 Трепещущего пескаря.

А тот пескарь, поживы ради,
Следил сейчас за пауком,
Который, прядая по глади,
Заглядывал в подводный дом.

Лай... Выстрел огласил поляну...
Пришел охотник! Я душой,
Я сердцем ощущаю рану!
Где мирный, сладостный покой?

В тоске бреду по бездорожью
И в сотый раз гадаю я:
Откуда зло? Ошибка божья,
Описка в книге бытия?

Шесть тысяч лет в войну все тянет
 Драчливый род людской, а ты...
 А ты, о господи, все занят —
 Творишь ты звезды и цветы.

И все советы, что от века
 Так щедро сыплются с небес,
 Не действуют на человека,
 Когда в него вселится бес.

Резня, победа, шум погромный —
 Мир этой страстью обуян.
 И бубенцом для массы темной
 Звучит военный барабан.

На триумфальных колесницах
 Химеры славы лихо мчат,
 И стынет кровь детей на спицах,
 И кости матерей трещат.

Нет счастья нашего жесточе:
 Оно — в словах: «Умрем! Вперед!»
 Трубить атаку, что есть мочи,
 Так, чтоб слюной был полон рот.

Дым. Блещет сталь. Мы — не как люди,
 Как псы — на вражеский бивак
 Бежим, взбесясь. Огонь орудий
 Душевный озаряет мрак.

Все это — их величеств ради.
А им — тебя похоронить, —
И не останутся в накладе, —
Столкнутся: ты можешь гнить...

На поле брани роковое
Придет шакал и ворон вслед
И станут, каркая и воя,
Глодать истлевший твой скелет.

Народы ведь не терпят, чтобы
Сосед под боком жил. Куда!
Так нашу глупость ядом злобы
Раздуть стараются всегда.

«Вот этот — русский. Режьте, бейте!
А тот — хорват? Стрелять! Стрелять!
Так вам и следует! Не смейте
В мундирах белых щеголять!..

И этого без сожаленья
Легко прикончить я могу:
Ведь он родился — преступленье! —
На правом рейнском берегу...

За Росбах — месть! За Ватерлоо!..»
И в этой дикой кутерьме
«Убить!» — единственное слово,
Живущее в людском уме.

Казалось бы, милей и проще
Припасть к прохладному ключу,
Любить, мечтать в дубовой роще...
Нет! Брата я убить хочу!

И рубят, колят... Стоны, крики...
В степях, в горах, топча людей,
Несется ужас звероликий,
Вцепившись в гривы лошадей.

А там, внизу, — заря алеет...
И, право, не возьму я в толк,
Как человек вражду лелеет
Под мирный соловьиный щелк.

ПРАЗДНОВАНИЕ 14 ИЮЛЯ В ЛЕСУ

Как весел, светится насквозь
Сегодня этот дуб шумящий —
Таинственная леса ось,
Опора всей дремучей чащи!

О как, когда ликуем мы,
Он вздрагивает — друг свободы, —
Великолепной полутьмы
Отбрасывая ширь под своды!

Но почему так весел он
И, распрямляя стан, трепещет,
Как будто летом вдохновлен,
Которое горит и блещет?

Четырнадцатое! Родной
Народный праздник! Сердце бьется,
Свобода сон стряхнула свой,
В громах ликующих смеется.

В такой же день из недр возник
Народный гнев, расправив крылья;
Париж потрянул за воротник
Бастилию, гнездо насилия;

В такой же день его декрет
Изгнал потемки из отчины,
И бесконечность залил свет
Надежды, радости и жизни.

Уж сколько лет в такой же день
Дуб к небу шлет листвы волненье
И всей душой, раскинув тень,
Зари приветствует рожденье.

О тех он вспоминает днях,
Когда венки дарил народу,
Когда, как птица в небесах,
Душа летела на свободу.

Дуб кровью Галлии вскормлен,
Он ненавистью к ночи дышит,
И для него один закон —
Могучим быть, расти все выше.

Он грек, он римлянин. Разлет
Его вершины величавой
Над человечеством встает
В сиянье доблести и славы.

Листочком дуба, милым всем,
Чтут тех, кто смерти не боится,
С ним и Эпаминонда шлем
И Гоша алые петлицы.

Дуб — патриарх лесов родных —
Хранит и в старости глубокой:
Прошедшее — в корнях своих,
Грядущее — в листве широкой.

Его могучую красу
Взрастили солнце, ветры, воды,
Как щебет птиц в родном лесу,
Он любит вольные народы.

Сегодня весел, счастлив он
И празднует свой день рожденья.
Париж весельем озарен —
Повсюду танцы, смех и пенье.

Чуть слышен барабан вдали.
Народ ликует, веселится,
И ясно всем, что песнь любви
Из гимна гневного родится.

А дуб трепещет, дуб поет.
В его листве необычайной
Все то, что было, что придет,
Двойной соединилось тайной.

Наивный старец, он давно
Забыл про смерть и увяданье.
Он знает: все, что рождено, —
Яйцо дрозда, грозы дыханье,

Счастливый щебет под окном,
Из завязи цветка рожденье —
Все это навсегда творцом
Дано живущим в утешенье.

Душою мирен и высок,
В своем спокойствии он знает,
Что весь народ родной — Восток,
Где яркая звезда сияет.

Он мне кивает головой,
Своей вершиною столетней.
Передо мной в глуши лесной,
В его корнях, в прохладе летней,

Пестро раскрашены, чисты,
Ведя беседу меж собою,
В траве колышутся цветы
И умываются росю.

На маки сонные заря
Из чащи уронила слезы;
В брильянтах лилии горят;
Раскрытые вздыхают розы.

И сквозь разросшийся тимьян
Глядят фиалка, повилика,
Благоуханьем ирис пьян,
Кокардой кажется гвоздика.

Мохнатых гусениц влечет
Жасмин пахучий и лукавый.
Здесь арум о любви поет,
Марена — о войне кровавой.

Веселый, бойкий соловей
Средь остролистов и вербены
Сливает с песенкой своей
Республиканские рефрены.

Терновник встал невдалеке,
Сошлись в ложбинку меж холмами
Кусты с букетами в руке,
А воздух полон голосами.

Весь этот дивный мир кругом
Исполнен счастья, вдохновенья,
Он каждым говорит листком:
«У деда праздник, день рожденья!»

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОЙНАХ ПРЕЖНИХ ЛЕТ

За Францию и за свободу
В Наварре драться нам пришлось.
Там в скалах нет порой прохода,
Летают пули вкривь и вкось.

Седобородый и бывалый,
Наш командир упал ничком:
Кюре из церкви обветшалою,
Как видно, метким был стрелком.

Он не стонал. Сгущались тени.
У раны был прескверный вид.
Во Франции, в Марин-на-Сене
Поныне дом его стоит.

Мы подняли его — и странно
Он на руках у нас поник.
Мы положили капитана
Под ивой, где журчал родник.

Ему кричали мы в тревоге:
«Огонь! Противник окружен!»
Но он сидел, немой и строгий, —
Мы поняли, что умер он.

Наш лекарь полковой руками
Развел, скрывая тяжкий вздох.
Под одряхлевшими дубами
Безмолвно мы собрали мох,

Ветвей терновника нарвали...
В глазах спокойных мертвеца,
Казалось, не было печали,
И гнев не искажал лица.

Когда нашли иезуита,
Раздались крики: «Смерть! Расстрел!»
Но видно было, что убитый
Убийцу пощадить хотел.

Кюре прогнали мы пинками,
И мнилось, капитан был рад,
Хотя охотно в бой с врагами
Повел бы он своих солдат.

Должно быть, чей-то образ милый
Ему всегда сиял вдали:
Мы на груди его остылой
Седую прядь волос нашли.

Штыками молча и согласно
Могилу выкопали мы.
Лежал храбрец с улыбкой ясной
Под пологом росистой тьмы.

И мы ушли. Светили ярко
Нам звезды. Спали петухи...
Там все мосты — с одной лишь аркой.
Как статуи там пастухи.

Унылы горы. Ночь морозна,
Томит жара в полдневный час.
Порой медведь, оскалась грозно,
В объятья принимает вас...

У горцев не в чести науки;
Там жгут и грабят с детских лет,
И виселиц прямые руки
На все дают простой ответ.

Там все — вояки, все — бандиты...
Покорен королю народ;
И этот бык, как мул прибитый,
За ним, понурившись, бредет.

Прорыло время там ложбины,
По ним стремятся ручейки.
Мы лезли вверх, и карабины
Мерцали, точно светляки.

Курки держали мы на взводе, —
Засаду каждый куст скрывал, —
А диск луны на небосводе
Нам путь к Памплоне озарял.

Мы шли дорогой нашей трудной,
И мнилось, что не диск луны,
А капитана знак нагрудный
Струил сиянье с вышины.

Гигантской колесницы
Тот век имеет вид;
Но лилипут-возница
Державный в ней сидит.

Влечет ее движенье
И ложной славы свет
Вниз, в головокруженье,
К водовороту бед.

Скаррон в ней стал грифоном,
Министром — Лувуа, —
С напевом похоронным
Пошлейшие слова.

Скользят ее колеса
Опасной крутизной;
То все — в грязи откоса,
А то — в крови людской.

И Смерть торопит сроки,
Запряжена в Позор.
С ней Лаврильер жестокий
И гнусный Рокелор.

Как сойка меж ветвями,
Король, гордясь, снует,
И сердце в нем — что камень,
Мясной мешок — живот.

Он высит, горд и пылок,
Багряный пухлый лик
И солнце на затылок
Напялил как парик.

Царит он, прозябая,
Давя других пятой,
Тень палача большая
Легла над всей страной.

И этот трон — могила;
Он клонится, скользя,
А след его постылый
Вовек отмыть нельзя.

ПОЛУДЕННЫЙ СОН ЛЬВА

Лев спит, полуденным могучим
Сраженный сном. Жарой томим,
Он спит один под солнцем жгучим,
Нависшим тягостно над ним.

Безмерные пустыни слышат:
Хозяин их домой пришел.
Колышутся они и дышат.
Лев страшен, шаг его тяжел.

Бока дыханье зыблет мерно,
Густым туманом взор повит.
Он, грозный, на земле пещерной
Величественно возлежит.

Все существо его почило.
Покой и мир — в его чертах,
В когтях — спокойствие и сила,
Раздумье мудрое — в бровях.

Полдневный зной, ручей ленивый.
Лев целиком во власти сна.
На лес его похожа грива.
Как погреб, пасть его темна.

Он видит диких скал вершины.
Ущелья Оссы, Пелион
Мерещатся ему сквозь львиный
Огромный, беспредельный сон.

Предгорье тишиной объято,
Где он в песках бродил с утра.
Он лапой шевельнул мохнатой,
И разлетелась мошкара.

«Уходи! — мне строго
Ветер приказал. —
Пел ты слишком много,
Мой черед настал!»

И «Quos ego!»¹ злому
В страхе покорясь,
Песнь моя из дома
Грустно поплелась.

Дождь. Повсюду лужи.
Кончена игра.
Нам бежать от стужи,
Ласточки, пора.

Град. Оцепенелый
Неподвижен дуб.
К серой туче белый
Дым ползет из труб.

Косогор желтеет
В бледном свете дня.
Из-под двери веет
Холод на меня.

¹ «Я вас!» (лат.).

ДРУГУ

Там, на скале отвесной,
Глядящей в бездну вод,
Где маленький чудесный
Зеленый луг цветет,

Где ветру дуть просторно,
Где весело волне, —
Свой дом над кручей горной,
Мой друг, ты отдал мне.

Прими привет мой! Хрупкий
Удел нам ныне дан.
Наш век плывет скорлупкой
В огромный океан.

То благостный, то жгучий
Кружится вихрь — и с ним,
Как листья или тучи,
В неизвестность мы летим.

Порыв людского шквала
То мчит по воле волн,
То грозно бьет о скалы
Надежды утлый челн.

Волна, что беспокойно
О наше время бьет,
Проклятий хор нестройный
Порой ко мне несет.

В них злобе нет предела;
Но реет мысль моя,
Как буревестник смелый
Средь стаи воронья.

Я чту твои заветы,
Возделываю сад;
Тем временем газеты
Мне сотни кар сулят.

Бранят ослом, пиратом —
И, право, я польщен!
Де Местр зовет Маратом,
Лагарп кричит: «Прадон!»

Ну что ж! Их разум беден.
Решит потомков суд,
Полезен я иль вреден
И нужен ли мой труд.

А я меж тем, веселый,
Не знающий тоски,
Смотрю, как клонят пчелы
Лаванды стебельки.

Я требник свой в полях читаю,
И мне суфлируют в тиши
То мошек пляшущие стаи,
То шепчущие камыши.

Поэту всех чудес дороже
Потоки, скалы, горный склон.
То, что течет, на сон похоже
И освежает, словно сон.

В любой ручей всегда глядится,
Весны приветствуя расцвет,
Малиновка, или синица,
Иль дрозд, иль призрак, иль поэт.

Поэт, среди цветов под ивой,
Вдыхая запах влажных трав,
Любуется рекой ленивой,
Чей труд незрим и величав.

Будь то Дюранса иль Арнетта,
Но если вдаль спешит она,
Подобна счастью для поэта
Ее прозрачная волна.

Блуждает, бьется о пороги,
Дань собирает по пути,
Как он, сбивается с дороги,
Чтоб к цели тем верней прийти.

Поэт на берег, в тень акаций,
Стремится, как в страну чудес...
Без Анио грустил Гораций,
Жорж Санд грустит без Гаржилес.

В ТОТ ДЕНЬ БЫЛ НАЙДЕН ХРАМ

Я храм нашел, большой, просторный.
В нем жить могли бы, средь колонн,
Вольтер — как воробей проворный,
Как тихий лебедь — Фенелон.

Шиповник в белом облаченье
Стоит у входа в этот храм,
Давая даром отпущенье
Грехов жукам и мотылькам.

Там нет надменных кипарисов,
Гранаты строем не стоят,
Не видно буксов, лавров, тисов,
Одетых в праздничный наряд,

Хранящих гордые замашки
И завитых под Буало...
Зато крестьяночки-ромашки
Там улыбаются светло!

Там не владеет скорбь сердцами,
Там ясны мысли и мечты;
Все истины в том дивном храме
Неотразимы, как цветы.

Апрель, победу торжествуя
Над папой — другом сатаны,
Поет, и словно «аллилуйя»
Звенит беспечный смех весны.

Храм вечной правды, возвышайся,
Сиянье солнца славословь!
Шепнула роза: «Догадайся!»
И я ответил ей: «Любовь!»

Однажды мы пришли — и что же?
В наш храм не допустили нас;
Он стал безмолвнее и строже;
Веселый блеск небес угас;

Исчезли птицы, пчелы, мошки;
Сучки взъерошенных кустов,
Размытые дождем дорожки,
Сухие листья, скользкий ров,

Как часовые, преградили
Дорогу в храм, чью благодать
Не мог бы не любить Вергилий,
Ваде не мог бы презирать.

В начале ноября то было.
Тонул в тумане горизонт.
Сова нам крикнула уныло:
«У нас закрыто на ремонт!»

КОММЕНТАРИИ

Сборник политической лирики «Возмездие» впервые был опубликован в Брюсселе. Он состоит из семи разделов, иронические заглавия которых должны были характеризовать «новый порядок», установившийся во Франции после декабрьского переворота. Вместе с тем заглавия эти пародируют официальные заверения Луи Бонапарта. Политические мотивы сборника «Возмездие» выражают непримиримо враждебное отношение поэта к личности президента-узурпатора. Но только этим не ограничивается политическое содержание бичующих сатир Виктора Гюго. Всем строем своих гневных стихов и поэтических образов Гюго обрушивается на злейших врагов демократической Франции. Он создал стихи огромной взрывной силы, пронизанные несокрушимой верой в конечное торжество народа.

Сборник «Возмездие» обязан своим происхождением бурной революционной поре 1848 года и последующим событиям, когда французский народ хотя и понес тяжелое поражение, но не смирился и сохранил всю свою ненависть к эксплуататорам. Выражением этой революционной энергии и непримиримой враждебности французского народа к господствовавшему буржуазному строю явились сатиры «Возмездия».

«Возмездие» открывается стихотворением «Nox», последняя строфа которого отчетливо выражает замысел поэта:

О муза Ненависть! Явись ко мне сейчас!
Встань над империей, которая, кичась,
Победу празднует! Явись! И я успею
Вбить ей позорный столб, слагая эпопею,

И действительно, сатира Гюго носит в «Возмездии» эпический характер, поскольку в сборнике раскрыты все образы великой исторической драмы: образ самого узурпатора народных прав, образы «людей режима», соучастников преступления, образ борцов — жертв узурпации, наконец собирательный образ народа Франции.

Безгранична ненависть поэта к Наполеону III. Однако портрет, который возникает на страницах «Возмездия», не вполне совпадает с тем, который очерчен в известном памфлете Гюго «Наполеон Малый», вызвавшем справедливую критику Маркса. Здесь, именно благодаря использованию специфического языка и поэтического стиля, характерного для сатиры, Наполеон III предстает в достаточной мере «малым» — ничтожеством и мелким хищником, вырядившимся в императорский пурпур. Таков он в стихотворении «Апофеоз», где прослеживается его бесславный путь от жалкой доли нищего представителя семьи Бонапартов через постыдные денежные махинации и авантюристические выступления к трем ступеням трона: клятвопреступлению, убийству, грабежу; таков он в коротеньком, но исполненном ярости и презрения стихотворении «Басня или быть?», где новоявленный цезарь представлен обезьяной в шкуре тигра. Характерная черта: подчеркивая несколько раз, что он против казни узурпатора, Гюго сам блистательно опровергает эти заявления, оправдывая будущего тираноубийцу в стихотворении «Берег моря», где аллегорические образы Родины, Свободы, Закона и т. п. побуждают Гармония (так, по имени убийцы афинских тиранов Гиппия и Гиппарха, назван предполагаемый убийца Наполеона III) совершить акт возмездия. И стихотворение заканчивается возгласом олицетворенной Совести: «Такого заколоть свободно можешь ты». Гюго создает вокруг образа Наполеона III атмосферу такой ненависти и презрения, что, можно сказать, революционная непримиримость одерживает здесь полную победу.

Нисколько не менее ничтожными и жалкими выглядят «люди режима» — все те, кто привел Луи-Наполеона к власти и кто затем использовал установленный им порядок для того, чтобы «нахапать» побольше денег, чинов и должностей. Эти люди полностью проявили себя уже в самые первые дни переворота.

Гюго заклеил всех деятелей режима, не пощадив ни продажных политиканов, ни клерикалов, ни судей, ни журналистов. Многие сатиры «Возмездия» свидетельствуют о том, что Гюго хорошо понял, какую поддержку гнусному режиму узурпатора оказала буржуазия в целом как реакционный класс, который, смертельно боясь революционных потрясений, боясь, что республика поднимет «красный флаг», подло предал ее.

В стихотворении «Веселая жизнь» резко противопоставлены судьбы тружеников и богачей. Нужда, голод, жизнь в сырых подвалах Лилля — вот участь пролетария. С другой стороны — паразитическая часть общества, пожирающая все то, что создано руками честных тружеников.

Разоблачительная линия в «Возмездии» сочетается с линией героико-патетической. И здесь прежде всего следует остановиться на ряде стихотворений и поэм, посвященных судьбе людей, осужденных за борьбу против узурпатора. В стихотворениях об осужденных борцах поэт старался прежде всего подчеркнуть их страдания и вызвать к ним жалость, и потому образы противников режима получились в основном жертвенными и пассивными. Однако в самых лучших и наиболее впечатляющих из этих стихотворений уважение и восхищение вызывают в читателе не столько торжественность поэтического стиля, сколько непреклонная стойкость и мужество героев. В замечательной поэме «Полина Ролан» Гюго прославляет несокрушимое мужество простой женщины, матери троих детей, которая, в ответ на предложение выбрать подчинение режиму или тюрьму, предпочла все муки и тяготы далекой африканской каторги. Когда ей было предложено испросить у президента помилование, чтобы увидеть своих детей, она ответила: «Я увижу их, когда умру». Полина Ролан — героический пример мужества и стойкости. «Надо, — говорит она, — чтобы среди подлости и рабства женщина приняла смерть за свободу и справедливость».

С темой защиты осужденных борцов тесно смыкается в «Возмездии» тема народа вообще. Конечно, надо заметить, что и здесь, верный своему гуманистическому принципу, Гюго уделяет очень много внимания страданиям угнетенных и голодающих масс. Таковы посвященные доле народной строфы стихотворения «Веселая жизнь». Но наряду с этим Гюго ставит в «Возмездии» и проблему народа-борца. Иногда он выражает негодование, вызванное пассивностью масс (стихотворение «Женщинам»), но тем не менее постоянно утверждает веру в народ, в его силу и героизм. В стихотворении «Убитым 4 декабря» (речь идет о событиях 4 декабря 1851 года, когда по приказу Луи-Наполеона была совершена жестокая расправа над героическими парижанами, оказавшими сопротивление военной диктатуре принца) поэт славит смелых сограждан.

Порою демократический пафос поэта возвышается до призыва начать революционное восстание. За народом поэт не только утверждает право на революционное ниспровержение гнусной тирании, но и призывает его к свершению этого в высшей степени справедливого акта. В стихотворении «Тем, кто спят» он с воодушевлением

говорит о революционном прошлом французского народа, об успешной борьбе с королевскими войсками, о победах над ними. Не мириться с реставрацией тирании — вот лейтмотив этого стихотворения.

В стихотворении «Народу» поэт с горькой печалью говорит о кровоточащем Париже, о задушенной свободе, о том, что и в других странах реакция готовит народам погребальное шествие. Вот почему нельзя безмолвствовать, нельзя ждать. Голос поэта оживляется, в его стихах исчезают скорбь и уныние, мажорно звучит обращение к угнетенному народу: «Поднимись!»

К стихотворению «Партия преступления» Гюго избрал в виде эпиграфа написанное им на острове Джерси 31 октября 1852 года обращение республиканцев, изгнанных из Франции после переворота. В этом обращении говорится, что правительство Наполеона утвердилось в стране преступным образом, путем жульнических махинаций на выборах. Оно должно быть свергнуто силой. В обращении говорится: «Гражданин, достойный этого имени, делает и должен делать одно: он заряжает ружье и ждет подходящей минуты».

В стихотворении «Партия преступления» от имени республиканских изгнанников Гюго провозглашает непреклонное решение — «начать в стране гражданскую войну», начать, по примеру «великих предков, священное восстание».

Непосредственным откликом на революцию 1848 года и на жестокую тиранию, установившуюся позже в ряде европейских стран, является стихотворение Гюго «Карта Европы». Оно замечательно в том отношении, что раскрывает одну из особенностей поэтического творчества и общественной деятельности Гюго, а именно его широкий интерес к международным революционным событиям. Гюго неоднократно заявлял о своей ненависти к тиранам любого государства, находил их повсюду, где бы они ни чинили свое гнусное дело.

В стихотворении «Карта Европы» прославляются имена Бодена, французского революционера, погибшего в бою на баррикаде в декабре 1851 года, борца против неаполитанских королей бесстрашного Баттиани, участника венгерской революции 1848—1849 годов крупнейшего национального поэта Венгрии Шандора Петефи. По мысли Гюго, выраженной в «Карте Европы», неизбежно должен наступить момент, когда «вырвется лава» и под победной поступью угнетенного народа рухнут троны и «исчезнут короли».

Особое место занимает в «Возмездии» поэма «Искушение». Здесь поэт-сатирик, едкий памфлетист, разоблачитель политических

преступлений поднимается до своеобразного историко-философского обобщения действительности. Сатира становится эпосом. Перед читателем возникают три грандиозные исторические картины. Первая — отступление «великой армии» Наполеона I из России. Конечно, здесь поэта интересовал не патриотический подвиг русского народа, а разгром наполеоновской армии, в котором он усматривает кару, постигающую завоевателя. Кару за что? Этот вопрос, заданный «богу армий» устами начинающего видеть свою гибель Наполеона, остается пока без ответа. Во второй части поэмы, посвященной битве при Ватерлоо, показан новый и уже окончательный разгром Империи. Вторично Наполеон задает карающему божеству вопрос — искуплена ли его вина этим поражением, и вторично слышит грозное: «Нет!» В третьей части поверженный завоеватель Европы умирает в английском плену. Он укрыт плащом, который был на нем в день победоносной битвы при Маренго, в предсмертном бреду вспоминает он свои победы и былую славу. Но в последнее мгновение он видит в дверях тюрьмы поджидающего его кончину стража, губернатора острова святой Елены Гудсона Лоу. И в третий раз в ответ на свой неизменный вопрос божеству — искуплена ли его вина, он слышит все то же неумолимое: «Еще нет!»

Подлинное искупление исторического преступления Наполеона наступает через много лет после смерти. Поэт заставляет императора, спящего вечным сном в своей парижской гробнице, увидеть позорную и гнусную карикатуру на свое царствование — пир мошенников, бандитов, грабителей, шутов, который именовался Второй империей; здесь имя Наполеона I служит одновременно и маской и вывеской для гнусных дел его племянника, окруженного приспешниками и сообщниками, открыто претендующими на родство с легендарным завоевателем. И здесь-то Наполеон I видит свою настоящую кару. Он спрашивает: за что все это? И слышит в ответ: «За Восемнадцатое Брюмера».

Совершенно ясно, что «Искупление» является разоблачением всякой узурпации прав народа, разоблачением не только Наполеона III, но бонапартизма вообще. Гюго преодолел здесь свое бывшее преклонение перед величием Бонапарта, он показал мрачное основание той славы, которую стяжал консул Наполеон Бонапарт и в дальнейшем император Наполеон I, он понял и прямо сказал, что видимый успех и видимое величие прикрывают преступную сущность — хищнический авантюризм, политическое разбойничество, он поставил по существу знак равенства между «деяниями» Наполеона I и «делишками» Наполеона III. Ибо все, что зиждется на

узурпации прав народа, на насильственном отчуждении этих прав, на ограблении, подлежит, как в этом убежден Гюго, историческому осуждению и в конечном счете должно потерпеть политический и моральный крах, обернуться стыдом и позором для узурпаторов и хищников. Жалкое состояние, в котором находится Франция под властью Наполеона Малого и его клики, — не что иное, как закономерный результат того «величия», которое создавал Наполеон I после того, как уничтожил республику 18 брюмера (9 ноября 1799 года).

Боевая демократическая сатира Гюго стала вызовом аполитичной, эстетской поэзии, расцветавшей пышным цветом как раз в эти годы. Вспомним, что в 1852 году появились «Эмали и камеи» Теофиля Готье, а в 1853 году — «Античные поэмы» Леконта де Лиля. Муза Гюго не смолкла, когда на улицах и площадях Парижа грохотали орудия. Она вдохновила поэта на многие из его лучших созданий. Своим творчеством он опровергал лицемерные рассуждения теоретиков и практиков «искусства для искусства».

«Возмездие» оказало исключительно благотворное влияние на развитие французской поэзии. Этот сборник во многом ограничил начавшееся во Франции увлечение антисоциальной поэзией. В одном из своих программных стихотворений — «Искусство и народ» Гюго защищает тезис о высоком назначении искусства в жизни и отводит исключительную роль поэту в обществе. По мысли Гюго, искусство возвеличивает народ, помогает его трудовой деятельности, пробуждает в нем героические чувства. Искусство — это могучая человеческая мысль, в своем вечном развитии подтачивающая цепи рабства. Кладбищенским мотивам, стихам, воспевающим скорбь и смерть, Гюго противопоставил жизнерадостную гражданскую поэзию, исполненную веры в светлое будущее народа. Не случайно «Возмездие» заканчивается стихотворением «Лух» («Свет»), в котором выражено заветное желание поэта увидеть свою страну свободной от гнета, Европу свободной от королей, Америку — от рабства:

Нет, нет! Грядущее принадлежит народу.
И мы увидим их — Мир, Славу, Честь, Свободу —
Средь праздничных знамен!
Злодейство царствует? Но это царство дыма.
Так я вам говорю, чей взор непоколебимо
В блеск неба устремлен.

Велико было значение книги сатир Гюго для передовых представителей французского общества; впоследствии она оказала влияние на поэтов и писателей Парижской Коммуны.

«Возмездие», — пишет Марсель Кашен, — будучи образцовым политическим памфлетом, остается одной из самых блестящих сатир, какие были созданы во все времена»¹.

Несмотря на попытки принизить поэтическое творчество Гюго, которые все время делались и делаются представителями буржуазной эстетской критики и реакционного литературоведения, оно оказывает большое влияние на современных передовых поэтов и писателей Франции, борющихся за национальную независимость своей страны. Творениями Гюго вдохновляются Луи Арагон, Жан Лаффит и многие другие писатели, поборники мира и демократии.

Сатирическая поэзия Гюго во многих отношениях была новаторской. И действительно, новыми и необычайными были в ней элементы реализма: нарочитая грубоватость поэтического словаря, которая вызывалась остротой и резкостью памфлетного стиля, прямоотой и беспощадностью формулировок.

Создавая свою книгу политической сатиры и лирики, Гюго стремился быть максимально понятным и доступным широким массам французских читателей. Более того, он хотел, чтобы его стихи распевались народом в знак решительного протеста против «деятелей» Второй империи. В письме к издателю Этцелю от 18 ноября 1852 года он сообщал, что сочиняемый им сборник будет называться «Песнями мщенья» («Les Vengeresses»). Но затем поэт изменил название.

В «Возмездии» особенно ясно ощутима творческая манера Гюго, соединявшего возвышенную поэтическую речь с формами обиходного языка.

Буржуазные критики были крайне возмущены тем арсеналом бранных слов и резких речений, которые Гюго широко вводил в свои стихи; но поэт, не желая стеснять своего вдохновения ложными эстетскими канонами, стремился свободно излить владевшее им чувство гражданского негодования. Это чувство было столь накалено, что самая позорная кличка, самое бранное слово, как казалось Гюго, не могли выразить в достаточной мере его гнева. Для того чтобы заклеймить Наполеона, Гюго называет его негодяем, разбойником, пиратом, бандитом, изменником, узурпатором, тираном.

Свойственная романтикам метафоричность стиля становится у Гюго на службу политической тенденции, и вот метафора стано-

¹ Marcel Cachin. Victor Hugo de 1848 à 1851 — «La Pensée», 1952, № 41, Mars — Avril, p. 26.

вится отличным средством для вытачивания особо метких, лапидарных и в то же время предельно нагруженных сатирическим смыслом формулировок.

Даже привычные поэтические приемы, например игра антитезами, в системе этого сатирического стиля оживают, становятся предельно убедительными: «куча навоза под парчовым балдахином», «тела львов, брошенные на съедение псам», Наполеон «с шаром державы в руке и ядром каторжника на ноге», «кони солнца, влачащие наемную карету», и т. д. и т. п.

В «Возмездии» Гюго часто обращается к жанру народной песни, заостряя свою политическую тенденцию в припеве. Таковы стихотворения «Черный стрелок», «Его величие блистало», «О чем он вспомнил, этот ссыльный?». В этом последнем стихотворении рефреном являются следующие строки:

Нельзя без хлеба жить, бесспорно,
Но и без родины не проживешь никак!

В песенном стиле поэт создает ряд лирико-патетических произведений («Песня плывущих за море»), сатирических песен с развернутым сюжетом.

Вместе с тем Гюго еще следует поэтической традиции «высокого стиля»: отсюда все обязательные у него исторические реминисценции, философские или научные термины, традиционные слова, заимствованные из античной поэзии (аквилон, вакханка, диадема, гекатомба, плебс, центурион и т. п. и т. п.). Таким образом, общий стилистический облик «Возмездия» — это сплав двух образных систем, строящихся на патетически-ораторской лексике и обыденно-разговорной. Но следует все же признать, что наиболее живой, впечатляющей и потому победоносной в поэзии Гюго остается реалистическая стихия.

Необходимо иметь в виду, что Гюго не преодолел идеалистических представлений о законах природы и общества. В художественную ткань сатирических инвектив «Возмездия» вторгаются элементы религиозной символики, характерные для романтической поэзии вообще. Веря в наличие сверхъестественной силы, управляющей судьбами людей, Гюго, однако, отвергает евангельского бога и все церковные ритуалы. Бог в представлении поэта — существо праведное, он на стороне всех угнетенных, он карает всех врагов человеческого счастья и прогресса.

Поэт-демократ, создатель революционной сатиры «Возмездие», преданный интересам освобождения трудящихся, пламенно ненави-

девший силы реакции и обличавший Вторую империю как режим непрерывного насилия и непрерывных войн, заслужил уважение современников и потомков.

ВОЗМЕЗДИЕ

Стр. 9. *Н о х.* Имеется в виду ночь на 2 декабря 1851 г., когда президент Французской республики Луи-Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот, разогнал Законодательное собрание и захватил власть в свои руки.

...Сейчас нарушится присяга, вор, твоя. — Избранный 10 декабря 1848 г. президентом Франции, Луи-Наполеон принес торжественную присягу строго соблюдать конституцию республики. Совершив государственный переворот, он вероломно нарушил эту присягу.

Стр. 12. *Я годовщины жду.* — Луи-Наполеон совершил государственный переворот в день 46-й годовщины победы Наполеона I при Аустерлице.

Стр. 19. *...Таким и будь вовек, год Девяносто Третий!* — Имеется в виду 1793 г., период наивысшего подъема французской буржуазной революции (якобинская диктатура), когда были проведены глубокие демократические преобразования, одержаны замечательные победы над интервентами и введен революционный террор. В январе 1793 г. был казнен король Людовик XVI.

Стр. 20. *...Разбитый в феврале сорок восьмого года...* — 24 февраля 1848 г. во Франции произошла революция, был свергнут король Луи-Филипп и провозглашена республика. 26 февраля была отменена смертная казнь за политические преступления.

Стр. 28. *Убитым 4 декабря.* 4 декабря 1851 г., по приказу Луи-Наполеона, на бульваре Монмартр в Париже была учинена зверская расправа с народом, протестовавшим против государственного переворота. В числе убитых оказалось много мирных граждан женщин и стариков.

Стр. 29. *Империя — покой.* — В октябре 1852 г. Луи-Наполеон заявил: «Некоторые лица, проникнутые духом недоверия, говорят: «Империя — это война». Я же говорю: «Империя — это мир (покой)». Как известно, в действительности в период Второй империи Франция вела частые войны, а внутри страны происходила острая политическая борьба.

Стр. 30. *Эта ночь. ...«Держи убийц!»* — шел крик с июльских баррикад... — Имеются в виду баррикады Июльской революции 1830 г.

Стр. 32. Те Деум 1 января 1852 года. Речь идет о торжественной мессе, которую отслужил в честь Луи-Наполеона в Соборе Парижской богородицы архиепископ Сибур после государственного переворота 2 декабря 1851 г.

Стр. 37. Мученику. Стр. 40. «*Ламма Савахфани!*» («Почему ты меня оставил?») — слова, с которыми, согласно евангельской легенде, обратился к богу Иисус Христос, умиравший на кресте.

Стр. 41. Искусство и народ. Стр. 42. *Пой Италию святую, Польшу, кровью залитую, полумертвый венгров край, пой Неаполь, слезы льющий...* — перечисление стран, в которых после подавления революции 1848—1849 гг. свирепствовал жестокий террор.

Стр. 52. Идиллия. Стр. 53. Брюссель, Лондон, остров Джерси — места убежища, а Бель-Иль — место ссылки противников государственного переворота 2 декабря 1851 г.

Стр. 63. Другой президент. Речь идет о президенте (председателе) Законодательного собрания в 1849—1851 гг. Дюпене (см. словарь).

Стр. 64. ...*встань на курульном кресле!* — Курульными назывались кресла, в которых восседали римские сановники.

...*пророк патмосского пожара...* — Имеется в виду «пророк» Иоанн (см. словарь).

...*мерзких масок бьют...* — В «Божественной комедии» Данте («Ад», песни 32—34) лицемеры и предатели («носящие маску») отнесены к числу величайших преступников.

Стр. 65. О пассивном повиновении. В ноябре 1851 г., когда Луи-Наполеон готовил государственный переворот, в Законодательное собрание был внесен законопроект о предоставлении председателю Собрания права прибегать к вооруженной силе для защиты конституции. Против этого законопроекта активно выступали сторонники Луи-Наполеона, рассуждавшие о «пассивном повиновении», то есть о том, что и без вооруженной силы весь народ и армия стоят на страже республики. Законопроект был отвергнут, а через две недели был совершен государственный переворот.

Бойцы Второго Года! — Речь идет о солдатах французской революционной армии, которые в 1793—1794 гг. (Второй год республики) вели справедливую революционную войну против интервентов, пытавшихся восстановить абсолютизм.

Стр. 72. ...*в Британию, вторгались нейстрийцы...* — В 1066 г. Бри-

тания была завоевана норманнами, прибывшими из Нормандии, которая ранее входила в состав провинции Нейстрии.

...готам сдан был древний Рим... — В 410 г. германское племя вестготов во главе с Аларихом захватило Рим.

...Махмуд взял Византию в узы... — В 1453 г. турецкий султан Мухаммед (Махмуд) II завоевал Константинополь, а затем и всю Византию.

...Сицилия сдалась трем рыцарям... — В 1036 г. греки призвали на помощь для борьбы с сарацинами трех рыцарей, сыновей норманского герцога Танкреда, которые помогли им отвоевать Сицилию.

Стр. 75. А п о ф е о з. *...Ведь Реставрация отобрала прибыли.* — В 1815 г., когда произошла реставрация Бурбонов, Бонапарты были изгнаны из Франции, а их имущество конфисковано.

...Начав с гроша, дойти до слитков — пустяки! — Речь идет о так называемой «лотерее золотых слитков» 1850 г., участникам которой были обещаны крупные выигрыши. Лотерея эта представляла собою мошенническую аферу, и весь доход пошел в карманы Луи-Наполеона и его приближенных.

«Указы» на Париж слетают друг за другом, как снег; на Сене — лед, как будто на Неве. — Гюго сравнивает Францию Наполеона III с царской Россией Николая I.

Стр. 76. *Украшен Декабрем и освящен Брюмером...* — Имеются в виду переворот 18 брюмера 1799 г., который совершил Наполеон I, и переворот 2 декабря 1851 г., который совершил Луи-Наполеон.

Стр. 79. И так, все худшее... *...В Браганский древний род войдет теперь по праву..* — Гюго хочет сказать, что Луи-Наполеон, став императором Франции, получил возможность породниться с любой европейской царствующей фамилией.

Стр. 80. *Голосовали мы. То был народа глас.* — В ноябре 1852 г. была проведена комедия плебисцита по поводу перехода к Империи, было объявлено, что народ высказался за Империю, и 2 декабря 1852 г. Луи-Наполеон был провозглашен императором под именем Наполеона III.

...В душе подобные панурговым баранам... — Панург — персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (кн. IV, гл. 6—8). Чтобы досадить скотопромышленнику Денденó, Панург бросил с корабля в море овцу из его стада. Тогда все остальные овцы и бараны, подчиняясь чувству стадности, тоже бросились в море и утонули.

Стр. 82. Ссоры в серале. Стихотворение написано по поводу последовавшей в январе 1852 г. отставки нескольких министров Луи-Наполеона, возражавших против декрета о конфискации имущества принцев Орлеанских. В числе ушедших в отставку был министр внутренних дел Морни. Тогда же Мопэ, не выступавший против декрета, был назначен министром полиции.

Примеры, прериали — месяцы революционного календаря, введенного во Франции в 1793 г.

Стр. 84. Восточное. ...*Зверь из берлоги Елисейской*... — Будучи президентом республики, Луи-Наполеон жил в Елисейском дворце. Став императором, он переехал во дворец Тюильри.

Стр. 86. Добрый буржуа у себя дома. ...*Как древле медный бык античного тирана*... — Тиран сицилийского города Агригента Фаларис (VI в. до н. э.) сжигал своих противников в металлическом быке.

Стр. 87. ...*Орлеанистов он до нитки обобрал*. — 22 января 1852 г. был издан декрет о конфискации имущества, принадлежавшего принцам Орлеанским, сыновьям свергнутого революцией 1848 г. короля Луи-Филиппа (на сумму 35 миллионов франков).

Стр. 88. Великолепие. Стр. 89. ...*Царить над Францией, вернее — над Гаити*. Гюго сравнивает Луи-Наполеона с императором острова Гаити Сулуком (см. словарь).

Стр. 90. *Для проституции «принцесса» — термин прочный*... — По-видимому, Гюго имеет в виду жену Луи-Наполеона Евгению Монтихо.

Стр. 91. ...*В календарях, где был святой Варфоломей, встал Бонапарт святой*... — Речь идет о зверствах Варфоломеевской ночи 24 августа 1572 г., которые превзошел Луи-Наполеон.

Стр. 101. Робер! Один совет... В. Гюго называет Луи-Наполеона Робером Макером (см. словарь).

...и я, твой крестный. — Гюго именует себя «крестным отцом» Наполеона III, так как именно он впервые прозвал его «Наполеоном Малым».

Стр. 104. По поводу закона Федера. Имеется в виду принятый в Бельгии закон, запрещающий публикацию произведений, в которых наносится оскорбление главам иностранных государств.

Стр. 112. Что говорил себе поэт в 1848 году. Речь идет об Июньском восстании парижских рабочих.

Стр. 113. Смешанные комиссии были созданы в 1852 г. во всех департаментах Франции для борьбы с противниками нового режима. Они состояли из префекта, командующего войсками и прокурора. Эти комиссии подвергли жестоким репрессиям много тысяч людей.

Стр. 114. Клерикальным журналистам. Стихотворение направлено в первую очередь против клерикального журнала «Юнивер» и его редактора Вейо (см. словарь).

Стр. 118. Некто. В стихотворении дана характеристика одного из ближайших сподвижников Луи-Наполеона, генерала Сент-Арно (см. словарь).

Стр. 120. Написано 17 июля 1851 года. В этот день Гюго выступил в Законодательном собрании с речью, направленной против попытки бонапартистов добиться пересмотра республиканской конституции.

Стр. 122. Еще один. Стихотворение содержит характеристику Вейо (см. словарь).

Стр. 124. Уже названный. В стихотворении говорится о Дюпене (см. стихотворение «Другой президент» и словарь).

Стр. 125. ...Доитель королей, «дунайский раб» придворный... — В одной из басен Лафонтена изображен «дунайский крестьянин», пришедший со своей далекой родины в Рим, чтобы бесстрашно сказать в лицо сенаторам всю правду. Гюго хочет здесь сказать, что былой «дунайский крестьянин» стал теперь алчным и угодливым холопом.

Стр. 129. Когда виконт Фуко овернским кулаком... Тут мрачною зарей блеснул Тридцатый год... — Имеется в виду революция 1830 г.

Стр. 130. Голландский корсиканец. — Бонапарты происходили с острова Корсика; отец Луи-Наполеона в 1806—1810 гг. был королем Голландии.

...Французский свой капкан и римский, столь же низкий... — Речь идет о государственном перевороте 2 декабря 1851 г. (француз-

ский капкан) и о римской экспедиции 1848—1849 гг., когда французские войска задушили Римскую республику и восстановили светскую власть ненавистного народу папы Пия IX (римский капкан).

Стр. 131. Ч е т ы р е м у з н и к а м. Стихотворение посвящено двум сыновьям Гюго, Шарлю и Франсуа-Виктору, и двум его друзьям, поэтам Вакери и Мерису, — осужденным в ноябре 1851 г. по обвинению в нарушении законов о печати.

Стр. 140. И м п е р а т о р с к а я м а н т и я. ...*Златые пчелы, дети света, той мантии покиньте ткань!* — Золотые пчелы были эмблемой Первой империи. В подражание Наполеону I Луи-Наполеон во время коронации тоже надел мантию, украшенную золотыми пчелами.

Стр. 153. Ж е л а ю щ е м у у с к о л ь з н у т ь. В стихотворении речь идет о Монталамбере (см. словарь), который в январе 1853 г. порвал с Наполеоном III.

Стр. 154. *Лишь Рим закованный воззвал к ней скорбным стоном, — надежде робкой вмиг сломал ты крылья!* — Речь идет о Римской республике, провозглашенной в 1849 г. и задушенной по приказу Луи-Наполеона, опиравшегося на французских клерикалов. Французские войска штурмом взяли Рим в июле 1849 г. и восстановили власть папы Пия IX.

Стр. 163. И с к у п л е н и е. Стр. 168. *Сын — в габсбургском плену, жена — в чужих объятьях!* — После ссылки Наполеона I его жена Мария-Луиза и малолетний сын уехали в Австрию, где Мария-Луиза вступила сначала в фактический, а затем (после смерти Наполеона I) в официальный брак с графом Нейпергом.

Стр. 169. *Вернули статую колонне сиротливой...* — В 1810 г. на Вандомской площади в Париже была воздвигнута мемориальная колонна в честь побед Наполеона I, увенчанная его статуей. В период Реставрации статуя была снята, а при Июльской монархии, в 1832 г., водворена на место.

Стр. 171. *Уже двенадцать лет спокойно дремлет он... под гордым куполом.* — Прах Наполеона I был перевезен с острова святой Елены в Париж, в Дом Инвалидов, в 1840 г.

Стр. 174. Н а п о л е о н I I I. *Так, значит, мой отец, отважный, полный веры, кровь для тебя струил в эпической войне!* — Отец Виктора Гюго, генерал Сижисбер Гюго, принимал активное участие в

войнах французской революции и наполеоновских войнах, в особенности в войне в Испании (1808—1814 гг.).

Стр. 181. Б л е с к. ...*И в подлости Дюпен изобличил Созе!* — Созе был председателем палаты депутатов в момент Февральской революции 1848 г. Когда толпа ворвалась в палату, он покинул председательское кресло, и Дюпен в резкой форме упрекал его за это.

Стр. 185. ...*Ты, с шеей лебедя, властительница Нила...* — Имеется в виду египетская царица Клеопатра (I в. до н. э.).

Стр. 186. «*Дюгеклен*» — понтон, на котором перевозили на ка-торгу и в ссылку противников государственного переворота 2 декабря 1851 г.

Стр. 195. М а к б е т а в е д ь м ы! В трагедии Шекспира «Макбет» выведены три ведьмы, предсказывающие Макбету его будущее.

Стр. 196. П а р т и я п р е с т у п л е н и я. Стр. 197. ...*Заставить пятиться Восемьдесят Девятый...* — Речь идет о 1789 г., когда началась буржуазная революция.

Стр. 220. Н а п о п ы т н ы й. Стихотворение направлено против вероломной внешней политики Наполеона III в период Крымской войны.

Стр. 245. К о г д а н а е в н у х а х б л и с т а л и б а г р я н и ц ы... *Гай* — римский император Калигула (I в. до н. э.), снискавший печальную известность своими сумасбродствами и жестокостью.

...*Идальго по жене, по матери моряк...* — Жена Луи-Наполеона, Евгения Монтихо, графиня де Теба, происходила из испанского дворянского рода (идальго — испанские дворяне). Относительно «моряка» см. в словаре — Верхюль.

Стр. 245. О х р а н и т е л ь о в о з м у т и т е л е. ...*член партии порядка...* — Так называлась в 1849—1851 гг. реакционная партия, объединявшая монархистов — депутатов Законодательного собрания.

Стр. 249. С и л а в е щ е й. Стр. 254. ...*В повозку тяжкую взамен коня грифон...* — Под грифоном Гюго подразумевает паровоз.

Стр. 272. К о н е ц. ...*Взвилась война...* — Имеется в виду русско-турецкая война, начавшаяся в октябре 1853 г.

Стр. 274. Перед возвращением во Францию. ...*Пока грозит нам тигр снаружи...* — Стихотворение написано в 1870 г., во время франко-прусской войны.

СОЗЕРЦАНИЯ

Вскоре после «Возмездия» вышел в свет сборник стихов «Созерцания» (1856).

Значительная часть стихотворений этого сборника была написана еще в конце 30-х и в начале 40-х годов. В «Созерцаниях» встречаются превосходные лирические стихи, одухотворенные гуманными идеями и проникнутые благородным чувством любви к близким, к людям вообще, к природе.

Нет ничего более чуждого демократическому гуманизму Гюго, чем представление о природе как о чем-то таком, куда можно убежать от людей, укрыться от дел и судеб человечества. В этом смысле можно сказать, что природа у него является истинным другом человека, помогающим ему, утешающим и вдохновляющим его.

Следует отметить, что, хотя вошедшие в «Созерцания» ранние, до этого не печатавшиеся, стихи 30-х годов в общем еще сохраняют налет идилличности, Гюго менее всего склонен предаваться здесь неопределенной «мировой скорби». Он очень хорошо видит, что неблагополучие это имеет весьма ясные «земные» причины. Неправедливость царит в общественной жизни людей. В страданиях, искажающих прекрасный лик земли, повинны условия человеческого существования. В лирической поэме «Меланхолия», написанной еще в 1838 году, поэт с гневом и горечью рисует картины человеческого страдания, лицемерия, продажности и жестокости. Перед читателем возникают образы капиталистической действительности: девушка, мужественно борющаяся с нищетой, пока безработица и голод не вынуждают ее продавать свое тело, «почтенный гражданин», разбогатевший на обвешивании покупателей и теперь, в качестве присяжного заседателя, приговаривающий к тюремному заключению бедняка, который украл каравай хлеба, чтобы накормить семью; дети, которых гонят на фабрику и изнурают непосильной работой, заставляя в течение долгих часов простаивать у машины.

В одной из наиболее значительных поэм сборника, «Писано в 1846 году», Гюго приходит к выводу, что взгляды его изменились, что он сознательно порвал со своим прошлым, со своими былыми иллюзиями. В этой поэме, отвечая на письмо некоего маркиза-леги-

тимиста, который знал поэта ребенком и считал себя вправе теперь обличать его в «рenegатстве». Гюго утверждает свое право на развитие, даже на то, чтобы стать «якобинцем», не изменяя вовсе основным своим принципам.

Стихи заключительной части «Созерцаний», относящиеся уже к 50-м годам, представляют собою как бы философско-поэтический итог всему, что Гюго пережил и испытал. В поэме «Слова, сказанные в полумраке» поэт приходит к оптимистическому утверждению жизни, к вере в человека, в прогрессивное развитие человечества.

В этих стихотворениях уже предчувствуется «Легенда веков». «Созерцания» — книга, в которой Гюго как лирик достиг совершенной зрелости. Все, что в ранних своих сборниках он как новатор поэтической формы находил, приобретал, здесь предстает как завоеванное, вкоренившееся. Все последующие поэтические книги его, в которых он выступает тоже как лирик по преимуществу («Песни улиц и лесов», «Все струны лиры»), продолжают линию «Созерцаний». Это, конечно, не значит, что в них мы находим просто перепевы; напротив, очень многие стихотворения этих поздних сборников ничуть не ниже лирики 40-х и 50-х годов. Но расширение поэтических возможностей Гюго происходит в дальнейшем уже в области политической поэзии и своеобразного философско-эпического творчества («Легенда веков»).

Еще в 1833 году эпигон классицизма, член Французской академии Дюваль выпустил памфлет «О романтической литературе», в котором, называя Гюго «Робеспьером от литературы», обвинил его в том, что он как глава школы «погубил французскую словесность». В поэме «Ответ на обвинение», включенной в сборник «Созерцания», Гюго самым решительным образом опроверг доводы Дюваля и смело защитил свои литературно-поэтические принципы.

Демократический пафос Гюго находил свое последовательное выражение не только в содержании его стихов, но и в ряде особенностей его поэтики.

Основоположник французского романтизма, Гюго ввел не только новую тематику, но и разработал основы новой поэтики, коренным образом отличавшейся от поэтики классицизма:

Зубами скрежетал бессильно Буало
«Молчи, аристократ!» — ему я крикнул зло.
(«Ответ на обвинение»)

Гюго использовал все образцы французской ритмики. Мы встречаем у него двухсложные строчки («Охота бургграфа»), трехслож-

ные («Турнир короля Иоанна»), шестисложные («Уходи!» — мне строго...»), семисложные («Голос флореаля») и т. д. В виртуозном стихотворении «Джинны» первая строфа двухсложна, затем к каждой последующей строфе прибавляется по слогу. После восьмой, десятисложной строфы начинается последовательное укорочение на один слог, и последняя строфа, так же как и первая, двухсложна. Все это — не ради эксперимента: многообразие и поиски новых возможностей стиха всегда связаны с темой стихотворения, эмоцией поэта, необходимостью создать определенное впечатление и настроение.

Необходимо отметить, что короткие строчки Гюго использовал главным образом в балладах, в книге «Восточные мотивы», в легких, жизнерадостных лирических стихотворениях, в песне-сатире, то есть целиком подчинил технику тематике.

Политические стихи Гюго в сборниках «Возмездие», «Грозный год» и др. написаны главным образом двенадцатисложным, так называемым александрийским стихом, с попарной рифмовкой, излюбленным размером поэтов-классицистов. Однако та реформа, которую в этой области произвел Гюго, относится еще к 30—40-м годам и к периоду, когда он выступал преимущественно как лирик, хотя уже тогда ряд лирических поэм давал возможность предугадать в нем блестящего политического поэта. Однообразная двенадцатисложная строка с обязательной цезурой после шестого слога, отмеченная не только ритмически, но и синтаксически, сменяется у Гюго широким разнообразием в ритмическом рисунке стиха. Хотя цезура ритмическая падает попрежнему на шестой слог, смысловая и синтаксическая паузы приходятся и на второй, и на четвертый, и на восьмой слоги, вследствие чего стих становится гибким и выразительным. Недаром в своем программном стихотворении «Ответ на обвинение» Гюго пишет, что его стих

Простился навсегда с цезурою-темницей
И к небесам взлетел освобожденной птицей

Кроме того, Гюго широко использует перенос синтаксического отрезка фразы из одной строки в другую, так называемый enjambement, прямо нарушая тем самым один из основных принципов поэтики Буало.

Мы разлучили муз с раздутой, глупой спесью.
Нет полустишиям возврата к равновесью! —

воскликает он в том же «Ответе на обвинение».

Здесь мы сталкиваемся с дальнейшим повышением выразительности стиха. На смену классической монотонности, создаваемой точ-

ным соответствием размера синтаксическому строению фразы, приходит интонационное разнообразие, позволяющее Гюго в рамках александрийского стиха добиться таких ораторских эффектов, такого подлинного политического пафоса, какие были бы недостижимы средствами поэтики Буало.

Введенная романтиками (Гюго в первую очередь) реформа стихосложения явилась для французской поэзии событием громадной важности, во много раз увеличившим ее выразительные средства. Поэты получили возможность широко пользоваться ритмом стиха не как застывшей канонической формой, а как средством воплощения смыслового и эмоционального содержания произведения.

Строфика Гюго не менее богата и разнообразна, чем его метрика. Он применяет сложные схемы рифмовки пяти-, шести- и даже семистрочных стрóf, объединяя в строфе строки разных размеров и создавая большое ритмическое разнообразие.

В области рифмы Гюго вел неустанную борьбу за своеобразное ее совершенство. Рифма его значительно точнее и богаче, чем у большинства его предшественников и современников. Во французском стихосложении считается достаточной рифмой совпадение опорной гласной и последующих согласных. Но Гюго в большом числе случаев добивается совпадения и опорной согласной. Он часто вводит в рифму собственные имена, не жертвуя при этом смыслом, и тем самым создает впечатление большой глубины и богатства в звучании стиха.

Особое внимание Гюго уделял словарному составу стихов. Взгляды по этому вопросу он с исчерпывающей полнотой изложил в своем «Ответе на обвинение».

Гюго здесь с достаточной ясностью указывает на то, что поэзия классицизма пользовалась в своей практике словарем придворного круга, изгоняя «низкие», «грубые» слова. Этот «очищенный» словарь, конечно, не мог удовлетворить потребностей новой поэзии. Революционная тематика стихов Гюго, широко применяемые им жанры политической сатиры и памфлета требовали обновления и расширения лексического фонда французского языка.

Гюго решительно порвал со словарными традициями классицизма. «Слова-плебеи» приобрели права гражданства в его стихах:

Ланите я сказал: «Послушай-ка, щека!»

Плоду златистому: «Будь грушей, но хорошей».

Борьба за демократизацию литературы, начатая Гюго в середине 20-х годов, в первую очередь обязывала руководителя романтического движения заняться вопросом расширения словарного состава французского языка, в котором господствовали поэтические

нормы классической поэзии XVII столетия и строгая регламентация речи, доходившая до вычурного изящества и чисто формальной риторики.

Смело проводя реформу литературного языка, Гюго обогатил его словарный фонд за счет слов, имевших широкое хождение среди трудовых слоев населения, среди обездоленного люда и деклассированных элементов.

Он развивал французский национальный язык, которым пользовались и в общественном быту и в народе в XVII и XVIII столетиях. Гюго явился законным наследником языка Рабле и Монтеня, Лафонтена и Мольера, Лесажа и Дидро, Руссо и Вольтера.

Будучи поэтом и активным участником общественной жизни, наблюдателем грозных событий, являвшихся показателями непримиримости классовых конфликтов между пролетариатом и буржуазией, Гюго постоянно вводил в свой литературный язык слова, отражавшие социальные процессы Франции XIX века.

Так входят уже в его лирику 40-х годов, а затем становятся основным лексическим элементом его политической поэзии («Возмездие», «Грозный год» и др.) слова, широко бытовавшие в тогдашней публицистике: «революция», «восстание», «прогресс», «цивилизация», «демократия», «баррикады», «пролетарий», «рабочий», «тирания» и еще многие другие. В этом отношении новаторскую работу Гюго можно сравнить с тем, что в русской поэзии сделали поэты — революционные демократы, в первую очередь Некрасов, хотя их новаторская деятельность была гораздо более глубокой и произвела более решающие сдвиги в поэтическом языке и поэтической технике вообще.

Необходимо добавить также, что уже в «Созерцаниях» (да, впрочем, и раньше) сказывается тенденция Гюго к щедрому оснащению поэтического языка словами и терминами из самых разнообразных областей науки и техники: в поэзию Гюго с самого начала входит широкий и богатый мир; Гюго как лирика волнует все, что касается человека, активно действующего в мире, ко всему обращающегося и все испытующего. Вот почему слова-термины у Гюго меньше всего производят впечатление педантизма или щеголяния ученостью, — они очень просто и непосредственно превращаются в слова-образы.

Поэт-гражданин отлично сознавал важность проводимой им реформы. В том же «Ответе на обвинение» с громадной силой и убежденностью он обосновал свой труд:

Мне было ведомо, что я, боец суровый,
Освобождаю мысль, освобождая слово.

Стр. 286. Ответ на обвинение написан как ответ всем нападавшим на языковую реформу Гюго и романтической школы. Многие видные лингвисты-академики обвиняли Гюго и других романтиков в том, что они уничтожили искусство, загубили театр, нарушили законы хорошего вкуса, приличия и морали, что их язык — не высокий поэтический язык, а простонародный жаргон, недопустимый в литературе.

Стр. 290. *В минувшие года двенадцать перьев стих носил на лбу всегда* — намек на двенадцать слогов в классическом александрийском стихе.

Стр. 296. По поводу Горация. *«Послание к Пизонам»* — то же, что «Наука поэзии», произведение Горация.

Стр. 298. *Как в Вейях высекли учителя когда-то...* — Тит Ливий рассказывает, что, когда римляне осаждали этрусский город Фалерис (а не Вейи, как пишет Гюго), какой-то учитель-изменник привел в римский лагерь своих учеников, дегей местных патрициев, и пригласил осаждающих, прикрываясь детьми, вступить в город. Однако римский командующий отказался воспользоваться услугами предателя и, снабдив детей розгами, велел им гнать своего учителя обратно в город и высечь изменника.

Стр. 310. Несколько слов другому. Стр. 312. *...И нами трех единств сожжен архипелаг...* — Речь идет о принципах классицизма — единстве места, единстве времени и единстве действия в драматических произведениях, против которых выступили романтики.

Стр. 385. Писано в 1846 году. Стр. 387. *...Как наступил июнь, день августа десятый, шестое октября...* — Имеются в виду важнейшие события буржуазной революции 1789—1794 гг.: 20 июня 1789 г. депутаты Национального собрания в зале для игры в мяч в Версале дали торжественную клятву не расходиться до выработки конституции; 5—6 октября 1789 г. народ сорвал контрреволюционные планы Людовика XVI и заставил королевскую семью переехать из Версаля в Париж; 10 августа 1792 г. в результате народного восстания была низложена монархия, и Людовик XVI был заключен в тюрьму.

Стр. 394. *...Но вы француз. Итак, вы кельтов ренегат...* — Древнее население современной Франции — галлы — принадлежало к племенному союзу кельтов.

В 1865 году Гюго опубликовал сборник стихотворений «Песни улиц и лесов». В поисках новых тем и образов он продолжил здесь ту поэтическую традицию песенной лирики, которая была представлена во французской поэзии народным поэтом Беранже.

«Песни улиц и лесов» разделены на две части: «Молодость», цикл стихотворений шутивого тона, и «Мудрость», где даны образцы гражданской и любовной лирики.

В предисловии к сборнику Гюго писал: «Поучительно сравнить начало пути с его концом, свежий гомон утра с мирной тишиной вечера, ранние иллюзии с поздним опытом жизни». И действительно, эта книга стихотворений одушевлена воспоминаниями былого счастья молодости, но в ней также с поразительной искренностью передано душевное состояние поэта, омраченное жизнью в изгнании.

«Песни улиц и лесов» отличаются безыскусственной простотой, они лишены атрибутов величия и усложненности образов. Изображения поэта проникнуты жизненной правдой и чувством искренней симпатии к тому миру простых, обыкновенных людей, где он обрел мотивы и образы своей поэзии.

Увлекаясь изображением реального мира, Гюго находит эстетическую ценность во всем, что считалось недостойным поэзии, «грубым и прозаическим».

Поэт с особенной теплотой и упоением описывает будничную обстановку деревни. Он создает колоритную фигуру старика сеятеля, смысл и величие жизни которого заключены в священном труде на пашне («Время сева. Вечер»).

В целом ряде стихотворений Гюго рисует картины деревенской жизни, оживляя их яркостью красок и многообразием мира природы. Тема природы, отношение человека к природе занимают в этом сборнике значительное место. Весьма существенно, что мир природы порою противопоставляется поэтом жизни города, как царство своеобразной гармонии и чистоты — скопищу пороков и нравственной развращенности:

Париж — он дышит смрадом,
Рычит он, дик и хмур,
И корчится под градом
Злодейств и авантюр.

(«Бегство в Солонь»)

Поэт видит в природе ту мощную силу, которая противостоит дурным влияниям городской цивилизации; она представляется ему тем убежищем, где можно обрести истинное вдохновение, почерпнуть сюжеты, дать простор полету фантазии и воображения.

Стоит отметить, что в «Песнях» наличествует некоторый налет идиличности, идущий от чисто литературных влияний, и в частности от идиллий Феокрита и лирических эклог Вергилия: отсюда обилие мифологических образов, условность некоторых поэтических картин с неизменным присутствием фавнов, нимф, фей, эльфов и т. п.

Лучшие образцы лирики, вошедшие в «Песни», тематически связаны с изображением всего того значительного, что было в истории французского народа, с утверждением демократических идей.

Большое стихотворение «Дуб из разоренного парка» одушевлено живой историей, крушением старого феодального мира, торжеством прогресса. Поэтическая метафора разъясняет здесь сущность видимого мира и событий, в нем происходящих:

В лучах полуденных расту я,
Откинув прежний страх,
И революция, ликуя,
Цветет в моих ветвях.

Или:

Под небом, дышащим отрадой,
Хочу, чтоб сгинул гнет,
Чтоб не стеснен был лес оградой
И королем — народ.

Этими же настроениями и мыслями, дорогими и близкими народу, проникнуты куплеты стихотворения «Празднование 14 июля в лесу», представляющие собой своеобразный поэтический гимн в честь великого национального праздника Франции.

В стихотворении «Шесть тысяч лет...» война рассматривается как заблуждение народов, обманутых теми, кому это выгодно, — господствующими классами. По своей идее это стихотворение связано с общественными выступлениями Гюго в защиту мира. Объективно оно перерастает пацифистскую установку автора, утверждая идею солидарности народов и их идеалы дружбы и мира.

Во многих стихах сборника Гюго со всей присущей ему страстностью осуждает своих политических и литературных противников.

Его не смущают суждения критиков-клеветников, так как он посвящает свое творчество не тем, кто преследует его, а тем, кому близки его благородные идеи, кто по достоинству оценит их:

Решит потомков суд,
Полезен я иль вреден
И нужен ли мой труд.

(«Другу»)

Хотя «Песни улиц и лесов» и неравноценны по своим идейно-художественным особенностям, все же зрелое мастерство поэта сказалось в них с огромной силой. Об этом говорят обилие в них народных мотивов и образов, чрезвычайная гибкость ритмов, легкость и напевность стиха.

Стр. 417 *Genio libri* Стр. 418. *Ворона, Ветошь, Хрюшка, Тряпка* — шуточные прозвища, которые Людовик XV дал своим дочерям.

Стр. 439. *Дуб из разоренного парка* Стр. 441. *..по-бывав женой калеки, супругой солнца стать* — Речь идет о маркизе Ментенон (см. словарь), которая сначала была женой парализованного поэта Скаррона, а после его смерти вышла замуж за Людовика XIV, которого называли «король-солнце».

Абд-эль-Кадер (1808—1883) — вождь алжирского народа в его национально-освободительной борьбе против французских захватчиков (1832—1847). Взятый французами в плен, с 1847 г. содержался в тюрьме, где в октябре 1852 г. его посетил Луи-Наполеон.

Абукир — населенный пункт в Египте (к северо-востоку от Александрии), где 25 июля 1799 г. французская армия под командованием Наполеона Бонапарта нанесла поражение туркам.

Авгий — легендарный царь Элиды (область в древней Греции). Его огромные конюшни, в которых содержалось 3000 быков, не очищались в течение 30 лет.

Август («священный») — титул, присвоенный первому римскому императору Октавиану в I в. до н. э. В дальнейшем слово «Август» входило в титулатуру всех римских императоров.

Аврелий, Марк — римский император в 161—180 гг.; философ-идеалист.

Агессо, Сегюр (1803—1889) — один из приближенных Луи-Наполеона.

Аграмант — персонаж поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», вождь сарацин, осаждавших Париж.

Агриппина — жена римского императора Клавдия, отравившая его, чтобы посадить на престол Нерона — своего сына от первого брака. Отличалась жестокостью, непомерным честолюбием и распутством. Была убита по приказу Нерона в 59 г. н. э.

Актеон (греко-римск. мифол.) — юный охотник, влюбившийся в Диану.

Али-паша (из Тепелени) (1741—1822) — правитель Албании, жестокий деспот.

Алкей — греческий лирический поэт (конец VII — начало VI вв. до н. э.).

Алкеста — героиня одноименной трагедии Эврипида, пожертвовавшая жизнью, чтобы спасти от смерти своего мужа Адмета.

Альбион — древнее название Англии.

Альцест — герой комедии Мольера «Мизантроп» — честный, откровенный и резкий человек.

Амадис Галльский — герой испанского рыцарского романа XV—XVI вв., странствующий рыцарь, совершивший множество подвигов в честь своей дамы сердца.

Ангела, д' — см. Буасси д'Англа

Анио — река в древней Италии, приток Тибра.

Анкона — город в Италии на Адриатическом побережье. После подавления революции 1848—1849 гг. там свирепствовал жестокий террор.

Антоний — отшельник, причисленный католической церковью к лику святых.

Апокалипсис — древнейший памятник раннехристианской литературы, повествующий о неизбежности «конца света» и «страшного суда». Приписывается апостолу Иоанну.

Арад — город и крепость в Трансильвании (ныне — Румыния), один из центров венгерской революции 1848—1849 гг., свирепо подавленной австрийскими и русскими войсками.

Арган — герой комедии Мольера «Мнимый больной», здоровый человек, который воображает себя больным и окружен невежественными врачами. Мольер писал «Мнимого больного», будучи тяжело больным. На одном из представлений этой пьесы Мольер, игравший роль Аргана, почувствовал себя плохо и вскоре умер.

Аргу, Антуан (1782—1858) — один из приближенных Луи-Наполеона, крупный финансист, сенатор.

Ардуэн, Луи-Эжен — председатель Верховного суда Франции; был обязан стоять на страже конституции, но не отважился выступить против государственного переворота 2 декабря 1851 г.

Аретин (Аретино), Пьетро (1492—1558) — итальянский публицист и сатирик, боровшийся против феодально-католической реакции. В своих сочинениях Аретино допускал излишнюю фривольность, за что Гюго его осуждал.

Ариосто (Ариост), Лодовико (1474—1533) — выдающийся итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Роланд» и ряда комедий.

Аристид (ок. 540—467 до н. э.) — видный афинский полководец и политический деятель, глава демократической партии, прозванный «справедливым». В 483—480 гг. находился в изгнании.

Аристотель (384—322 до н. э.) — крупнейший философ древней Греции. В средние века католическая церковь извратила учение Аристотеля, превратив его в оплот феодальной идеологии.

Арколе — населенный пункт в Северной Италии, где 15—17 ноября 1796 г. произошло сражение между войсками Наполеона Бонапарта и австрийцами. Бросившись на Аркольский мост через реку Альпону со знаменем в руках, Наполеон увлек за собой солдат и добился победы.

Армида — героиня поэмы Тассо (XVI в.) «Освобожденный Иерусалим», увлекшая нескольких рыцарей-крестоносцев, и в том числе Ринальдо, в свои волшебные сады.

Аррия — жена римского сенатора. Когда ее муж Пет был приговорен к смертной казни, она с возгласом: «Смотри, это не больно!» — вонзила себе в сердце кинжал и умерла на его глазах. Ее дочь Аррия, жена Тразея (см.), тоже приговоренного к казни, пыталась повторить подвиг своей матери, но муж помешал ей покончить самоубийством.

Атропос (греко-римск. мифол.) — одна из трех парок (богинь судьбы), занятая перерезанием нити, связывающей человека с жизнью. Изображалась в виде старухи.

Аттила — вождь гуннов (V в.), совершивший ряд опустошительных походов на территорию Римской империи.

Ахмет III — турецкий султан (1703—1730). жестокий деспот.

Бабетта — уменьшительное от имени Елизавета.

Бабеф, Гракх (Франсуа Ноэль) (1760—1797) — выдающийся революционер, представитель утопического коммунизма, погибший на гильотине.

Базилио (Базиль) — персонаж комедий Бомарше «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро», священник, хитрый проныра и клеветник.

Банкаль, дом — публичный дом в г. Родезе, где происходили чудовищные оргии и даже совершались убийства; стал именем нарицательным для обозначения грязного притона. Гюго называет домом Банкаль Елисейский дворец — резиденцию Луи-Наполеона.

Барош, Пьер-Жюль (1802—1870) — один из сподвижников Луи-Наполеона, крайний реакционер. При Второй империи — председатель Государственного совета, министр юстиции, сенатор.

Баттё, Шарль (1713—1780) — профессор риторики и литературы, аббат; автор сухих и педантичных правил стихосложения и работ по грамматике. Словарей Баттё не составлял.

Баттиани, Лайош (1809—1849) — активный участник венгерской революции 1848—1849 гг., одно время премьер-министр Венгрии. Был захвачен в плен и расстрелян.

Баярд, Пьер дю Террайль (1476—1524) — французский военачальник, одержавший ряд побед и проявивший выдающуюся храбрость.

Бегинки — члены женской католической конгрегации (полумонашеской общины), основанной в конце XII в.

Безу, Этьен (1730—1783) — известный математик, автор ряда работ по алгебре.

Береника — иудейская царица (I в. н. э.), славившаяся красотой. Сын римского императора Тит полюбил ее и увез в Рим, но, став императором, отказался от мысли о браке с ней и отослал ее обратно в Иудею, чтобы не оскорблять национальные предрассудки римлян. Судьба Береники послужила сюжетом трагедий Расина и Корнеля.

Берже, Жан-Жак (1790—1859) — один из сподвижников Луи-Наполеона, префект департамента Сены и сенатор.

Беркен, Арно (1747—1791) — автор слащавых и посредственных стихов.

Бертран, Александр (1811—1878) — приближенный и адъютант Луи-Наполеона, участник жестокой расправы с республиканцами в дни государственного переворота в декабре 1851 г.

Бийо, Огюст (1805—1863) — бонапартист, при Второй империи был председателем Законодательного корпуса и занимал ряд министерских постов.

Бион — греческий поэт (III в. до н. э.), автор идиллий и песен.

Бобеш — известный французский клоун, выступавший в начале XIX в. в ярмарочных балаганах.

Богарне — девичья фамилия матери Луи-Наполеона.

Боден, Виктор (1811—1851) — депутат Законодательного собрания в 1849—1851 гг., мелкобуржуазный демократ, убитый в декабре 1851 г. на баррикаде, где он сражался против солдат Луи-Наполеона. Впоследствии его останки были перенесены в Пантеон.

Бозе, Никола (1717—1789) — известный лингвист, автор «Словаря грамматики и литературы» и других работ.

«Бомба» — см. Фердинанд II.

Бон — город в Алжире, куда ссылали противников государственного переворота 1851 г.

Борджа, Александр VI — папа римский (1492—1503), известный своими гнусными преступлениями — политическими убийствами, коррупцией, чудовищным развратом.

Борджа, Лукреция (1480—1519) — дочь Александра VI, развратная и жестокая женщина.

Боско, Бартоломео (1793—1862) — известный в свое время фокусник.

Боссюэ, Жак-Бенинь (1627—1704) — епископ, богослов и историк, идеолог абсолютизма и католической реакции.

Бошар, Александр (1809—1887) — один из сподвижников Луи-Наполеона, сенатор.

Браганса — династия португальских королей (1640—1910) и императоров Бразилии (1822—1889).

Бребан — знаменитый парижский ресторан.

Бренн — легендарный вождь галлов, совершивший в 390 г. до н. э. победоносный поход на Рим.

Бриарей (греко-римск. мифол.) — сторукий и пятидесятиголовый великан, сын неба и земли.

Бридуазон — персонаж комедии Бомарше «Женитьба Фигаро», судья-формалист и глупец.

Брисс, Леон (1813—1876) — известный французский гастроном; в 1866 г. публиковал в газетах рекомендуемое им меню на данный день.

Броссет, Клод (1671—1746) — литератор, поклонник и исследователь творчества Буало.

Брут, Марк Юний (85—42 до н. э.) — римский республиканец, участник убийства Юлия Цезаря. Потеряв надежду на возможность сохранения республики, покончил самоубийством вместе со своей женой Порцией (см.).

Брюн, Гийом (1763—1815) — участник французской буржуазной революции конца XVIII в., затем маршал Наполеона I. В 1815 г., в период роялистского террора, был зверски убит в Авиньоне.

Брюскамбиль — прозвище известного французского комического актера XVII в. Дюлорье, исполнителя грубых, часто непристойных сатирических произведений. У Скаррона такого персонажа нет: у Гюго ошибка.

Буабертран — автор учебника алгебры, изданного в 1811 г.

Буало, Николя (1636—1711) — поэт и теоретик классицизма, сторонник абсолютизма; пренебрежительно относился к народной поэзии. В своей поэме «Поэтическое искусство» сформулировал ряд догм и законов поэзии, против которых решительно выступил Гюго.

Буасси д'Англа, Франсуа-Антуан (1756—1826) — один из организаторов контрреволюционного переворота 9 термидора. В период Директории был председателем Конвента.

Бугур, Доминик (1628—1702) — литературный критик и автор работ по грамматике, иезуит-клерикал.

Буоль-Шауэнштейн, Карл-Фердинанд (1797—1865) — австрийский реакционный политический деятель, в 50-х гг. XIX в. был премьер-министром и министром иностранных дел.

Бурбоны — королевская династия во Франции (1589—1792 и 1815—1830) и Испании (1700—1868 и 1874—1931). Бурбоны царствовали также в Неаполитанском королевстве и в Парме.

Бустрана — презрительная кличка Луи-Наполеона, образованная из первых слогов названий тех городов, в которых он пытался совершить государственный переворот (Булонь, Страсбург, Париж).

Буфлер, Станислав-Жак (1738—1815) — поэт-роялист, автор эпиграмм и четверостиший.

Бюффон, Жорж-Луи (1707—1788) — известный естествоиспытатель-материалист.

Ваграм — населенный пункт в Австрии, северо-восточнее Вены, где 5—6 июля 1809 г. Наполеон I нанес поражение австрийской армии.

Ваде, Жан-Жозеф (1719—1757) — автор народных шуточных песен, комедий и водевилей.

Валтасар — последний царь Вавилона (убит в 538 г. до н. э.). По библейской легенде, накануне своей гибели во время оргии во дворце увидел на стене надпись огненными буквами, предсказывающую его смерть и распад Вавилонского государства.

Ванвр — рабочий пригород Парижа.

Вандея — департамент на западе Франции, который в конце XVIII — начале XIX в. был центром контрреволюционного мятежа, возглавлявшегося роялистами и духовенством.

Варавва — персонаж евангельской легенды, разбойник и убийца; легенда гласит, что Варавва оказался в руках властей одновременно с Христом, но по случаю праздника один из них должен был быть освобожден. По настоянию первосвященников, Варавва был освобожден, а Христос казнен.

Варрон, Марк Теренций (116—27 до н. э.) — римский писатель, ученый и политический деятель.

Варфоломеевская ночь — ночь на 24 августа 1572 г., когда в Париже были предательски перебиты протестанты (гугеноты).

Вашингтон, Джордж (1732—1799) — главнокомандующий американскими войсками в войне против Англии и первый президент США (1789—1797).

Вегетий, Флавий Ренат — римский военный писатель, изложивший основы римского военного искусства (конец IV — начало V в.).

Вейо, Луи-Франсуа (1813—1883) — клерикальный публицист, бонапартист, крайний реакционер.

Веллингтон, Артур Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и реакционный политический деятель; командовал войсками союзников в битве при Ватерлоо (1815).

Верньо, Пьер (1753—1793) — вождь партии жирондистов, казненный во время якобинской диктатуры.

Верхюль, Карл-Генрих (1764—1845) — голландский адмирал и политический деятель; был любовником Гортензии Богарне, матери Луи-Наполеона. Гюго, как и многие другие, считал Верхюля истинным отцом Луи-Наполеона.

Ветилуя — город в Иудее; стремясь спасти этот город от врагов, Юдифь (см.) убила Олоферна.

Вильон, Франсуа — выдающийся французский поэт XV века.

Вирсавия — согласно библейскому рассказу, одна из жен царя Давида, мать царя Соломона.

Вителлий — римский император (I в. н. э.), кутила и чревоугодник.

Вожела, Клод (1585—1650) — французский языковед, автор ряда работ по грамматике и стилистике, презиравший народную речь.

Вольта, Алессандро (1745—1827) — итальянский физик, одним из первых исследовавший электрические явления.

Вотрен — персонаж нескольких повестей и романов Бальзака, беглый каторжник, добившийся поста начальника тайной полиции.

Вуазен, Катрин (ок. 1640—1680) — отравительница, гадалка и акушерка-детоубийца, уничтожавшая по просьбе распутных матерей их новорожденных детей. Была сожжена на костре.

Гайнау, Юлиус-Якоб (1786—1853) — австрийский фельдмаршал, кровавый палач, свирепо подавлявший итальянскую и венгерскую революции 1848—1849 гг.

Галилей, Галилео (1564—1642) — знаменитый итальянский ученый. Его открытия, противоречившие всем догмам церкви, и его приверженность учению Коперника о вращении земли вызвали жестокие преследования духовенства, которые довели его до слепоты.

Гаре, Мартен (1748—1830) — основатель и первый директор Французского банка.

Гаржилес — живописная местность в центральной Франции на реке Крез, воспетая Жорж Санд.

Гармодий — афинский юноша, совместно со своим другом Аристогитоном убивший в 514 г. до н. э. тирана Гиппарха; был зарублен телохранителями тирана.

Гарпагон — герой комедии Мольера «Скупой»; имя его стало нарицательным для обозначения чудовищной, безграничной скупости.

Гвиччардини, Франческо (1483—1540) — итальянский историк, противник папства.

Геба (греко-римск. мифол.) — богиня юности, разливавшая нектар во время пиров на Олимпе.

Геликон — гора в Греции, покрытая лесами. В греческой мифологии — обиталище муз.

Гемонии — лестница в Риме, с которой сбрасывали в Тибр тела казненных.

Генрих VIII — английский король (1509—1547), жестокий деспот, казнивший выдающегося гуманиста Томаса Мора.

Герострат — житель г. Эфеса в Греции; желая во что бы то ни стало прославиться, он поджег храм Артемиды.

Гесиод — греческий поэт конца VIII — начала VII в. до н. э., автор поэм «Труды и дни» и «Теогония».

Горица — город, принадлежавший во времена Гюго Австрии (ныне принадлежит Италии, у югославской границы). Здесь, в изгнании, умер и был похоронен в 1836 г. бывший король Франции Карл X.

Гортензия (1783—1837) — падчерица Наполеона I, жена его брата Луи Бонапарта, мать Луи-Наполеона.

Гофман, Эрнст-Амадей (1776—1822) — известный немецкий писатель.

Гофолия (Аталия) — нечестивая иудейская царица, упоминаемая в Библии; героиня одноименной трагедии Расина. «Сон Гофолии», сцена из этой трагедии, представляет собой яркий образец классицизма.

Гош, Лазар (1768—1797) — талантливый полководец, выходец из народа, активный участник французской буржуазной революции конца XVIII в. Подавил роялистский мятеж в Вандее и одержал ряд блестящих побед над интервентами.

Грангузье («большая глотка») — отец Гаргантюа в книге Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»; любитель выпить и хорошо поесть.

Грифон (греко-римск. мифол.) — животное с туловищем льва, птичьей или львиной головой и крыльями. Фигуры грифонов служат архитектурным украшением.

Груши, Эмануэль (1766—1847) — маршал Наполеона I. Во время битвы при Ватерлоо Наполеон I, увидев издалека приближение войск, решил, что это войска Груши, которых он ожидал. Ока-

залось, что подошли прусские войска Блюхера; это и решило исход сражения.

Гус, Ян (1369—1415) — чешский народный герой, непримиримый борец против феодализма, католицизма и немецких захватчиков, поборник чешской культуры. Отказался отречься от своих взглядов и был сожжен на костре.

Гуссе, Тома (1802—1866) — кардинал, сенатор Второй империи, ярый мракобес.

Гутенберг, Иоганн (1400—1468) — изобретатель книгопечатания в Европе.

Даки — племя, населявшее часть территории современной Румынии и долгое время успешно сопротивлявшееся римской колонизации.

Дамьетта — город в Египте; в средние века — важный торговый центр; был захвачен крестоносцами во главе с французским королем Людовиком IX в 1249 г.

Данжо, Луи (1643—1723), — аббат, автор ряда теологических произведений и работ по грамматике.

Данжо, Филипп (1638—1720) — ловкий придворный, любимец Людовика XIV и его фавориток, автор мемуаров о нравах двора.

Даниил — библейский «пророк». Легенда гласит, что он был брошен вавилонянами в пещеру со львами, но львы его не тронули.

Дантон, Жорж-Жак (1759—1794) — видный деятель французской буржуазной революции конца XVIII в., блестящий оратор. В первые годы революции активно боролся с ее врагами, а затем эволюционировал вправо и стал противником якобинской диктатуры, за что и был казнен.

Дарий — персидский царь (522—486 до н. э.); вел ряд войн (против Вавилона, скифов, Греции и др.), в большинстве своем неудачных.

Дезе, Луи-Шарль (1768—1800) — талантливый генерал, погибший в битве при Маренго.

Дейтц, Симон — авантюрист; сначала обещал свою поддержку претенденту на престол графу Шамбору (см.), а затем (в 1823 г.) за деньги выдал полиции его мать, герцогиню Беррийскую.

Делангель, Клод (1797—1868) — один из ближайших сподвижников Луи-Наполеона, активный участник государственного переворота 2 декабря 1851 г., затем министр внутренних дел и юстиции.

Делорм, Марьон (1611—1650) — известная куртизанка. Гюго изобразил ее в одноименной драме.

Демулен, Камилл (1760—1794) — активный участник французской буржуазной революции конца XVIII в., талантливый оратор и журналист. Примкнул к дантонистам, выступавшим против политики якобинской диктатуры, и был казнен.

Дендера — населенный пункт в Египте, близ Фив, где находился храм богини любви и плодородия Гатор.

Дерю, Антуан — убийца; был колесован в 1777 г.

Домбидо, Мари-Жан (1792—1861) — реакционный политический деятель, в годы Второй империи — сенатор.

Домье, Оноре (1808—1879) — талантливый художник-карикатурист, беспощадно высмеивавший деятелей Июльской монархии и Второй империи. Создал в графике и скульптуре обобщенный образ авантюриста-бонапартиста Ратапуаля.

Дракон (Драконт) — афинский законодатель; в 621 г. до н. э. издал первые писанные законы, отличавшиеся крайней суровостью.

Друэн де Люис, Эдуард (1805—1881) — активный бонапартист; будучи министром иностранных дел Второй империи, проводил авантюристическую агрессивную политику; предал участников польского восстания 1864—1865 гг., не оказав им обещанной поддержки.

Дьюлай, Франц (1798—1868) — австрийский генерал, свирепо подавлявший революцию 1848—1849 гг.

Дюко, Жан-Этьен (1801—1855) — один из приверженцев Луи-Наполеона, морской министр.

Дюлак — генерал-бонапартист. 4 декабря 1851 г. командовал бригадой, участвовавшей в расстреле мирного населения на бульваре Монмартр.

Дюмарсе, Сезар (1676—1756) — языковед, автор ряда работ по грамматике и стихосложению.

Дюпен, Андре-Мари (1783—1865) — беспринципный политический деятель; будучи председателем Законодательного собрания, не протестовал против разгона Собрания во время государственного переворота 2 декабря 1851 г. В дальнейшем служил Второй империи.

Дюранса — река в юго-восточной Франции, приток Роны.

Дюрок, Мишель (1772—1813) — маршал Наполеона I, убитый случайным ядром после битвы при Бауцене. (У Гюго ошибочно указано, что Дюрок убит в сражении при Рейхенбахе.)

Дюсис, Жан-Франсуа (1733—1816) — переводчик Шекспира на французский язык и автор самостоятельных трагедий.

Евхаристия — таинство причащения или вообще богослужение, на котором совершается причащение.

Жанна д'Арк (ок. 1412—1431) — народная героиня, девушка, возглавившая освободительную борьбу французского народа против английских захватчиков. Попала в плен к англичанам и была сожжена на костре.

Жокрисс — тип глупого слуги в старых французских фарсах.

Жубер, Бартелеми (1769—1799) — видный полководец эпохи Директории.

Звездная палата — верховное судилище, учрежденное в Англии в XV в. для разбора политических дел; применяла пытки и выносила жестокие приговоры.

Иезуиты — члены самой реакционной воинствующей организации католической церкви «Общество Иисуса», созданной в 1534 г. для борьбы с инакомыслящими и защиты папства. Применяли самые гнусные методы (провокации, клевету, обман, шпионаж, убийства и т. д.).

Изида — египетская богиня плодородия и материнства.

Иисус Навин — легендарный иудейский военачальник, подвиги которого описаны в библии.

Институт — общее название для пяти французских академий (Французская академия, Академия надписей и изящной словесности, Академия моральных и политических наук, Академия естественных наук, Академия изящных искусств).

Иоанн — один из мифических апостолов Христа. Ему приписывается авторство евангелия (от Иоанна) и апокалипсиса (см.), в котором он излагает «откровение» о судьбах человечества, пришествии Христа, «страшном суде», «конце света» и т. д., ниспосланное ему богом, когда он находился на пустынном острове Патмос.

Иов — мифический библейский «праведник»; терпеливо перенес все ниспосланные ему страдания и был за это вознагражден богом.

Иокаста — действующее лицо трагедии Софокла «Царь Эдип», а также ряда французских классицистических трагедий XVII—XVIII вв., мать Эдипа, ставшая затем его женой. Когда они узнали о своем родстве, Эдип ослепил себя, а Иокаста повесилась.

Ирида (греко-римск. мифол.) — посланница богов, олицетворение радуги.

Итурбид, Аугустин (1783—1824) — мексиканский реакционер; в 1822 г. провозгласил себя императором Мексики, но был свергнут и расстрелян республиканцами.

Кайафа — по библейской легенде, иудейский первосвященник, преследовавший Христа и его учеников.

Калибан — персонаж пьесы Шекспира «Буря», сын колдуньи и демона, отвратительный карлик.

Каллиопа — муза пения и эпической поэзии.

Калло, Жан (1592—1635) — гравер и художник, автор ряда гравюр на фантастические сюжеты и карикатур. Многие его эстампы посвящены персонажам итальянской комедии.

Кальвинисты — последователи Жана Кальвина (1509—1564), считавшего необходимым приспособить церковь к служению интересам буржуазии. Кальвинисты во всех странах подвергались гонениям со стороны католического духовенства и правительства.

Камачо — персонаж «Дон Кихота» Сервантеса, богатый крестьянин, роскошная свадьба которого описана в ч. II, гл. 20 романа. Выражение «свадьба Камачо» стало синонимом обжорства.

Кабасерес, Пьер-Юбер — сенатор и церемониймейстер двора Луи-Наполеона.

Камбиз — персидский царь (529—522 до н. э.) — жестокий завоеватель.

Камилл — см. Демулен.

Кампистрон, Жан-Жильбер (1696—1723) — посредственный драматург, подражавший Расину.

Канида — куртизанка и колдунья, которую часто упоминает Гораций.

Канробер, Франсуа-Сертен (1809—1895) — генерал-бонапартист, один из организаторов кровавой расправы с республиканцами в дни государственного переворота (декабрь 1851 г.).

Капет — представитель французской королевской династии Капетингов. Прямые потомки основателя этой династии Гуго Капета (987—996) правили Францией до 1328 г., затем престол перешел к боковым линиям этой же династии — сначала к Валуа (1328—1589), а затем к Бурбонам (до 1792 г. и снова с 1815 по 1830 г.). Когда Людовик XVI был отстранен от власти и предан суду, его стали называть по имени и фамилии — Луи Капет.

Карконта — персонаж романа А. Дюма-отца «Граф Монте-Кристо», злая и преступная женщина.

Карл IX — король Франции (1560—1574). В годы его царствования происходили религиозные войны между католиками и протестантами (гугенотами), и с его согласия была организована вероломная резня гугенотов (см. Варфоломеевская ночь).

Карл XII — король Швеции (1697—1718), считавшийся выдающимся полководцем; был разгромлен Петром I под Полтавой (1709).

Карлье, Пьер (1799—1858) — приближенный Луи-Наполеона, один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 г., крайний реакционер.

Каррара — город в северо-западной части Италии; в окрестностях его добывался великолепный белый мрамор.

Карреле, Жильбер-Александр (1789—1874) — генерал, командовавший войсками Парижского военного округа во время государственного переворота 2 декабря 1851 г., организатор зверской расправы с республиканцами.

Картуш, Луи-Доминик (1693—1721) — главарь бандитской шайки, терроризировавшей Париж. В конце концов был пойман и казнен.

Кастальский ключ — источник на горе Парнас, около Дельф; считалось, что омовение в водах этого ключа вызывает у поэтов вдохновение.

Кастень, Самюэль (1797—1823) — врач-убийца, отравивший поочередно двух своих друзей, братьев Балле, чтобы завладеть их состоянием. Был казнен.

Катон, Марк Порций, называемый Старшим (234—149 гг. до н. э.) — видный римский политический деятель и писатель. Стоял за активную захватническую политику. Стремясь не допустить ослабления могущества Рима, ввел суровые законы против роскоши, в защиту чистоты нравов. Обладал суровым характером.

Квинтилиан, Марк Фабий (ок. 35—95) — римский писатель и педагог, глубоко изучавший теорию и практику ораторского искусства.

Кёр, Жак (ок. 1395—1456) — богатый купец и ростовщик, ссужавший деньгами Карла VII и ставший вскоре королевским казначеем. Был несправедливо обвинен в государственной измене и изгнан, а имущество его конфисковано.

Кибела — фригийская богиня, олицетворявшая мать-природу.

Кизик — город в Малой Азии, осаждавшийся в 74 г. до н. э. войсками понтийского царя Митридата.

Киприда — прозвание Афродиты (которая, согласно мифу, родилась на о. Кипре).

Клавдий — римский император (41—54).

Кламар — старинное кладбище в Париже. После буржуазной революции XVIII в. на нем погребали казненных.

Клебер, Жан-Батист (1753—1800) — выдающийся полководец, подавлявший контрреволюционный вандейский мятеж.

Кобленц — город в западной Германии. В период французской буржуазной революции конца XVIII в. был центром феодально-мо-

нархической эмиграции, боровшейся против революционной Франции.

Коленкур, Габриэль (1777—1812) — наполеоновский генерал. Был убит в Бородинском сражении.

Колумб, Христофор (1451—1506) — знаменитый мореплаватель, открывший американский континент. Поскольку Колумб обязался приплыть западным путем в Индию, но этого обязательства не выполнил, он в 1500 г. был закован в цепи и отправлен в Испанию.

Конвент — Национальное собрание в период французской буржуазной революции конца XVIII в. В период якобинской диктатуры Конвент провел ряд революционных преобразований.

Конде, Луи де Бурбон, принц (1621—1686) — видный полководец, одержал ряд побед над испанскими, голландскими и немецкими войсками.

Кондотьеры — предводители наемных отрядов в Италии XIV—XV вв. Служили за плату любому хозяину, грабили и опустошали страну.

Консьержери — тюрьма в Париже, где во время революции конца XVIII в. содержались королева Мария-Антуанетта, жирондистские вожди, приверженцы Дантона и др.

Контрафатто — священник, развращавший малолетних. За насилие над пятилетней девочкой был приговорен к пожизненной каторге, но затем, по настоянию церковников, был помилован.

Корт (1788—1862) — генерал кирасиров, бонапартист, участник государственного переворота 2 декабря 1851 г.

Креси — город на северо-востоке Франции, близ которого в 1346 г., во время Столетней войны, английские войска нанесли тяжелое поражение французам.

Криспен (Криспин, Криспино) — персонаж итальянской и французской комедии; ловкий слуга, шутник, плут, подражающий своему хозяину и готовый в любой момент его обмануть.

Ксеркс — персидский царь (486—465 до н. э.). В 480 г., во время похода против Греции, буря снесла наведенные персами pontонные мосты через Геллеспонт (Дарданеллы). Тогда самодур Ксеркс приказал плетями высечь море.

Куртиль — парижский парк, излюбленное место отдыха и развлечений парижан.

Кутра — город в юго-западной Франции, близ которого в 1587 г., во время религиозных войн между гугенотами и католиками, Генрих Бурбон одержал победу над католической армией.

Кюизинье — участник выступления против бонапартистского переворота в районе Кламси, казненный в 1852 г. по обвинению в убийстве жандарма.

Кюшваль, Филипп (1821—1895) — реакционный журналист, близкий к Луи-Наполеону, директор официоза Второй империи — газеты «*Constitutionnel*».

Лаврильер, Луи (1672—1725) — министр Людовика XIV по делам протестантской церкви, жестоко преследовавший гугенотов.

Лагарп, Жан-Франсуа (1739—1803) — драматург и теоретик литературы, педант и догматик.

Лагир, Этьен (ок. 1390—1443) — полководец, одержавший во время Столетней войны ряд побед над англичанами.

Лаиса — имя многих греческих куртизанок.

Лалага — любовница Горация.

Ламбеск, Шарль (1751—1825) — генерал-роялист, подавлявший народные выступления в начале революции 1789—1794 гг.

Ласаль, Антуан-Юли (1775—1809) — наполеоновский генерал, проявивший в ряде сражений выдающуюся храбрость. Убит в битве при Ваграме.

Ласенер (Ласнер) — бандит и убийца, выдававший себя за писателя и поэта. Совершил ряд зверских преступлений и был казнен в 1836 г.

Латеранские соборы — съезды представителей католического духовенства, периодически созывавшиеся с IV по XVIII век в Латеранской церкви в Риме.

Лафайет, Мари-Жозеф (1757—1834) — французский генерал, участник войны североамериканских колоний Англии за независимость. В начале буржуазной революции XVIII в., испугавшись роста народного движения, перешел в лагерь контрреволюции и жестоко подавлял народные выступления.

Лафейяды — семья французских полководцев и дипломатов XVII—XVIII вв.

Лашез, Франсуа (1624—1709) — иезуит и мракобес, духовник Людовика XIV, один из инициаторов отмены Нантского эдикта и возобновления гонений на протестантов.

Лебеф, Эдмон (1809—1888) — маршал Второй империи, был военным министром и начальником французского генерального штаба. Во время франко-прусской войны сдался в плен.

Левиафан — в библейских легендах — огромное демоническое морское чудовище.

Легитимисты — сторонники восстановления на французском престоле старшей ветви династии Бурбонов. Наиболее реакционная партия, состоявшая из придворной аристократии и высшего католического духовенства.

Лейбниц, Готфрид-Вильгельм (1646—1716) — выдающийся немецкий ученый-математик, философ-идеалист.

Лейпциг — город в Германии, близ которого 16—19 октября 1813 г. войска антифранцузской коалиции нанесли поражение армии Наполеона I.

Ленотр, Андре (1613—1700) — известный архитектор, создатель многих французских парков, в том числе Версальского, приверженец строгой прямолинейной планировки.

Лига — объединение воинствующих католиков, основанное в 1576 г. во Франции для беспощадной борьбы с протестантами. Состояла из наиболее реакционных кругов феодальной аристократии и духовенства, во главе с герцогом Гизом.

Ликорида — римская куртизанка (I в. н. э.); бросила мужа ради поэта Корнелия Галла, а затем ушла от него с простым солдатом-легионером.

Лима — столица Перу; в XVI—XVII вв. там свирепствовала католическая инквизиция.

Литота — определение какого-либо понятия или предмета путем отрицания противоположного.

Лозен, Антонин (1633—1723) — маршал, приближенный Людовика XIV и поверенный в его многочисленных любовных интригах.

Лойола, Игнатий (1491—1556) — основатель и неограниченный властелин ордена иезуитов, изощренный преступник, лицемер и ханжа.

Ломон, Шарль-Франсуа (1727—1794) — аббат, автор работ по грамматике французского и латинского языков.

Лонгвуд — равнина в восточной части острова св. Елены, где был похоронен Наполеон I.

Лорике, Жан-Николя (1767—1845) — иезуит, крайний реакционер; в своих литературно-исторических работах грубо фальсифицировал историю в интересах иезуитов.

Лотрек, Оде (1496—1528) — маршал, участник походов в Италию. Будучи губернатором Милана, своей жестокостью вызвал восстание населения и был вынужден бежать.

Лувель, Луи-Пьер (1783—1820) — рабочий-кожевник, убивший в 1820 г. представителя ненавистной народу королевской династии Бурбонов — племянника Людовика XVIII, герцога Беррийского. Осуждая это убийство, Гюго без всякого основания приравнивает Лувеля к уголовному преступнику — убийце Ласенеру.

Лувуа, Франсуа-Мишель (1639—1691) — военный министр Людовика XIV, беззастенчиво грабивший территории, захваченные французскими войсками.

Лукреций Кар (ок. 99—55 гг. до н. э.) — выдающийся римский поэт и философ-материалист, автор замечательного философского трактата-поэмы «О природе вещей».

Людвик IX Святой — французский король (1226—1270). Возглавил два крестовых похода на Восток.

Людвик XI (Гюго дает ему прозвище «Стяжатель») — французский король (1461—1483), усиливший налоговой гнет.

Людвик XVII (ум. десяти лет, в 1795 г.) — сын Людовика XVI; во время французской революции был отдан на воспитание сапожнику. В 1793 г. роялисты провозгласили его королем, но он никогда не царствовал.

Люлли, Жан-Батист (1632—1687) — выдающийся композитор, создатель классической оперы. Писал музыку к произведениям Мольера, был придворным композитором Людовика XIV.

Лютеция — первоначальное (галльское) название Парижа.

Мабиль — увеселительное заведение в Париже в середине XIX в., основанное танцовщиком Мабилем. Там давались концерты с участием лучших балерин.

Макер, Робер — герой популярной мелодрамы «Гостиница Адре» (1823) трех малоизвестных авторов; тип ловкого, наглого и бесстыдного мошенника, не останавливающегося ни перед кражей, ни перед убийством. Гюго называет «Макерами» Луи-Наполеона и его приближенных.

Макиавелли, Никколо (1469—1527) — выдающийся итальянский буржуазный писатель и социолог. Утверждал, что государственный интерес оправдывает любые, даже самые преступные, средства. Этот циничный принцип лег в основу действий буржуазной дипломатии.

Мальзерб, Кретьен-Гильом (1721—1794) — министр Людовика XVI, сторонник умеренных реформ. Защищал короля на судебном процессе. Был казнен за участие в заговоре против республики.

Мамелюки — турецкая конница в Египте. Высшие офицеры мамелюков (беи-мамелюки) были неограниченными властителями Египта и отличались крайней жестокостью. В 1811 г. турецкие власти уничтожили корпус мамелюков.

Мандрен, Луи (1724—1755) — глава отряда, долгое время наводившего панический ужас на правительственных чиновников и богачей провинции Дофине. Защищал крестьян и бедных горожан от произвола властей, откупщиков и сборщиков налогов.

Манжо — главный духовник Наполеона III и императорского двора.

Мань, Пьер (1806—1879) — активный бонапартист.

Маньян, Бернар (1791—1865) — реакционный генерал. Подкупленный бонапартистами, перешел на их сторону и активно участвовал в государственном перевороте 2 декабря 1851 г. При Второй империи — маршал и сенатор.

Манюэль, Жак-Антуан (1775—1827) — буржуазный либерал, решительный противник Бурбонов. В 1823 г., будучи депутатом, резко выступил против французской интервенции в Испании, был за это исключен из палаты депутатов и силой удален с заседания.

Марат, Жан-Поль (1743—1793) — выдающийся революционер, журналист и ученый, защитник интересов народа, неустанно боровшийся за углубление революции. Ненавидимый реакционерами, Марат был убит подосланной ими террористкой Корде.

Марготон (или сокращенно Гатон) — уменьшительное от имени Маргарита или Марго. Во Франции стало именем нарицательным для обозначения женщины легкого поведения.

Маре, Наполеон-Жозеф — сенатор-бонапартист, обер-камергер двора Наполеона III.

Марон — римский поэт Вергилий Марон.

Марсо, Франсуа (1769—1796) — генерал, одержавший ряд побед над войсками контрреволюционной коалиции и особенно отличившийся в битве при Флёрюсе (Бельгия) в 1794 г.

Мастаи — см. Пий IX.

Махмуд II — турецкий султан (1808—1839). Проявил крайнюю жестокость при истреблении корпуса янычар.

Медици — банкирский дом, правивший в XV—XVIII вв. Флоренцией. Многие его представители, в особенности жена французского короля Франциска II Екатерина Медичи, отличались крайней жестокостью.

Медон — живописная местность на берегу Сены, близ Версаля; лес, дворец, старинная церковь.

Мёза (Маас) — река в Бельгии и Голландии. На ее берегах одерживали победы над интервентами французские революционные войска в 1792—1794 гг.

Менады — в древней Греции вакханки, предававшиеся во время празднеств в честь Вакха буйному веселью, доходившему до неистовства.

Менгра, Антуан (1794—1825) — аббат, изображавший себя блюстителем строгих нравов и оказавшийся на деле растлителем малолетних, насильником и убийцей. Церковь и власти спасли его от казни.

Ментенон, Франсуаза (1635—1719) — дочь маркиза д'Обинье, жена поэта Скаррона; после его смерти стала сначала воспитательницей детей Людовика XIV, затем любовницей короля и, наконец, тайно с ним обвенчалась. Находилась под влиянием воинствующих католиков и была одною из вдохновительниц отмены Нантского эдикта (см.), после чего возобновились преследования протестантов. Основала Сен-Сирский женский институт.

Мероп — героиня одноименной трагедии Вольтера, олицетворение материнской любви. Трагедия эта написана в стиле классицизма, хотя и реформированного Вольтером.

Мессалина (15—48) — жена римского императора Клавдия, чудовищно развратная женщина. Была убита по приказанию Клавдия.

Местр, Жозеф (1754—1821) — сардинский иезуит, абсолютист, крайний реакционер.

Метемпсихоз — учение о переселении душ.

Меценат (ок. 67—8 г. до н. э.) — богатый римлянин, приближенный императора Октавиана (Августа), покровительствовал художникам и писателям.

Мильтон, Джон (1608—1674) — знаменитый английский поэт, сторонник буржуазной революции. Его преследовали несчастья, завершившиеся полной потерей зрения. Будучи уже слепым, написал свою знаменитую поэму «Потерянный рай».

Минос (греко-римск. мифол.) — легендарный царь Крита, мудрый законодатель. После своей смерти вместе с Эаком и Радамантом стал судьей в подземном царстве.

Мирабо, Габриэль-Оноре (1749—1791) — видный оратор Генеральных Штатов и Учредительного собрания. Состоял в тайной связи с королевским двором, пытался спасти монархию. В детстве перенес оспу, изуродовавшую его лицо.

Митридат — царь Понтийский (123—63 до н. э.).

Моккар, Жан-Франсуа (1791—1864) — друг и личный секретарь Луи-Наполеона, один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 г., затем начальник кабинета императора.

Моле, Матьё (1584—1656) — известный юрист, председатель парижского парламента, снискавший себе славу человека принципиального и бесстрашного.

Мольер, Жан-Батист (настоящая фамилия — Поклен; Мольер — псевдоним) (1622—1673) — великий писатель-комедиограф. Умер сразу после спектакля, в котором играл роль «мнимого больного» Аргана. Католическая церковь запретила его публичные похороны, и погребальная колесница была отправлена на кладбище ночью, в сопровождении двух священников.

Монжи — адвокат, приспешник Луи-Наполеона.

Монк, Джордж (1608—1670) — английский генерал, участник буржуазной революции. После смерти Кромвеля содействовал занятию престола Карлом II Стюартом.

Монлавиль-Шапюи, Бенуа (1800—1868) — префект департамента Верхней Гаронны, бонапартист. После государственного переворота 1851 г. предложил высечь на мраморных скрижалях пожелание об установлении империи.

Монмартр (в переводе — Гора мучеников) — холм в Париже, на котором, по преданию, были подвергнуты истязаниям трое католических «святых». На бульваре Монмартр 4 декабря 1851 г. была учинена зверская расправа с незащищенным гражданским населением.

Монморанси, Матьё (1767—1826) — монархист, в 1792—1795 гг. — эмигрант, в период Реставрации одно время был министром иностранных дел.

Монруж — пригород Парижа, где в 1814—1830 гг. находилась иезуитская школа, восстановленная в годы Второй империи.

Монталамбер, Шарль (1810—1870) — клерикал, лидер реакционной «партии порядка» в Законодательном собрании 1849—1851 гг. Гюго сравнивает его с Тартюфом.

Монтес, Лола (1820—1861) — испанская танцовщица. В 1846—1848 гг., будучи любовницей баварского короля Людвига I, вмешивалась в государственные дела, назначала и смещала министров, изгнала из Баварии иезуитов. Сама была изгнана во время революции 1848 г.

Монфокон — место на окраине Парижа, где с XIII по XVIII век производились публичные казни.

Мона, Шарлемань-Эмиль (1818—1888) — приближенный Луи-Наполеона. Будучи префектом парижской полиции, участвовал в организации государственного переворота 2 декабря 1851 г. и жестоко подавлял сопротивление республиканцев.

Мор, Томас (1478—1535) — один из родоначальников утопического социализма, ученый-гуманист, был лорд-канцлером Англии, но вступил в конфликт с королем Генрихом VIII и был казнен.

Мори, Жан (1746—1817) — кардинал, архиепископ Парижский при Наполеоне I.

Морни, Шарль-Огюст (1811—1865) — сводный брат Луи-Наполеона, один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 г. Был министром внутренних дел, затем послом в России.

Моро (от департамента Сены) и *Моро* (от департамента Мерты) — члены Верховного суда Франции, не осмелившиеся под-

нять свои голоса против бонапартистского переворота 2 декабря 1851 г.

Мосх — греческий поэт (II в до н э); жил в Сиракузах.

Муфтий — у мусульман богослов-юрист, толкователь законов по спорным богословско-юридическим вопросам. Муфтии избирали великого муфтия (улема), который пользовался почти неограниченной властью.

Мюрат, Иоахим (1767—1815) — маршал Наполеона, в 1808—1815 гг. — неаполитанский король. Участвовал в русском походе.

Мюрат, Люсьен (1803—1878) — сын Иоахима Мюрата, бонапартист, при Второй империи — сенатор.

Нантский эдикт 1598 г. — акт, положивший конец религиозным войнам католиков и гугенотов. Предоставлял протестантам свободу вероисповедания и богослужения. В 1685 г. Людовик XIV, по настоянию воинствующих католиков, отменил Нантский эдикт, что вызвало массовую эмиграцию гугенотов и антиправительственные восстания.

Нарцисс (греко-римск. мифол.) — юноша, влюбившийся в свое отражение в воде ручья. Не мог отойти от ручья и умер, превратившись в цветок нарцисс.

Ней, Мишель (1769—1815) — маршал Наполеона I. Во время отступления из России командовал арьергардом.

Нерон — римский император (54—68), отличавшийся крайней жестокостью, приказал умертвить свою мать. Проводил время в бесконечных оргиях. Ему приписывали поджог Рима в 64 г.

Низар, Дезире (1806—1888) — профессор-литературовед, бонапартист.

Нимрод (Немврод) — легендарный основатель Вавилонского царства. Легенда гласит, что он поднялся на небо, чтобы бороться против бога.

Нойаль, Луи-Мари (1756—1804) — депутат Генеральных штатов 1789 г., аристократ, перешедший на сторону крупной буржуазии.

Нонотт, Клод-Франсуа (1711—1793) — иезуит, литератор, противник Вольтера, остроумно высмеянный им.

Нумиды (нумидийцы) — жители Нумидии (Северная Африка), превосходные наездники, которых римляне охотно брали в свою армию.

Обинье, Констан д' (1584—1645) — отец г-жи Ментенон (см.).

Опуль, Анри — генерал, бонапартист, участник государственного переворота 2 декабря 1851 г., затем сенатор.

Оргон — персонаж «Тартюфа» Мольера, глупый и доверчивый человек, ставший легкой добычей лицемера Тартюфа.

Орест (греко-римск. мифол.) — сын Агамемнона и Клитемнестры; убил свою мать, мстя за убийство ею Агамемнона, и был оправдан верховным судилищем. История Ореста изображена в трагедиях Эсхила, Софокла, Эврипида, Вольтера и др.

Осса — гора в Греции, близ Олимпа.

Палермо — город в Сицилии, где в январе 1848 г. вспыхнуло восстание, послужившее сигналом к революции во всей Италии. В 1849 г. Палермо был захвачен войсками неаполитанского короля Фердинанда II (см.), учинившими зверскую расправу над населением.

Памела — имя красавицы-аристократки Фитц-Джеролд, известной своими любовными похождениями (ум. в 1831 г.).

Памплона (Пампелуна) — город на севере Испании, прославившийся своей героической обороной против французских интервентов в 1823 г.

Партарье-Лафосс — председатель суда, осудившего сына Гюго Шарля за статью, направленную против смертной казни.

Парьё, Мари-Луи (1815—1893) — бонапартист, один из авторов клерикального закона о народном образовании, при Второй империи — министр.

Паскаль, Блез (1623—1662) — видный ученый и философ; резко выступал против иезуитов.

Пасквино — народное прозвище древней статуи в Риме, на цоколе которой с конца XV в. вошло в обычай писать едкие эпиграммы на злободневные темы (отсюда произошло слово «пасквиль»).

Патмос — остров у турецкого побережья, куда был сослан, по Сиблейской легенде, апостол Иоанн; там он написал свое евангелие и апокалипсис.

Патуйе, Луи (1699—1779) — иезуит-памфлетист, ненавидевший просветителей и едко осмеянный Вольтером.

Пелиад — то же, что Ахилл (сын Пелея).

Пентезилея (греко-римск. мифол.) — царица амазонок, ставшая женою царя Фесея (Тезея).

Пентелика — гора в Греции, славившаяся своим белым мрамором.

Пермес — водопад в Греции. Считалось, что его воды вдохновляют поэтов.

Персиль, Жан-Шарль (1785—1870) — бонапартист, сенатор.

Петефи, Шандор (1823—1849) — выдающийся венгерский поэт, революционный демократ, активный участник революции 1848—1849 гг.; погиб в сражении против интервентов.

Пибрак, Ги (1529—1584) — юрист, дипломат и поэт, автор сборника моралистических четверостиший.

Пиго-Лебрен, Шарль (1753—1835) — писатель, автор пьес и приключенческих романов, легких и фривольных.

Пий IX (Джованни Мاستаи) — папа римский (1846—1878), крайний реакционер. Был изгнан из Рима народным восстанием 1848 г., вернулся в обозе французских войск, задушивших Римскую республику. Солдаты Наполеона III оккупировали Рим до падения Второй империи.

Пиндар (V в. до н. э.) — греческий лирический поэт, автор знаменитых од, борец за независимость Греции от персов.

Пирон, Алексис (1689—1773) — поэт, писавший стихи религиозного содержания и скабрёзные эпиграммы.

Плавт, Тит Макций (ок. 254—184 до н. э.) — выдающийся римский писатель, автор многочисленных комедий, написанных сочным, живым народным языком.

Платон (ок. 428 — ок. 348 до н. э.) — крупнейший греческий философ-идеалист.

Помпей (106—48 до н. э.) — римский политический деятель и полководец, сначала друг, а затем непримиримый противник Юлия Цезаря. В борьбе с ним потерпел поражение и бежал к царю Египта, но тот велел его убить и голову его отослал Юлию Цезарю.

Порция — жена Брута. После поражения сторонников республики Порция покончила самоубийством, набрав полный рот раскалённых углей (42 до н. э.).

Поэрио, Карло (1803—1867) — итальянский буржуазный революционер; в 1849 г. был арестован и пробыл много лет на каторге.

Прадон, Николя (1632—1698) — второстепенный поэт и драматург, подражавший Расину.

Прозерпина (греко-римск. мифол.) — дочь богини земледелия Деметры, похищенная повелителем подземного царства Плутоном и против своей воли ставшая его женой.

Проперций, Секст Аврелий (ок. 47—15 до н. э.) — римский поэт.

Просодия — учение о правилах стихосложения.

Психея (греко-римск. мифол.) — дочь царя, красавица, ставшая возлюбленной бога любви Амура.

Пульман — бандит и убийца, беглый каторжник.

Пурсоньяк — герой одноименной комедии-балета Мольера, про-

стодушный и глупый провинциал, приехавший в Париж, чтобы жениться, и ставший жертвой ловкой мистификации. В комедии есть сцена преследования Пурсоньяка врачами, которые хотят поставить ему клистир.

Пьетри, Пьер (1809—1864) — бонапартист, префект парижской полиции.

Рабле, Франсуа (1494—1553) — великий писатель-гуманист, борец против феодализма и католической церкви; писал сочным народным языком.

Равальяк, Франсуа (1578—1610) — католический монах-фанатик, убивший короля Генриха IV; был за это казнен.

Равенна — город на северо-востоке Италии, близ которого 11 апреля 1512 г. французы одержали победу над соединенными силами испанцев и папы римского Юлия II.

Равиньян, Ксавье (1795—1858) — иезуит, проповедник Собора богородицы (Нотр-Дам) в Париже; его проповеди отличались монотонностью и сухостью.

Радецкий, Иозеф (1766—1858) — австрийский генерал, свирепо подавлявший революцию 1848—1849 гг. в Италии.

Ракан, Оноре (1589—1670) — поэт, автор пасторальных стихов и элегий.

Расин, Жан (1639—1699) — выдающийся поэт и драматург, один из виднейших представителей классицизма.

Реаль, Пьер-Франсуа (1757—1834) — во время якобинской диктатуры прокурор революционного трибунала, дантонист (Гюго ошибочно обвиняет его в том, что он предатель Дантона). Во время Ста дней был префектом полиции.

Рейбель — генерал, участник государственного переворота 2 декабря 1851 г., подавлявший сопротивление республиканцев.

Рейхенбах — город в Силезии, где в июне 1813 г. был подписан договор о военном союзе против Наполеона I между Пруссией и Россией. Гюго ошибочно называет Рейхенбах местом сражения.

Рем — см. Ромул.

Рене, отец (Рапен) (1621—1687) — иезуит, автор богословских и литературно-критических сочинений.

Рео, де — см. Таллеман де Рео.

Ресто, Пьер (1696—1764) — грамматик.

Руансе (Руансей), Анри-Леон (1816—1870) — реакционный журналист-клерикал, пользовавшийся покровительством папы римского.

Рибейроль — автор книги «Остроги Африки», изданной в Лон-

доне в 1853 г., где описываются ужасные условия жизни сосланных в Африку противников Луи-Наполеона.

Риволи — город в северной Италии, близ которого 14 января 1797 г. Наполеон Бонапарт одержал победу над австрийцами.

Ричард III — английский король (1483—1485), жестокий честолюбец, достигший престола с помощью убийств и предательств. Изображен в одноименной трагедии Шекспира.

Ришле, Сезар-Пьер (1631—1698) — французский лексикограф и грамматик, автор «Французского словаря».

Робеспьер, Максимилиан (1758—1794) — выдающийся руководитель французской буржуазной революции XVIII в.

Ройе, Поль-Анри (1808—1877) — активный бонапартист, в годы Второй империи — генеральный прокурор кассационного суда, затем министр юстиции и сенатор.

Рокелор, Антуан-Гастон (1656—1738) — маршал, с чудовищной жестокостью подавивший восстание камизаров в Лангедоке; заслужил милости Людовика XIV своим шутовским поведением и тем, что его жена была одно время любовницей короля.

Ролан, Полина (1803—1852) — журналистка, сторонница утопического социализма; после государственного переворота 1851 г. была арестована и сослана в Алжир, где подвергалась издевательствам, но отказалась отречься от своих взглядов. Ссылка подорвала ее здоровье, и она вскоре умерла.

Ромул — старший брат Рема, легендарный основатель Рима; оба брата были будто бы вскормлены волчицей. Легенда гласит, что Ромул, повздорив с Ремом, убил его и стал первым царем Рима.

Ромье, Огюст (1800—1855) — бонапартист, один из активных участников подготовки государственного переворота 2 декабря 1851 г., автор брошюры «Красный призрак 1851 г.», в которой он утверждал, что только контрреволюционный переворот может спасти Францию от анархии и «жакерии».

Роотаан, Жан-Филипп (1785—1853) — с 1829 г. генерал ордена иезуитов.

Росас, Хуан (1793—1877) — кровавый диктатор Аргентины; изгнанный из своей страны, он приехал в 1852 г. в Париж и был любезно принят Луи-Наполеоном, что вызвало возмущение французской общественности.

Ростопчин, Федор Васильевич (1763—1826) — военный губернатор Москвы во время Отечественной войны 1812 г.; активно боролся против Наполеона. Французские буржуазные историки, вопреки исторической правде, называют его организатором пожара Москвы в 1812 г.

Ротру, Жан (1609—1650) — драматург, которого высоко ценил Вольтер.

Руссо, Жан-Жак (1712—1778), — выдающийся французский писатель и социолог, идеолог мелкой буржуазии, один из крупнейших просветителей XVIII в. Парижский парламент в 1762 г. приговорил Руссо за «еретические» идеи, изложенные в его романе «Эмиль», к тюремному заключению. Он поселился на острове св. Петра на Бьеннском озере, но вскоре швейцарское правительство изгнало его оттуда.

Руфин — правитель Восточной Римской империи при императорах Феодосии и Аркадии (конец IV в.); интриган и преступник, применявший все средства для устранения своих соперников.

Руэр, Эжен (1814—1884) — активный бонапартист, один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 г. и ближайший сотрудник Наполеона III. Носил одно время титул «вице-императора».

Сансон — «династия» парижских палачей. Должность палача переходила в семье Сансон от отца к сыну на протяжении почти 250 лет, вплоть до 1847 г.

Сарагоса — город в северо-восточной Испании, героически оборонявшийся против наполеоновских войск в 1808—1809 гг. Французам удалось взять Сарагосу лишь после того, как город был почти полностью разрушен.

Сатори — деревня близ Версаля, где в 1850 г. размещались военные лагеря. Во время посещений Сатори Луи-Наполеоном бонапартисты пытались инсценировать там манифестации солдат, якобы требовавших установления империи.

Сбогар — главное действующее лицо романа Шарля Нодье «Жан Сбогар», глава отряда разбойников.

Севинье, Мари де (1626—1696) — писательница, автор известных «Писем». В одном из писем к своей дочери хладнокровно и без осуждения сообщала, что в лесу, по которому она прогуливалась, вешают восставших крестьян и горожан.

Сегре, Жан (1624—1701) — пасторальный поэт.

Селим — имя трех турецких султанов.

Сенека, Люций Анней (3—65) — римский философ-стоик. Был воспитателем Нерона, играл ведущую роль при его дворе.

Сен-Жан д'Акр (Акра) — крепость в Сирии, крайний восточный пункт, до которого дошли войска Наполеона I в 1799 г.

Сен-Жюст, Луи-Антуан (1767—1794) — один из вождей якобинцев во время революции конца XVIII в. Был казнен вместе с Робеспьером.

Сен-Симон, Луи (1675—1755) — автор знаменитых «Мемуаров», в которых дается яркая характеристика быта и нравов двора Людовика XIV.

Сен-Сир — населенный пункт близ Версаля. В 1685 г. там был основан воспитательный дом для дочерей обедневших аристократов. Во время революции конца XVIII в. был закрыт.

Сент-Арно, Арман Жак-Леруа (1801—1854) — активный бонапартист, в 1851—1854 гг. — военный министр. Один из главных организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 г., потопивший в крови сопротивление республиканцев. Был командующим французскими войсками в Крымской войне.

Сент-Ашель — пригород Амьена, где в период Реставрации был создан иезуитский коллеж. Закрытый в годы Июльской монархии, этот коллеж был вновь открыт в 1850 г.

Сентрайль, Жан — французский полководец во время Столетней войны, грабивший и убивавший не только англичан, но и французских крестьян.

Сеян (20 г. до н. э. — 31 г. н. э.) — министр римского императора Тиберия; подчинил его своему влиянию и пытался стать наследником престола. Хитростью и вероломством устранил нескольких соперников, но затем был разоблачен и задушен.

Сибур, Мари-Доминик (1792—1857) — с 1848 г. архиепископ Парижский; поддержал контрреволюционный бонапартистский переворот и отслужил по этому поводу благодарственный молебен в Соборе Парижской богородицы (Нотр-Дам). Был произведен в сенаторы.

Сильва, Гомес де — персонаж драмы Гюго «Эрнани».

Симончелли, Джироламо (ок. 1822—1852) — участник борьбы против папы римского в 1849 г. Через три года был арестован и приговорен к смертной казни по ложному обвинению в убийстве двух воров. В действительности казнь Симончелли была актом мести за его революционное прошлое. Он мужественно встретил смерть.

Сирас — участник восстания против бонапартистского режима в районе Кламси, казненный в июне 1852 г. по ложному обвинению в убийстве.

Скарамуш (Скарамуччо) — персонаж старинной итальянской комедии, перешедший затем во французскую комедию; хвастун и трус.

Скаррон, Поль (1610—1660) — выдающийся писатель и создатель бурлескной (шуточной) поэзии.

Совет Десяти — тайный олигархический совет, диктаторски управлявший Венецианской республикой с 1310 по 1797 г.

Спартиаты — полноправные граждане в древней Спарте.

Стофле, Жан-Николя (1751—1796) — роялист, один из вождей вандейского контрреволюционного мятежа. Был захвачен в плен и расстрелян.

Сулук (1782—1867) — негр с острова Гаити. В 1847 г. был избран президентом республики Гаити, а затем провозгласил себя императором под именем Фостена I. Его деспотизм и жестокость вызвали народное восстание, и Сулук был свергнут с престола в 1857 г.

Суфлар — беглый каторжник, возглавлявший банду воров и убийц.

Сцевола, Муций — римский юноша-герой. Проник в лагерь этрусков, осаждавших Рим (507 г. до н. э.), чтобы убить их царя Порсенну. Схваченный и доставленный к Порсенне, он, чтобы показать доблесть римлян и устрашить врагов, опустил руку в огонь и держал ее там до тех пор, пока она не обуглилась. Легенда гласит, что Порсенна, пораженный мужеством Сцеволы, снял осаду с Рима и заключил мир.

Сципион, Публий Корнелий Старший (ок. 235—183 до н. э.) — выдающийся римский полководец, нанесший поражение Ганнибалу.

Сюзн — известный адвокат-бонапартист. Выступал обвинителем по делу сына Виктора Гюго — Шарля.

Таванн, Гаспар (1509—1573) — маршал, ярый католик, свирепо подавлял выступления гугенотов и был одним из организаторов Варфоломеевской ночи.

Талейран, Шарль-Морис (1754—1838) — виднейший буржуазный дипломат. Поочередно предавал все режимы, которым он служил: короля, революцию, Директорию, империю Наполеона I, Реставрацию.

Таллеман де Рео, Геден (1619—1692) — автор мемуаров, повествующих о быте и нравах высших классов в эпоху Людовика XIV.

Тамизье, Роза — аферистка. Была изобличена в мошенничестве, предана в 1851 г. суду и, несмотря на активную поддержку клерикалов, под давлением общественного мнения была осуждена.

Танкред (1050—1112) — сицилийский рыцарь, участник первого крестового похода, прославившийся легендарной храбростью. Воспет Тассо в его поэме «Освобожденный Иерусалим».

Тацит, Корнелий — знаменитый римский историк (I—II вв. н. э.), произведения которого являются важнейшим источником по истории Рима I в. н. э. и древних германцев.

Терамен — персонаж трагедии Расина «Федра». Речь Терамена в V акте трагедии (рассказ о гибели Ипполита) считается образцом стиля французского классицизма.

Теренций, Публий (I в. до н. э.) — выдающийся римский комедиограф.

Терсит (греческ. мифол.) — один из участников осады Трои. Был убит Ахиллесом.

Тиберий — римский император (14—37). Последние двенадцать лет своего царствования провел на острове Капри, откуда управлял империей как жестокий тиран, при помощи террора.

Тибулл, Альбий (ок. 54—19 до н. э.) — римский поэт.

Тибур — город в древней Италии, излюбленное место летнего отдыха римлян. У Горация в Тибуре была своя вилла.

Тигеллин, Софроний (I в. н. э.) — жестокий временщик римского императора Нерона, неперенный участник его чудовищных оргий, виновник пожара Рима в 64 г. Предчувствуя падение Нерона, изменил ему. В 69 г. был приговорен к смертной казни и покончил самоубийством.

Тикетонн — улица в Париже, на которой после бонапартистского переворота 2 декабря 1851 г. было убито много мирных жителей.

Тир — рабовладельческий город-государство в Финикии, крупный центр торговли и ремесел. Имел множество колоний. В первой половине I тысячелетия до н. э. там произошло грандиозное восстание рабов Тир 13 лет осаждали вавилоняне и, взяв, разрушили его (574 до н. э.). Затем он был вновь отстроен. В 332 г. до н. э., после упорной обороны, Тир был взят войсками Александра Македонского.

Тит Флавий — римский император (79—81). Подавил восстание в Иудее и привез оттуда Беренику (см.).

Титания — персонаж комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», королева фей.

Титир — персонаж эклог Вергилия и Феокрита, пастух.

Титон дю Тилле, Эвар (1677—1762) — писатель, добивался сооружения безвкусного памятника Людовику XIV, представленному в окружении писателей и художников его эпохи.

Торквемада, Томасо (1420—1498) — глава испанской инквизиции, чудовищно жестокий палач.

Тразей, Люций Пет (I в. н. э.) — римский сенатор, мужественно выступавший против Нерона. По требованию императора сенат приговорил его к казни (см. также Аррия).

Траян — римский император (98—117). Покорил Дакию и превратил ее в римскую провинцию. При нем в Риме было возведено

много общественных зданий, строились дороги, развивалась литература.

Трестальон — главарь бандитской шайки роялистов-католиков, которые в период белого террора 1815—1818 гг. на юге Франции грабили и убивали всех, кого они считали революционерами и протестантами.

Тримальхион — действующее лицо «Сатирикона» римского писателя Петрония (I в. н. э.); богач, думающий только о еде и устраивающий у себя пир, переходящий в дикую оргию.

Тристан, Луи — один из ближайших советников Людовика XI, мрачный и жестокий судья (XV в.).

Тролон, Раймон-Теодор (1795—1869) — активный бонапартист, при Второй империи — председатель кассационного суда и председатель сената.

Тропы — стилистические приемы поэтической речи.

Тюрго, Луи-Феликс-Этьен (1796—1866) — бонапартист; в годы Второй империи был министром иностранных дел и занимал другие дипломатические посты.

Тюэт — аббат, автор работ по истории латинской поэзии (конец XVIII в.).

Уголино — итальянский тиран (XIII в.). Захватил власть в Пизе и своей жестокостью вызвал всеобщую ненависть. Отстраненный от власти в результате переворота, был посажен вместе со своими детьми в башню и умер от голода. (История Уголино изображена в «Божественной Комедии» Данте, «Ад», песнь 33.)

Фанфан-Тюльпан — образ, созданный народной поэзией, тип отчаянно смелого солдата, всегда борющегося за правое дело.

Фарадей, Майкл (1791—1867) — знаменитый английский физик-материалист, сделавший ряд выдающихся открытий в области электромагнетизма и химии.

Фебея — одно из имен богини луны Дианы (Артемиды).

Федер, Шарль (1811—1893) — бельгийский министр юстиции в 1852—1855 гг., инициатор закона, запрещавшего в книгах, вышедших в Бельгии, оскорблять глав иностранных правительств.

Федон — диалог Платона, повествующий о последних моментах жизни Сократа.

Федра — в греческих сказаниях — жена афинского царя Фесея (Тезея), влюбившаяся в своего пасынка Ипполита; не встретив взаимности, обвинила его в попытке совершить над нею насилие;

узнав о его смерти, покончила жизнь самоубийством. История эта составила сюжет трагедий Софокла, Эврипида, Сенеки, Расина.

Фемистокл (ок. 525—461 до н. э.) — видный афинский политический деятель, сторонник демократии, создатель военного флота Аттики. В 472 г. верх взяла аристократическая партия, и Фемистокл был изгнан. Преследуемый и отовсюду изгоняемый, он укрылся в Персии.

Фенелон, Франсуа (1651—1715) — писатель, автор романов, в которых проповедуются идея возврата к природе и идиллической жизни пастухов.

Фердинанд II — неаполитанский король (1830—1859); в 1848 г. подверг жестокому артиллерийскому обстрелу г. Мессину, где началось народное восстание, и был за это прозван «король-бомба».

Флореаль — восьмой месяц революционного французского календаря (с 20 апреля по 19 мая) — месяц цветов.

Форе, Эли-Фредерик (1804—1872) — маршал Франции; жестоко расправлялся с арабами во время алжирской войны; активно подавлял сопротивление республиканцев бонапартистскому перевороту 2 декабря 1851 г.; возглавив французский экспедиционный корпус в Мексике, душил мексиканскую революцию.

Фортуль, Ипполит-Николя-Оноре (1811—1856) — бонапартист; после государственного переворота 2 декабря 1851 г. — министр народного просвещения.

Фрина — греческая куртизанка (IV в. до н. э.), славившаяся красотой. Была любовницей знаменитого скульптора Праксителя и служила моделью для его статуй Афродиты.

Фронда — движение, направленное против королевского абсолютизма и персонально против первого министра, кардинала Мазарини (1648—1653). Во фронде участвовали различные классы и слои общества — феодальная аристократия, буржуазия, предпролетариат, крестьянство, причем каждый из этих классов преследовал собственные цели.

Фрошо, Николя-Бенуа (1761—1815) — префект департамента Сены при Наполеоне I (1800—1812).

Фуко — полковник королевской жандармерии, который приказал силой вывести из зала заседаний депутата Манжюэля (см.) в 1823 г.

Фульд, Ашиль (1800—1867) — крупный банкир, бонапартист, в 1848—1867 гг. (с перерывами) — министр финансов.

Фуше, Жозеф (1763—1820) — министр полиции Директории, Наполеона I и Людовика XVIII. Хитрый и ловкий политик, поочередно предававший все режимы, сменявшие друг друга во Франции.

Херей — римский трибун, сторонник республики, убивший Калигулу. Был казнен.

Цезура — словораздел, разделяющий метрический стих на две (реже — три) части.

Цицерон, Марк Туллий (106—43 до н. э.) — выдающийся римский оратор и беспринципный политический деятель. Был убит по требованию Антония, против которого он выступал.

Шамбор, Анри (1820—1893) — внук короля Карла X; после революции 1830 г. — претендент на престол (под именем Генриха V) и вождь партии легитимистов.

Шамильяр, Мишель (1652—1721) — придворный Людовика XIV; пользовался покровительством де Ментенон и, не имея никаких способностей, дослужился до должности генерального контролера и военного министра.

Шангарнье, Никола (1793—1877) — генерал, усмиритель Алжира, монархист. Претендовал на роль диктатора и был выслан Луи-Наполеоном из Франции после государственного переворота 2 декабря 1851 г.

Шандор — см. Петефи.

Шаретт, Франсуа-Атаназ (1763—1796) — главарь вандейского контрреволюционного мятежа, прозванный «королем Вандеи». Был разбит войсками Гоша, взят в плен и расстрелян.

Шарле — противник бонапартистского переворота. Пытался перейти границу Франции, был схвачен и казнен в июне 1852 г.

Шеве — самый модный парижский ресторан времен Второй империи.

Шедетанж, Гюстав-Шарль (1800—1876) — бонапартист, известный адвокат, сенатор Второй империи.

Шенье, Андре (1762—1794) — выдающийся лирический поэт, противник якобинской диктатуры. Был казнен по приговору революционного трибунала.

Шиндерганнес (Ян Бюклер) — глава бандитской шайки, терроризовавшей Рейнскую область в конце XVIII в. Был казнен в 1803 г.

Шуазель, Клод-Габриэль (1760—1838) — роялист; служил в английской армии, воевавшей против революционной Франции. В 1795—1800 гг. был в тюрьме, в период реставрации Бурбонов — пэр.

Эак (греко-римск. мифол.) — царь Эгира, славившийся справедливостью. Совершил ряд добродетельных поступков, а после смерти стал одним из трех судей в аду.

Эдзелин (Эдзелино) IV — один из государей северной Италии в XIII в.; боролся против папства, отличался крайней жестокостью.

Элагабал (Гелиогабал) — римский император (218—222) Период его царствования отличался крайней распущенностью нравов.

Электра (греко-римск. мифол.) — сестра Ореста (см.), в детстве спасла его от смерти, а когда он вырос, помогла ему отомстить за убийство отца. Была приговорена к смерти, но, так же как и Орест, была спасена Аполлоном. Трагедии об Электре писали Эсхил, Софокл, Еврипид.

Эльдорадо — легендарная, изобилующая сокровищами страна, которую испанские завоеватели тщетно разыскивали в Южной Америке.

Эмилий Павел (220—160 до н. э.) — выдающийся римский полководец. Захватил для казны в порабожденных им странах огромные богатства, но сам остался беден.

Эпаминонд — выдающийся греческий полководец IV в. до н. э. Боролся за усиление своего государства (Беотии) против Спарты и Афин.

Эпименид (конец VII — начало VI вв. до н. э.) — критский философ и законодатель. По преданию, он проспал 57 лет в пещере. «Сном Эпименида» называют жизнь человека, оторвавшегося от окружающей его действительности.

Эпсом — город в Англии с ипподромом, где устраиваются традиционные бега и скачки.

Эскобар-и-Мендоса, Антонио (1589—1669) — испанский иезуит, утверждавший, что цель оправдывает средства и что в интересах католицизма можно и нужно использовать любые, в том числе и самые преступные, средства.

Эспинас, Эспри (1815—1859) — генерал, подкупленный бонапартистами и принявший активное участие в государственном перевороте 2 декабря 1851 г. Он занял своими войсками здание Законодательного собрания.

Эсхил (525—456 до н. э.) — один из величайших греческих трагиков, «отец трагедии».

Эттенгейм — город в Бадене, откуда в 1804 г. был по приказу Наполеона похищен герцог Энгийенский.

Ювенал, Децим Юний (ок. 60 — ок. 140) — знаменитый римский поэт-сатирик, обличавший пороки современного ему общества.

Юдифь — библейская героиня; по преданию, проникла в лагерь

ассирийского полководца Олоферна, осаждавшего иудейский город Ветилую, обольстила его, а затем, когда он ночью спал, отрубила ему голову. Потеряв своего вождя, ассирийцы бежали от стен Ветилуи.

Юлен, Пьер-Огюстен (1758—1841) — генерал; во время государственного переворота 18 брюмера 1799 г. принимал участие в разгоне Совета Пятисот. Был председателем трибунала, судившего герцога Энгиенского.

Юрфе, Оноре д' (1568—1625) — французский писатель, в пасторальном романе «Астрейя» под видом пастухов и пастушек изображавший своих современников — феодальную аристократию.

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗМЕЗДИЕ

1853

Предисловие к первому изданию. <i>Перевод Т. Хмельницкой</i>	7
Нох. <i>Перевод Павла Антокольского</i>	9

Книга первая

«ОБЩЕСТВО СПАСЕНО»

I. «О родина! Когда без силы...» <i>Перевод В. Брюсова</i>	21
II. Тулон. <i>Перевод Павла Антокольского</i>	23
III. «Смотрите, вот они..» <i>Перевод М. Донского</i>	26
IV. Убитым 4 декабря. <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	28
V. Эта ночь. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	30
VI. Те Деум 1 января 1852 года. <i>Перевод Павла Антокольского</i>	32
VII. Ad majorem Dei gloriam. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	34
VIII. Мученику. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	37
IX. Искусство и народ. <i>Перевод А. Курошевой</i>	41
X. Песня («Дворцовой оргии беспечные обжоры..») <i>Перевод Павла Антокольского</i>	43
XI. «Я знаю: будут лгать...» <i>Перевод Павла Антокольского</i>	45
XII. Карта Европы. <i>Перевод Павла Антокольского</i>	47
XIII. Песня («Самец — добыча кошки...») <i>Перевод Г. Шенгели</i>	49
XIV. «Да; ночь. Вся черная...» <i>Перевод Г. Шенгели</i>	50
XV. Очная ставка. <i>Перевод Павла Антокольского</i>	51

Книга вторая
«ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕН»

I. Идиллии. Перевод Г. Шенгели	52
II. Народу. Перевод Г. Шенгели	55
I: I. Воспоминание о ночи 4 декабря. Перевод Е. Полонской .	58
IV. «Ты, солнце, светоч, полный блага...» Перевод Г. Шенгели	60
V. «С тех пор, как справедливость пала...» Перевод Е. Полонской	61
VI. Другой президент. Перевод Г. Шенгели	63
VII. О пассивном повиновении. Перевод Г. Шенгели	65

Книга третья
«СЕМЬЯ УКРЕПЛЕНА»

I. Апофеоз. Перевод Г. Шенгели	75
II. Ему смешно. Перевод Вс. Рождественского	77
III. Басня или быль? Перевод В. Давиденковой	78
IV. «Итак, все худшие...» Перевод В. Давиденковой	79
V. Ссоры в серале. Перевод Г. Шенгели	82
VI. Восточное. Перевод Г. Шенгели	84
VII. Добрый буржуа у себя дома. Перевод Павла Антокольского	86
VIII. Великолепие. Перевод Г. Шенгели	88
IX. Веселая жизнь. Перевод Вс. Рождественского	92
X. Император забавляется. Перевод Г. Шенгели	97
XI. «— Леса, холмы, трава на взгорье...» Перевод Павла Антокольского	100
XII. «Робер! Один совет...» Перевод Г. Шенгели	101
XIII. «Дни вроде наших..» Перевод Г. Шенгели	103
XIV. По поводу закона Федеря. Перевод А. Курошевой	104
XV. Берег моря. Перевод Г. Шенгели	105
XVI. Нет! Перевод Г. Шенгели	108

Книга четвертая
«РЕЛИГИЯ ПРОСЛАВЛЕНА»

I. Sacer esto. Перевод М. Донского	110
II. Что говорил себе поэт в 1848 году. Перевод Г. Шенгели	112
III. Смешанные комиссии. Перевод Г. Шенгели	113

IV. Клерикальным журналистам. <i>Перевод Г. Шенгели</i> . . .	114
V. Некто. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	118
VI. Написано 17 июля 1851 года. <i>Перевод Г. Шенгели</i> . .	120
VII. Еще один. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	122
VIII. Уже названный. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	124
IX. «Живые — борются!..» <i>Перевод Г. Шенгели</i>	126
X. Заря. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	128
XI. «Когда виконт Фуко овернским кулаком...» <i>Перевод</i> <i>Г. Шенгели</i>	129
XII. Четырем узникам. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	131
XIII. Сдается на ночь. <i>Перевод Павла Антокольского</i> . . .	133

Книга пятая
«ВЛАСТЬ ОСВЯЩЕНА»

I. Коронование. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	136
II. Песенка («Бог карточной игрою...»). <i>Перевод Г. Шенгели</i>	139
III. Императорская мантия. <i>Перевод Е. Полонской</i>	140
IV. Все бегут. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	142
V. «Орлы ваграмские! Вольтера край родной!...» <i>Перевод</i> <i>Г. Шенгели</i>	144
VI. «Тиберия найдем, Иуду и Дракона...» <i>Перевод Г. Шен-</i> <i>гели</i>	145
VII. Сановники. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	146
VIII. «Прогресс — незлобивый, спокойный, полный сил..» <i>Пе-</i> <i>ревод Г. Шенгели</i>	149
IX. Песня плывущих за море. <i>Перевод Г. Шенгели</i> . . .	151
X. Желаящему ускользнуть. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	153
XI. Полина Ролан. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	158
XII. «Злодейство худшее из всех...» <i>Перевод Г. Шенгели</i> . .	162
XIII. Искупление. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	163

Книга шестая
«УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА»

I. Наполеон III. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	174
II. Мученицы. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	176
III. Гимн ссыльных. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	178
IV. Песня («Мы гуляли там, меж седых развалин...») <i>Пере-</i> <i>вод Г. Шенгели</i>	180

V. Блеск. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	181
VI. Тем, кто спят. <i>Перевод Павла Антокольского</i>	187
VII. Luna. <i>Перевод А. Курошевой.</i>	189
VIII. Женщинам. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	191
IX. Народу. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	194
X. «Макбета ведьмы! Эй! Тащите ваш котел! » <i>Перевод Г. Шенгели</i>	195
XI. Партия преступления. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	196
XII. «Твердят мне: «Берегись!..» <i>Перевод Г. Шенгели</i>	201
XIII. Ювеналу. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	202
XIV. Флореаль. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	209
XV. Stella. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	212
XVI. Три лошади. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	214
XVII. Одобрение. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	216

Книга седьмая
«СПАСИТЕЛИ СПАСУТСЯ»

I. «Гремите ночь и день, о трубы мысли гневной!». <i>Перевод Г. Шенгели</i>	219
II. На попятный. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	220
III. Черный стрелок. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	225
IV. Римская клоака. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	227
V. «В июне съездил я в Брюссель...» <i>Перевод Г. Шенгели</i>	230
VI. Песенка («Его величие блистало...»). <i>Перевод Г. Шенгели</i>	232
VII. Patria. <i>Перевод М. Донского</i>	234
VIII. Караван. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	236
IX. «Лил этой ночью дождь...» <i>Перевод Г. Шенгели</i>	241
X. «Напрасно думают, что дел подобных ход...» <i>Перевод Г. Шенгели</i>	242
XI. «Когда на евнухах блистали багряницы...» <i>Перевод Г. Шенгели</i>	245
XII. Охранитель о возмутителе. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	246
XIII. Сила вещей. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	249
XIV. Песня («О чем он вспомнил, этот ссыльный?»). <i>Перевод Г. Шенгели</i>	256
XV. «Есть годы подлые...» <i>Перевод Г. Шенгели</i>	259
XVI. Ultima verba. <i>Перевод М. Донского</i>	261
Лух. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	264
Конец. <i>Перевод Г. Шенгели</i>	272
Перед возвращением во Францию. <i>Перевод М. Лозинского</i>	274

Предисловие. Перевод Т. Хмельницкой	281
«Поэт идет в поля...» Перевод А. Корсуна	283
Мои две дочери. Перевод В. Давиденковой	284
К Андре Шенье. Перевод Валентина Дмитриева	285
Ответ на обвинение. Перевод Э. Линецкой	286
«Поэма сетует, рыдая...» Перевод А. Курошевой	293
Vege povo. Перевод А. Курошевой	295
По поводу Горация. Перевод Н. Вержейской	296
Гранвиль, 1836. Перевод Э. Линецкой	302
Птицы. Перевод Марии Замаховской	305
Слепому поэту. Перевод М. Талова	307
«Я шел по берегу...» Перевод Э. Линецкой	308
Единство. Перевод Е. Полонской	309
Несколько слов другому. Перевод Анны Ахматовой	310
«Ну да, мечтатель я...» Перевод А. Курошевой	315
«Поэту надлежит...» Перевод А. Курошевой	317
Первое мая. Перевод Б. Лейтина	318
«Мой стих вспорхнул бы над лугами...» Перевод А. Корсуна	320
Песенка («Вам нечего сказать мне, право...»). Перевод А. Корсуна	321
«Вчера повеяло дыханьем свежим ночи...» Перевод Э. Линецкой	322
«Мы в вишенник густой забрались вместе с ней...» Перевод Марии Замаховской	323
«Твоею волею то молод я, то стар...» Перевод Марии Замаховской	324
Слушая птиц. Перевод М. Талова	326
«Слышишь, раздается в роще...» Перевод А. Корсуна	328
Слова, сказанные в полумраке. Перевод Э. Линецкой	329
«Вьют гнезда ласточки...» Перевод И. Грушецкой	330
Зимняя стужа. Перевод А. Корсуна	331
«Он часто говорил...» Перевод Э. Линецкой	333
Зиме конец. Перевод Э. Линецкой	334
«Величие души храните в испытаньях...» Перевод И. Грушецкой	336
«Лишь там, где светишь ты и дышишь...» Перевод И. Грушецкой	337
Сумерки. Перевод И. Грушецкой	340
Однажды вечером, когда я смотрел на небо. Перевод А. Курошевой	342
Надпись на томе «Божественной Комедии» Данте. Перевод Э. Линецкой	345
Melancholia. Перевод Е. Полонской	346

Ключ. Перевод А. Гатова	355
Статуя. Перевод М. Донского	358
? («Земли иссохшая, неласковая грудь...») Перевод Э. Линецкой	358
Эпитафия. Перевод Б. Лейтина.	359
Школьный учитель. Перевод Н. Вольпин	360
То, что я увидел однажды весной. Перевод Э. Линецкой	364
В балагане. Перевод Н. Вольпин	366
Бессонница. Перевод Э. Линецкой	368
Надпись на античном барельефе. Перевод Э. Линецкой	371
«За прялкой увидав прабабушку-старушку...» Перевод В. Дави- денковой	372
Поэт. Перевод Э. Линецкой	373
Природа. Перевод А. Корсуна	375
15 февраля 1843 года. Перевод А. Курошевой	377
«Привычку милую имела с юных лет...» Перевод В. Давиден- ковой	378
«Когда еще мы обитали...» Перевод Е. Полонской	379
«Весна! Заря!..» Перевод А. Курошевой	381
«Жить под безоблачным иль хмурым небосводом...» Перевод Э. Линецкой	383
«Едва займется день...» Перевод А. Корсуна	384
Писано в 1846 году. Перевод В. Давиденковой	385
Писано в 1855 году. Перевод Е. Полонской	397
«Источник падал со скалы...» Перевод Е. Полонской	399
«Мрак светом озарив...» Перевод А. Курошевой	400
На дюне. Перевод А. Курошевой	401
Поэту, приславшему мне орлиное перо. Перевод А. Курошевой	403
Пастухи и стада. Перевод Э. Линецкой	404
«Я для тебя цветок сорвал на дикой круче...» Перевод Э. Ли- нецкой	406
«Певучая строфа!..» Перевод А. Корсуна	407
Путешествие в ночи. Перевод Вс. Рождественского	409

ИЗ КНИГИ «ПЕСНИ УЛИЦ И ЛЕСОВ»

1865

Предисловие. Перевод Т. Хмельницкой	413
Голос флореаля. Перевод В. Давиденковой	414
Прерванное чтение Платона. Перевод В. Давиденковой	415
«Когда мы с ней все вишни съели...» Перевод Вс. Рождествен- ского	416

Genio libri. <i>Перевод В. Шора</i>	417
Paulo minoga sanatus. <i>Перевод В. Бугаевского</i>	421
Покидая коллеж. <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	424
Hilaritas. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	427
«Колоколен ли перепевы...» <i>Перевод В. Давиденковой</i>	428
«Вот Жанна запела...» <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	430
«Полна любви природа, Жанна...» <i>Перевод И. Грушецкой</i>	432
«Друзья, покончил я с пирами...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	434
«Мой стих, беги в лесок живей ты...» <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	436
Праздничный день в окрестностях Парижа. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	437
Дуб из разоренного парка. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	439
Писано в 1827 году. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	452
Бегство в Солонь. <i>Перевод Н. Вержейской</i>	457
Донье Розите Розе. <i>Перевод Н. Зиминой</i>	461
Розите. <i>Перевод Н. Зиминой</i>	463
Своевольной красавице. <i>Перевод Н. Зиминой</i>	464
Сельский праздник под открытым небом. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	465
Роза сердится. <i>Перевод И. Грушецкой</i>	466
В развалинах монастыря. <i>Перевод А. Корсуна</i>	467
Чрезмерно счастливые. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	469
Гостю из Парижа. <i>Перевод В. Давиденковой</i>	471
Церковка. <i>Перевод Валентина Дмитриева</i>	474
Время сева. Вечер. <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	480
«Вот дети стайкой белокурой...» <i>Перевод Н. Вольпин</i>	481
«Шесть тысяч лет...» <i>Перевод Льва Пеньковского</i>	483
Празднование 14 июля в лесу. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	485
Воспоминание о войнах прежних лет. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	489
Великий век. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	492
Полуденный сон льва. <i>Перевод А. Гатова</i>	494
«Уходи!» — мне строго...» <i>Перевод Э. Линецкой</i>	496
Другу. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	497
Любовь к воде. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	499
В тот день был найден храм. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	501
Зима. <i>Перевод Э. Линецкой</i>	503
Комментарии. Д. Прицкер, М. Трескунов	507
Словарь собственных имен, географических названий и специальных терминов. Д. Прицкер	531

О П Е Ч А Т К И
И РЕДАКЦИОННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ К XI ТОМУ

<i>Страница</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
325	11 св.	репетитор	репетир
412	2 сн.	<i>Нейии</i>	<i>Нэйи</i>
427	2 сн.	Камбулат	Камбулас
437	5 сн.	Сенека Луций-Анней (родился ок. 54 г. до н. э. — умер ок. 39 г. н. э.)	Сенека Луций Анней (род. в 3 г. н. э. — ум. в 65 г. н. э.)
438	22 св.	Кай-Юлий	Гай Юлий
439	17 св.	<i>Жалиб д'Аржан</i>	<i>Серебряная Нога</i> (Жамб д'Аржан)

Виктор Гюго
Собрание сочинений, т. XII

Редакторы
А. Смирнов и М. Трескунов
Оформление художника *С. Пожарского*
Художественный редактор *А. Ермаков*
Технический редактор *Г. Каунина*
Корректор *О. Семенова-Тян-Шанская*

*

Слано в набор 9/VII 1955 г. Подписано к печати 6/II 1956 г. А00449 Бумага
84×108^{1/82} — 35,75 печ. л. = 29,31 усл. печ. л. 23,22 уч.-изд. л. Тираж 150 000.
Заказ № 291. Цена 12 р.

Гоститиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической
промышленности, 2-я типография «Печатный Двор» имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.